Шильдкрет К.Г.

Гораздо тихий государь

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

В опочивальне, в красном углу, перед оплечным образом Николая Мирликийского чудотворца, лениво потрескивая, ворчал нагоревший фитиль лампады. Немощный зрачок огонька то щурился недоуменно — и тогда темный лик Николая хмурил нависшие брови, — то вытягивался, тупо пошевеливал раздвоенными желтыми усиками и точно обнюхивал наседавшую на него отовсюду тягучую патоку мрака. Алексей нехотя поднялся. "К заутрени бы, что ли, ударили", — подумал он вслух, раздирая рот в судорожной зевоте.

Огонек лампады хирел. Вобрав голову в плечи, Алексей с любопытством следил за борьбой света и тьмы.

— Будет дрыхнуть тебе, — повернулся он, наконец, к громко похрапывавшему постельничему. — Колико раз наказывал я, чтобы вставал ты допреж своего царя-государя!

Постельничий оторвался на мгновение от подушки, но тотчас же с остервенением натянул на голову полог и снова заснул.

Через запотевшие стекла окон скупо сочился в опочивальню рассвет. Резче очертились расписанная красками подволока и дубовая резная дверь. В углу ежилась, как будто переминаясь на тоненьких ножках своих, сырчатая круглая печь. На изразцах карнизов заструились затейливые узоры из трав и цветов; расплывшиеся фигурки золоченых лошадок, ягнят, петушков и пестро обряженных человечков принимали свои обычные формы.

— Вот и сызнов день наступает, — мечтательно сложил руки на груди Алексей и уставился на образ.

Вдруг он заметил паука, пригревшегося подле лампады. Голубые

глаза вспыхнули гневом.

— Доколе ж терпеть мне бесчинства в покоях!

Прыгнув к постельничему, он изо всех сил щелкнул его двумя пальцами по переносице.

— Убрать паука!… Немедля убрать!

Постельничий выпучил глаза и оглушительно чихнул.

— На добро здоровье, — расхохотался Алексей, сразу остывая от гнева. — А нуте-ко, Федька, еще!

Переносицу постельничего ожег новый щелчок.

— Чихай же, анафема!

Федор сбросил с себя полог и, с трудом превозмогая боль, улыбнулся.

— А и потешный же ты, государь.

— А ты чихай, коли на то воля моя! — капризно воскликнул царь.

Постельничий послушно исполнил приказ и слизнул языком с верхней губы капельку крови.

— День тебе добрый, — осклабился он заискивающе, точно провинившийся пес, и приник губами к царевой руке.

Алексей отдернул руку.

— Ежели дрыхнуть, на то ты больно горазд, а потехи для — так и носа жалко для государя.

Постельничий готовно подставил лицо под удар.

— Господи! Не токмо носа, живота не пожалею!… Покажи милость, потешься, отец-государь.

Царь напыжился и наложил большой палец на натянутый тетивою средний.

— Держись!

Но на этот раз ему не удалась забава. Вместе с голубым светом утра тяжело вполз в опочивальню бас колокола.

— Слава тебе, показавшему нам свет, — выдохнул разочарованно Алексей и перекрестился.

— Аминь! — с искренней благодарностью закончил постельничий.

Повернувшись к окну, государь задумчиво молчал. Федор присел на корточки и прижался щекою к колену царя.

— О чем закручинился, херувим?

Глубокий вздох вырвался из груди Алексея.

— Боязно, Федя…

Он заломил руки.

— Так боязно, что в очах помутнение, а сердце — точно кречет подбитый… ноет…— инда, плачет болезное.

Опустившись на постель, он привлек к себе Федора.

— А наипаче всего, наипаче царствования и младости своей, страшно мне, Федя, иное… Соромно мне… Ну как я один в опочивальне с царицею останусь?

Забыв разницу в сане, постельничий присел рядом с государем и дружески обнял его.

— А что Господом Богом положено, то превыше нас есть, государь. А с женушкой еще слаще житье твое пойдет супротив нынешнего.

Точно крикливая стая птиц клокотали колокольные перезвоны. В дверь кто-то несмело постучался.

— Гряди! — недовольно крикнул царь.

На пороге появился священник. Благословив государя, он смиренно опустил глаза.

— Утреню утреневать пора, государь.

Алексей засуетился.

— И то пора, прости, Господи, нераденье мое.

Постельничий хлопнул в ладоши. Тотчас же в опочивальню, склонившись до земли, один за другим, вошли шесть стряпчих и спальников. Отвесив по земному поклону, они приступили к обряду государева одевания.

Наскоро умывшись, царь собрался в крестовую, но на пороге неожиданно снова повернул в опочивальню. За ним неслышною

тенью скользнул постельничий.

— Лежат, горемычные, — с глубокою кручиною произнес Алексей, опускаясь на колени перед коробом. — Лежат, спокинутые сиротины мои!

Федор вытер кулаком повлажневшие глаза и поднял крышку. Из короба пахнуло запахом плесени. Видно было, что давно ничья рука не касалась вороха полуистлевших детских забав.

— А вот и конек мой немецкого дела, — сказал Алексей и нежно погладил сбившуюся в войлок гриву.

Затем он достал потешные латы, приник к ним щекой.

— Доброго здравия, друга мои верные! Спокинул я вас, неразлучных моих… Памятуешь ли дни мои юные? Памятуешь ли, каково скакивал я на коньке своем скакунке? — спросил он Федора и мечтательно зажмурился. — Колико годов прошло с детской поры, а все сдается — токмо рученьку протянуть и достанешь те годы младые.

Федор сочувственно покачал головой.

— Сесть бы, Федя, на того скакунка деревянного, — продолжал государь, — обрядиться бы в латы потешные и ускакать далече-далече, к тем годам златым моим, в коих несть человеку ни кручины, ни заботушки… В остатний бы нынешний день остатнею потехой потешиться!

Он вскочил вдруг и шумно захлопнул короб.

— Чтоб и не зреть нам боле сего!… Нынче же вон! Захоронить под землей.

Отец Вонифатьев встретил царя на пороге Крестовой и во второй раз благословил его золотым, в изумрудах, крестом.

Медленно и проникновенно читал Алексей положенные молитвы, скрепляя каждое слово крестным знамением и поклоном.

После утомительно долгой службы протопоп окропил царя святою водою.

— Соловецкие мнихи воду сию доставили, — с гордостью объявил

он.

В передней дожидались бояре, окольничий, думные и ближние люди. Увидев царя, они упали ниц и так пролежали до тех пор, пока раскачивавшаяся фигура Алексея не скрылась в тереме.

* * *

Вскоре в переднюю ввалился Борис Иванович Морозов. Свысока оглядев собравшихся, он торжественно поднял руку.

— Волит великий государь сидеть нынче с окольничим Петром Тихоновичем Траханиотовым, да с судьею земским Левонтием Степановым Плещеевым, да с думным дьяком Назарием Ивановым Чистым, да с постельничим Федором Михайловичем Ртищевым.

Федор вышел в терем первым. За ним чинно потянулись остальные вызванные. Чуть слышным ропотом провожали их не удостоившиеся царского приглашения.

— Токмо нынче и свету стало у государя, что в Траханиотовых да в Плещеевых! — ворчали иные из них.

— Ужо не миновать стать, наступит времечко и вовсе повелит Алексей Михайлович не казаться перед очи свои! — вторили другие и переглядывались исподлобья, по-бычьи сгибая головы.

Царь развалился в высоком кресле и с блаженной улыбкой прислушивался к веселому перезвону колоколов.

— До чего же, Господи, умильна жизнь христианская, — молвил он и милостиво похлопал по спине Бориса Ивановича.

Морозов приложился к царевой руке.

— Всю душу положил я на то, царь государь и пестун мой, чтобы возлюбил ты великою любовью Христа пропятого…

Он помолчал, переглянулся с Траханиотовым и болезненно перекосил лицо:

— Токмо бы смуту избыть на Руси… Токмо тихо было бы в государстве нашем.

Алексей встревоженно приподнялся.

— Аль вести недобрые? Ну, чего им надобно, тем смутьянам?

— Батогов, государь! — резко бросил Траханиотов.

— Да дыму пищального, — прибавил Плещеев.

Ртищев сидел в стороне и не принимал участия в сидении. Алексей поманил его пальцем.

— Слыхивал? А ты все норовишь смердов потчевать хлебушком да словом евангельским.

Плещеев и Траханиотов обдали постельничего высокомерным взглядом.

— Млад еще Федор Михайлович в государстве разуметь.

От лица Ртищева отхлынула кровь:

— Коль я млад и неразумен — выходит, царь еще неразумней меня по большей младости годов своих!

Морозов в ужасе отшатнулся к стене.

— Молчи!

Но постельничий уже кипел и никого не слушал, кроме себя.

— То-то, — кричал он, — судья с окольничим государевой младостью пользуются да его светлым именем всей Москвой володеют!

Позабыв о присутствии Алексея, задетые за живое советники дружно набросились на постельничего. Царь чутко прислушивался к сваре и не останавливал спорщиков.

— А все от соли пошло, — визжал Федор, готовый вцепиться в бороду Траханиотова, — все от того указу, сто пятьдесят четвертого году.

— А и не впрямь ли Федькина правда? — вмешался вдруг в спор Алексей и приказал принести указ.

Назарий Чистой прошмыгнул в сени и сейчас же вернулся с указом.

— Чти! — поддернул щекой государь и пересел на лавку.

Трижды перекрестившись, Назарий начал:

" Указ и боярский приговор от седьмого дня, месяца февраля лета семь тысящ сто пятьдесят четвертого году. Для пополнения

государские казны служилым людям на жалованье, положити на соль новую пошлину — за все стрелецкие пошлины и за проезжие мыты — перед прежними с прибавкою: на всякий пуд по две гривны…"

Плещеев вызывающе толкнул плечом Федора.

— Покажи-ко, ученый, где тут неправда противу государевых холопов и сирот.

Алексей не зло погрозил судье:

— Не сбивай ты дьяка.

Чистой снова сипло затянул:

А как та пошлина в нашу казну сполна сберется и мы, великий государь, указали: со всей земли и со всяких людей наши доходы, стрелецкие и ямские деньги сложити и заплатити теми соляными пошлинными деньгами.

— А и доподлинно, лиха не зрю, — развел царь руками и с видом превосходства поглядел на Ртищева. — Оно и выходит, что хотя годами я, почитай, на четыре лета млаже твоего, а умом-разумом перерос.

Постельничий по-ребячьи надул губы и молчал.

— Так, аль сызнов не так? — не отставал развеселившийся царь.

— А не так! — воскликнул Федор и, повернувшись к Плещееву, брызнул слюной в его скуластое рябое лицо: — Сам-то ты, лукавый, боле нашего ведаешь, что не так!… Ложью перед царем-государем живешь… Сходи-ка на рынок, познаешь в те поры, что пошлина в раз с полразом выше цены самой соли!… А коли так — можно ли той солью людишкам пользоваться?

Заметив смущение на лице царя, Траханиотов нарочито громко расхохотался.

— Оно и зреть, что хоть постельничий и навычен многим премудростям книжным, а в государственности, как татарин в кресте, разумеет.

Отставив указательный палец, он по слогам отчеканил Ртищеву,

норовя, главным образом, внушить самому государю:

— Был бы налог с одних мужиков да протчих смердов — доподлинно, можно бы и попечаловаться. А налог тот на всех, холопов царевых, от худого до высокородного.

Алексей нахмурился. Пальцы раздраженно пощипывали едва пробивавшийся русый пушок на откормленном круглом лице. Живые глаза подозрительно бегали по лицам ближних.

Плещеев чуть подвинулся к Траханиотову и что-то прошептал тонкими губами. Окольничий, с опаскою покосившись на государя, мотнул головой.

Встав с лавки, царь вразвалку прошел к окну. На лбу его, между бровей, от непривычки к долгим спорам и серьезным думам, проступили вздувшиеся жилки. Он с радостью перевел бы беседу на что-либо более легкое и близкое его сердцу или показал бы ближним ручного сокола своего, которого сам обучил по-новому набрасываться на дичь, но невольно чувствовал, что не зря обозлились советники на постельничего. "Не зря надрывается Федька. Не навычен он к сварам, — опасливо складывалось в голове и отдавалось в груди, — не быть бы бунту от соли". Один за другим оживали в памяти рассказы бахарей о смутных днях на Руси, о черных годинах. Переполошенное воображение рисовало страшные картины восстаний — царю казалось, что он уже слышит отдаленный ропот толпы, идущей с дрекольем на Кремль. "Надо тотчас упредить, — думал он, — надо немедля повелеть советникам". Но нужных слов не было — они терялись, не успев оформиться в голове.

— А ведь правда, как будто, за Федькой выходит, — вымолвил он наконец. — Ежели без соли людишек оставить, не миновать смуте быть.

Чистой повернулся к образу и набожно перекрестился.

— К чему ты? — не понял царь.

— К тому, преславный, что имеешь ты гораздо мягкое сердце. За

то величу и хвалю Господа нашего.

Едва сдерживая лукавую усмешку, он смиренно потупился и продолжал:

— Через мягкое сердце идет путь христианской души к райским чертогам… Путь же к безмятежному царствию на земле — есть путь силы непоколебимой.

Траханиотов горячо поддержал дьяка:

— Сим победишь, государь! Непоборимою твердынею духа. Испокон веку тем славны и сильны были володыки российские.

К Алексею подошел Плещеев.

— Дозволь молвить, царь.

— Ну?… Чего еще не накаркал?

Судья склонился к поле царева кафтана и благоговейно поцеловал ее.

— Ежели потакать людишкам, того и зри, опричь соли, занадобится им овкач вина доброго… А там недалече и до кафтана боярского! А по-моему, по-неразумному, чтобы помятовали смерды сиротство свое, — вместно ежеден потчевать их батожьем да кнутьем.

Снова разгорелся спор. Алексей неожиданно хлопнул в ладоши, и на лице его запорхала счастливая улыбка.

— Покель вы тут сварами тешились, надумал я, как по-божьи то дело решить. Да не батогом, а христианской любовью к людишкам нашим.

На лицах советников изобразилось крайнее восхищение.

— Волим мы то дело передать патриарху, — говорил царь, — пускай по всем церквам возносят священницы молитвы к престолу всевышнего, чтобы смилостивился Господь, умягчил сердца человеков и свободил нашу землю от брани междоусобные. Да просветятся смерды великим светом премудрости Божией и да уразумеют… да уразумеют, что не через хлеб-соль, а через пост и смирение есть путь в сады Господни.

Ртищев восторженно припал к царевой руке:

— Бог глаголет устами твоими!

— Смирен ты, яко агнец, и мудр, яко сам Соломон! — подхватили остальные, отвесив земной поклон.

Сидение окончилось. Сохраняя выражение неприступной важности на лице, царь не спеша направился в трапезную.

Дворецкий и ключники дозорили подле стола. От поварни к трапезной суетливым муравейником засновали холопьи стаи. Стольники с дымящимися мисками и горшками в руках стояли наготове, не спуская глаз с царя, чтобы по первому знаку Алексея поднести ему кушанья. Кравчие строго обходили стольников и деловито отведывали каждое блюдо. За спиной государя, не смея вздохнуть, вытянулся чашник с кубком вина.

ГЛАВА II

Колокола захлебывались в ликующем перезвоне. По широчайшим улицам московским без конца сновали вестники.

— Великий государь побрачиться изволил! — возглашали они.

А к вечеру, в сопровождении Чистого, на Красную площадь вышел Петр Тихонович Траханиотов. Он был во хмелю — это видно было по его неверной походке и подплясывающей бороде. Дьяк, сам выделывавший замысловатые кренделя, почтительно подталкивал окольничего головой в спину.

Согнанная со всех концов Москвы толпа обнажила головы: еще за неделю по городу передавались таинственные слухи о том, что государь в день своего венца дарует людишкам большие льготы и снимает соляную пошлину… И вот ожидания сбылись. Иначе зачем же созвали людишек на площадь? Сейчас царев человек все обскажет с помоста.

— Угомонитесь! — икнул окольничий, хотя вокруг было тихо, и его маленькие глаза сурово уставились поверх голов. — Да не кружитесь вы, воронье!

Чистой растянул рот в добродушной улыбке:

— Яко столпы стоят людишки, а кружится хмель в очах твоих, Тихонович.

Он хотел еще что-то сказать, но вскрикнул и покатился с помоста.

— Полови-ко карасиков, тверезый, — гулко расхохотался столкнувший его Траханиотов на утеху ожидавшей толпы.

— Да и окольничего за едино в тот же омут! — взметнулся чей-то звонкий задорный голос.

Толпа оцепенела, чуя напасть. Но Петр Тихонович ничего не соображал. Наклонясь к балясам, он что-то горячо доказывал самому себе, икая и сплевывая. Обиженный дьяк, обтерев рукавом вываленное в снегу лицо, на четвереньках взобрался на помост.

— Перед кем ославил? Перед смердами ославил! — захныкал он и схватил окольничего за ворот: — Для ради токмо нынешнего дни зла не держу.

Наподдав Траханиотову коленом в спину, он заставил его выпрямиться.

— Так и держи, — ухмыльнулся окольничий и подал рукою знак: — Внемлите! Сего дня шестнадесятого генваря семь тысящ сто пятьдесят шестого году совокупился государь — царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси с благоверною цариц…

Он оборвал свою речь на полуслове и с силою потянул ворот, сдавивший горло.

— Держи да не передерживай! — лягнул он ехидно скалившего зубы дьяка и, передохнув, слезливо продолжал: — С благоверною царицею и великою княгинею Марьей Ильиничной Милославской. Уразумели?

Не дождавшись ответа, окольничий с испугом огляделся.

— Где я? — вдруг крикнул он и пошатнувшись, упал в объятия стрельца.

Народ нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

— Эдак померзнем все, покель он весть возвестит, — зашептались робко передние ряды.

Согретый дыханием стрельца, Траханиотов сладко зажмурился и всхрапнул. Его сменил Чистой.

— Внемлите, сиротины царевы! — торжественно поднял он к небу руку, предусмотрительно опершись животом о балясы, чтобы не потерять равновесия. — Ради для сего дни показал царь народу милость и пожаловал тестю своему, Илье Даниловичу Милославскому, окольничество.

Он примолк, осенил себя крестом и снова проникновенно повторил:

— О-коль-ни-че-ство!

Толпа сомкнулась тесней, придвинулась к помосту:

— Сейчас и до нас дойдет!

Чистой нахлобучил на уши шапку и спустился с помоста. За ним два стрельца бережно понесли запойно храпевшего Траханиотова.

Смеркалось. Ледяной ветер загребал снег с сугробов, с воем бросал его в коченеющие лица упрямо не расходившихся людишек. Небо темнело, опускалось ниже, нависнув над самой землей.

— Эй, вы, изыдите! — покрикивали стрельцы, разгоняя народ.

Белыми призраками мелькали на перекрестках завьюженные всадники, надсаженно тянули:

— Ликуйте, православные! Великий государь ныне побрачиться изволил!

* * *

Отлежавшись на камне у Оружейной Палаты, Траханиотов пошел во внутренние покои.

Из царевой трапезной рвался наружу пьяный гул, скомороший гомон. В сенях, монотонно постукивая подковами, выбивали шаг дозорные стрельцы. Окольничий забрался в угловой терем и грузно опустился на пол. Едва щека его коснулась половицы, вдруг все завертелось и крикливо провалилось в пропасть. Он хотел позвать

на помощь, но захлебнулся в густом клейком, как кровь, мраке.

В терем вошел Милославский и затормошил спящего. Когда Петр Тихонович пришел в себя, Милославский усадил его на лавку и ткнулся губами в ухо:

— Дело бы не пропил!

Траханиотов забегал глазами по темному терему

— И в думке не держал, чтобы пить.

Он глубоко вздохнул, обдав соседа винным перегаром.

— Кой тут хмель, коли не токмо что, а дых… ик!… дых нуть нынче стало не можно.

Илья Данилович предостерегающе приложил палец к губам.

— Не подслушал бы кто.

Они умолкли и скромно уселись подле окна. Чуть поблескивали одетые в иней стены нахохлившегося Кремля. Точно вздрагивая и старчески сутулясь, маячила сквозь студеный туман звонница святого Лазаря. Недобрыми думками лепилось к ней каркавшее воронье.

— Вороний гомон к метелице, — зябко поежился Милославский.

Притихший было ветер снова лютел, угрожающе точил о стены когти и бороздил высокие сугробы. Небо разбухало, мутнело.

— Одначе, и за дело время приниматься, — встрепенулся Илья Данилович, уловив звуки знакомых шагов. — Морозов жалует.

В дверь просунулась голова боярина. Траханиотов почтительно вскочил с лавки, и сидевший на другом конце Илья Данилович брякнулся об пол.

Морозов помог ему встать, неодобрительно пожевал губами:

— А не к добру то. Не домовой ли бродит по терему?

На лбу Милославского вздулась шишка. Он ущипнул за плечо Траханиотова: "Подай ефимок", и, вырвав из рук соседа монету, прижал ее к ушибленному месту.

Морозов распахнул двери, прислушался. В сенях было темно, тихо. Только из дальнего конца еле доносились шаги дозорных стрельцов.

Вглядевшись пристально во мрак, боярин успокоенно прикрыл дверь.

— Пора начинать, — предложил он, прижимаясь спиной и ладонями к остывшей печи.

Траханиотов сморщил изрытый оспой лоб.

— Гоже ли без Левонтия да Грибоедова?

Борис Иванович лукаво подмигнул:

— В Разбойном Левонтий, а Грибоедов за Пронским блюдет.

Усевшись под образа, оба склонили друг к другу головы и едва слышно зашептались о чем-то.

Вскоре прибежал запыхавшийся Грибоедов.

— Замышляют! — объявил он упавшим голосом и изнеможенно опустился на лавку. — Князь Никита Иванович при мне царю наушничал, будто надумал Милославский весь род Романовых смертию извести, да через дщерь свою, через Марью Ильиничну, царицу, самому на стол на Московский сести.

— Эк, тараруй, — сплюнул сердито Илья Данилович. — А еще именуется дядькой царевым… рыжемордый!

Друзья снова прижались друг к другу и продолжали совещаться.

Наконец Морозов и Грибоедов, ударив с друзьями по рукам, ушли. Окольничие развалились на лавке.

— Попочивать маненько, — нараспев зевнул Милославский. — Авось, коли понадобимся, покличут.

Траханиотов попытался что-то ответить, но не успел — хмельной сон опять овладел им.

Вернувшись в трапезную, Грибоедов учтиво вытянулся за спиной Никиты Ивановича.

Алексей, развалясь в золоченом кресле, с видом знатока следил за непристойной пляской иноземных скоморохов. В глубине зала, на возвышении, неумолчно трубили трубачи.

Грибоедов наклонился к уху князя Никиты.

— Вести недобрые.

Спокойно допив свой овкач, Романов встал и, чуть подергивая левой ногой в лад трубачам, затопал в сени. За ним незаметно проскользнул и Грибоедов.

— Дурные вести, — повторил он вполголоса, — замышляют противу тебя.

— Да ну?

— Как перед образом. — Дьяк оглядел подволоку, точно искал на ней икону, и вытянул тонкую шею. — Плещеев в Разбойном приказе сидит да двух людишек разбойных навычает небылицам противу тебя, Пронского да князь Черкасского.

Никита Иванович злобно расхохотался.

— А поглазели бы мы, как кречета вороны заклюют!

— А те разбойные норовят письма воровские на Москве пустить, — шепнул раздраженный несерьезностью князя Грибоедов, — дескать, пошлина соляная — затея Никиты Романова.

Князь вздрогнул. Жестоко оглядев дьяка и оттолкнув его локтем, он бросился в трапезную.

На заплеванном полу с визгом катались скоморохи. Пирующие кидали им объедки со стола и подзадоривали к бою. Кто добывал большее количество кусков, тот получал в награду овкач вина. Увлеченный потехой царь потянул со стола покрывало.

— Держи! — крикнул он так, точно науськивал на охоте псов. — Угуй!… Держи!

Князь Никита, выждав удобную минуту, вплотную подошел к царю и что-то шепнул ему.

— Ложь! — крикнул Алексей и замахнулся кулаком на дядьку.

Точно ветром снесло гомон и смех в трапезной. Шуты окаменели. Бочком, путаясь в собственных ногах, непослушных от хмеля и испуга, бояре отошли к стороне, за цареву спину. Их потные лица, не терявшие сознания достоинства даже в буйном хмелю, сразу поблекли, обмякли. Только Никита Иванович не отступил перед государевым гневом. Заложив руки в бока, он запрокинул голову и

гордо отрубил:

— А не бывало такого, чтобы род Романовых-князей ложью лгали!

И, распалясь, топнул ногой:

— Иль впрямь царская наша кровь нынче не в кровь?… Иль впрямь — вся вера ныне Милославским?

Алексей по спинам и головам шутов ринулся в светлицу. Там, робко притаясь у стрельчатого окна, сидела царица. Подле нее, на полу, лежали боярыни и мамки.

Увидев Алексея, женщины недоуменно вскочили.

— А не по чину, государь, пожаловал ты к молодушке своей, — нахмурилась одна из боярынь.

— Прочь! — заревел Алексей, сжимая кулаки.

Оставшись наедине с царицей, он низко ей поклонился.

За окном бушевал вихрь. Метель дерзко стучалась в стекла, грозя ворваться в светлицу. Чуть вздрагивала в углу, ежась желтым язычком, лампада. В щелях окон скулили стиснутые струи ветра.

— Дай Бог здравия царице, — процедил сквозь зубы государь.

— Многая лета и слава царю, а мне служить ему верой да лаской, — заученно ответила Марья Ильинична и прижалась к мужу.

— Ждала?

— Да, владыка.

Алексей увлек жену на постель и, навалившись на нее, больно уперся локтем в ее грудь. Правая рука зашарила по плечу, а пальцы, нащупав горло, судорожно, сами собою, сжались.

— Помилуй! — сдушенно крикнула царица и заметалась в смертельном ужасе по постели. — По…мил…луй!

Взглянув в посиневшее лицо жены, царь опомнился и разжал пальцы.

— Не достойна ты и сгинуть от моей руки! — плюнул он с омерзением в глаза теряющей сознание Марьи Ильиничны. — Змееныш! Отродье Милославских!

Едва царица пришла в себя, он бросил ей под ноги шубу.

— Иди!… Чтоб духу Милославских не было в хороминах наших! В дальний монастырь!… На послух!

Ничего не понимающая женщина упала перед мужем на колени.

— Ты Богом данный мне муж и царь. По слову твоему да будет. Но допреж того, поведай, в чем вина моя, коей виной виновата я перед тобою?

— Коей виной? — ехидно повторил царь. — А не по то прокралась в хоромы наши, чтобы извести род Романовых, да володеть с Ильюшкою сиротинами Русийскими?

Царица ошалело уставилась в мужа и ползком пробралась к красному углу.

— Опамятуйся, царь-государь!

— На послух! — крикнул Алексей и заткнул пальцами уши. — На край земли!

Марья Ильинична вдруг поднялась. Голос ее окреп, и клятва, произнесенная перед иконой, прозвучала не мольбой, а гневным укором, отозвавшимся в сердце царя непонятным режущим стыдом.

Приникнув глазом к щели, боярыня не спускала взора с государя. На полу, у ее ног, ждала шутиха. Заметив, что государь смущен, боярыня решила воспользоваться удобным мгновением и пнула дурку ногой.

Гремя бубенчиками, шутиха ворвалась в светлицу и, взмахнув приделанными к плечам войлочными крыльями, прыгнула на стол.

— Кшш! — нетерпеливо смахнул ее царь рукой со стола.

Дурка вцепилась в его рукав.

— Сам кшш, злой Лексаша, из нашей светлицы от чистые голубицы!

В дверь просунулась голова боярыни.

— Окстись, государь, не к добру дурка вещает. Окстись и царицу оксти.

Шагнув к шутихе, она схватила ее за ногу, оттащила в сени, с

заклинанием оградила царя четырьмя крестными знаменьями и на носках ушла в соседний терем.

Алексей постоял еще некоторое время пред женой и неожиданно, закрыв руками лицо, убежал.

В сенях его встретили Плещеев и вспухший от сна Траханиотов.

— Царь мой и государь! — с надрывом выпалил Левонтий, падая на колени.

Петр Тихонович вытер кулаком глаза и, тяжело отдуваясь, припал к краю царева кафтана.

— Да что вас нынче прорвало? — сердито оттолкнул от себя окольничего Алексей.

Траханиотов закачался и рухнул на пол. Плещеев прижался носом к царскому сапогу, заплакал:

— Не гоже бы в нынешний день венца твоего печаловаться, да не могу смолчать, коль за спиною измена бродит!

Царь в крайнем недоумении вобрал голову в плечи:

— Сызнов измена?

Не поднимаясь с колен, судья отодвинулся к порогу и открыл дверь. В сени вползли, одетые в железа, разбойные людишки. По бокам их стали стрельцы.

— Сие к чему? — отступил Алексей.

Плещеев стукнулся об пол лбом.

— Все поведаем тебе, государь.

И повернулся к Траханиотову:

— Ты в глаголах поязыкатее, окольничий, обскажи все государю.

Окольничий приподнял голову.

— Недужится мне… ик!… того… сам…

Непослушная голова больно ударилась о половицу.

Плещеев подал знак разбойным людишкам. Путаясь и перебивая друг друга, узники принялись передавать царю все, чему научил их судья.

По мере рассказа лицо царя оживало и веселело. В глазах

забегали лукавые искорки.

— А и выходит, — прищурился он, — на стол на Московский сесть замыслил дядька мой, князь Никита Иванович?

— Так, государь, — поспешил подтвердить Плещеев.

— А и затейники вы!

Левонтий ожидал, что царь, выслушав донос, распалится гневом, но, увидев противное, опасливо отполз к двери.

— Покличь-ка Никиту, — сквозь смешок приказал Алексей.

Судья ринулся в тьму и вскоре вернулся с Романовым, Черкасским и Пронским.

— Не студено ль в сенях тебе, государь? — заботливо спросил Черкасский.

Государь дружелюбно похлопал его по плечу.

— Студено не от стужи, а от затеи лихой.

Из груди Плещеева вырвался вздох облегчения. "Будет гостинчик вам нынче", — подумал он с удовольствием и торжествующе поглядел на князя.

— Выходит, Никитушка, замест нас всех царствовать волишь?

Не дав опомниться возмущенному князю, он оглушительно расхохотался и тут же, оборвав смех, обиженно склонил голову на плечо.

— Пошто вам свара? Аль худо при мне вам? Аль не примолвляю я всех моих ближних?

Князь Никита виновато развел руками.

— Не мы, а они свару затеяли.

— Право, охальники, — сказал царь и властно топнул ногой. — Нутко, челомкайтесь, озорники!

Противники с омерзением оглядели друг друга, но не посмели ослушаться воли царевой и расцеловались.

Плещеев, опустив голову, вслед за другими поплелся в трапезную, но у порога вспомнил о разбойных людишках и торопливо вернулся к ним.

— Повырвать им языки, да растянуть до отказу, да сызнов на место пришить, чтоб впредь речистее были, — приказал он.

ГЛАВА III

Пустынно вдоль берега Москва-реки. Кое-где лишь нахохлились, точно позабытые стога подгнившего сена, слепые избы. Чуть курится навоз на огородах; в нем роются, тщетно ища добычу, голодные и тощие московские псы.

На пригорке прилепилась старенькая церковь Воскресения-на-Гончарах. Ее придавили годы. Пустые глаза звонницы застыли в мертвом страхе. Кажется, взберись по скрипучей лесенке наверх — и через мертвые эти глаза увидишь даль былых десятилетий… Вон, на восходе, сквозь пелену тумана, слышится какой-то странный ропот. То не орды ли Довлет-Гирея крадутся на Москву?… А глубже, точно из-под земли, растет, тянется к небу и уходит в тучи чья-то волнующая рука. Не Грозный ли царь пробудился, чтобы сжать в кулаке своем российских людишек?… А вон что-то повисло над Василием Блаженным. Не холоп ли то на дьявольских крыльях?…

Не раз, в разгар работы, гончар Савинка Корепин уходил как будто за своим делом, на малый час, и незаметно, огородами, пробирался к церкви. Он любил, облокотившись на балясы, глядеть на унылые просторы широко раскинувшейся Москвы и предаваться думам. Если бы спросить, чем влечет его к себе звонница, он не ответил бы, может быть, удивился бы вопросу: "Кремль как Кремль… А то вот — ряды. Чего тут не понимать?" И все же, какая-то сила толкала его сюда. Он отрывался на этой покосившейся звоннице от земли, от повседневных будничных забот своих, и видел, хоть сумеречные, неразборчивые, но все-таки — дали. И то, что он этого не понимал, не мог выразить в словах, увлекало его еще больше.

Вот и сегодня не застала его на работе Таня. Как всегда, она

убрала избу, поставила на стол ведерко щей, наломала восемь кусков вязкого, как глина, хлеба, и, накинув на плечи прохудившуюся епанчу, вышла под навес.

— Снедать готово, — поклонилась она гончарам, незаметно обшаривая глазами углы и двор.

Отец заметил ее взгляд, безнадежно махнул рукой:

— Поищи ледку в теплом медку. Воронам счет ведет суженый твой, по цареву указу, по юродивому наказу.

Гончары сочувственно поглядели на девушку и молча пошли в избу.

Таня побежала к церкви. "Так и есть. Сызнов тужит", — подумала она и окликнула Корепина. Савинка вздрогнул от ее оклика, поглядел недоуменно вниз, — увидав девушку, весело кивнул ей и быстро затопал по ветхой лесенке.

Гончары уже сидели за столом, когда он вошел в избу.

— А и щи! — причмокнул Савинка, присаживаясь к товарищам и погружая ложку в ведерко. — То ли мырять в них, то ли штаны полоскать!

Остальные одобрительно фыркнули и, чтобы сдержаться, старательно набили рты хлебом.

Таня виновато потупилась, перестала есть. Хозяин уткнулся в ведерко, делая вид, что ничего не слышит. Со лба его, будто нехотя, медленно падали в мутную жижу капельки пота.

— Эвона, соль где! — зло съязвил Корепин. — А вы печалуетесь, несмышленыши, будто не солоно варево.

Он повернулсяя к девушке:

— Ты-то пошто не кушаешь да кручинишься? Али с государем царем на сидении была, соляную пошлину надумывала?

При упоминании о царе все, точно по уговору, вскочили и со страхом поглядели на дверь.

— Побойся Бога! — прикрикнул хозяин. — Неровен час язык услышит.

Савинка ухарски тряхнул льняной головой:

— А коль страшно, Григорий, окстись! От креста, бают, всякая нечисть бежит.

Старик беспомощно оглядел работных и неожиданно затопал ногами на дочь:

— А и выгоню! Коли тебе всякая заноза дороже родителя, сама с ним иди! Как пить дать — обоих-двух выгоню!

Подхватив ютящийся в уголке под ворохом соломы убогий свой сверточек, Савинка шагнул к выходу.

— Где дорога с кустом, там волку и дом, где в дубраве берлога, там медведю и отдых с дороги!

Таня загородила ему путь. Ее круглое лицо выражало отчаяние. Синие глаза с мольбой уставились на отца.

— Куда ж ему, батюшка, путь-то держать? Загубят его злые люди.

Савинка залюбовался Таней и, против воли, бросив узелок на место, весело хлопнул старика по спине.

— А и мне невместно идти. Погожу.

— Ну, ну, — не зло погрозился Григории, отворачиваясь от готовой заплакать дочери, — ужо и реветь собралась.

И мягко прибавил, поглаживая прокопченную лопату бороды:

— Нетто я от зла? Я по-родительски… Его не наущай — как раз на дыбу наткнется.

Он пошел к навесу. За ним гуськом потянулись работные.

— Робить иди! — крикнул со двора старик.

Савинка мотнул головой:

— Колико мы с тобой, старина, горшки лепили, а на соль до сего дни не заробили.

Работные любопытно остановились. Взбешенный старик бросился обратно в избу.

— Так-то ты слова мои слушаешь!

Савинка вызывающе засучил рукава.

— А ты не словом учи, а кулаками. Ну-те-ка, починай!

Схватив со стола ведерко, он изо всех сил ударил им об пол.

— Государеву руку держишь! А не ведомо тебе, что чёрт у государя умишко отнял, а государь людишек без соли оставил?

Толкая друг друга, работные сбились у избы. Пришибленные их взгляды понемногу обнажали, отражая в себе притаившееся в дальних глубинах сознания, человеческое достоинство.

— А и доподлинно задаром робим! Истину сказывает, — поддержал Корепина один из них.

Савинка вышел на двор и еще более расходился.

— Доколе молчать нам? Кого страхом страшиться? Государя ли, что глядит изо рта у бояр Морозова и Милославского?… А, да пропади они пропадом все!

Таня резко рванула Савинку за рукав.

— Примолкни, едут… Примолкни!

Из— за пригорка выплыла колымага.

— То постельничий, — вполголоса, успокаивающе сказал Савинка Тане.

Григорий прицыкнул на работных и увел их под навес.

— Ходи и ты, — неуверенно попросила девушка.

Савинка обнял Таню одной рукой, другою мягко провел по русой кудельке, выбившейся из-под косынки.

— Не буду я больше нынче робить, — шепнул он, касаясь губами прохладного краешка ее уха. — Не заботит меня моя робь.

— Отец забранится.

— А пущай его тешится. Он не со зла. Чать тоже с голоду.

Впряженный в колымагу гнедой аргамак, напряженно перебирая стройными ногами и всхрапывая, ронял на землю клочья белоснежной пены. Постельничий, дремотно закрыв глаза, мирно поклевывал носом.

Когда колымага поравнялась с церковью Воскресения, пономарь враз ударил во все колокола.

Возница привскочил от неожиданности и хлестнул коня.

— Но, ты, татарин!

Задребезжавшая колымага подпрыгнула на ухабе и с грохотом повалилась на бок, выбросив постельничего в лужу. Савинка шлепнул себя по бедрам и ухарски свистнул.

— Мырни-ка еще малость нам на потеху!

Девушка крепко сжала его руку.

— Кручинишь ты меня, Савинка. Вот как кручинишь.

— Не я кручиню, а горе наше кручинит нас. Все от нее, все от доли, девонька.

Таня поднялась с заваленки и сдавила руками виски.

— А уйдешь от нас, долю ищучи, как намедни грозился, так и ведай — непрощеный грех приму на душу, в Москва-реку брошусь. Пущай до скончания века погибель приму!

Кое— как пообчистивщись, Федор сжал кулак и выразительно поглядел на возницу.

— Ужо на конюшне попотчуешься!

Пономарь перегнулся через балясы и радостно закивал головой.

— Не покажешь ли милость, Федор Михайлович, не поблаговестишь ли?

Возница, тщетно гадавший — посечет или не посечет его господарь, загорелся надеждой на помилование.

— Потешился бы господарь, — осклабился он, — ублажил бы нас звоном христолюбивым.

— И то, потешусь, — сдался постельничий и направился к лесенке.

Григорий вышел на двор, сердито окликнул Савинку.

— А, да ляд вас возьми, — отмахнулся Корепин, — не стану нынче робить!

Он шлепнул Таню по спине и пустился бегом к ораве ребятишек, игравших в горелки:

— Ну-ка, девонька, догони-ка метелицу!

Увидев Корепина, ребятишки с веселым визгом бросились за ним.

Далеко провожала Таня влюбленным взглядом расшалившегося Савинку. "Сердцем дите, — умиленно думала она. — а норовом, что твой боярин".

* * *

— Что за диковина? — остановился забредший к заставе Савинка, прислушиваясь к нарастающему гулу колоколов. — Никак сполох?

Улицы оживали встревоженной толпой. Перекрестки зачернели ратниками и стрельцами.

— Шапки долой! — торжественно докатилось издалека. — Государь царь изволит жаловать с троицкого богомолья.

От заставы, по направлению к Басманной слободе, промчались конные. Вскоре показалась золоченая карета царя. Батожники выбивались из сил, разгоняя палками народ, чтобы очистить путь государю. Толпы то отливались рокочущими волнами к деревянным мосткам, то снова наводняли широкие улицы.

— Дорогу царю! — надрывались подьячие.

— Все обсказать государю! — возбужденно взывали голоса из народа.

Вдруг за Лубянкой к небу взвился огненный столб. Тотчас же вся полуденная сторона заклубилась багровыми тучами дыма и искр.

— Зелейная казна горит!… Усадьба Чистого горит!

Толпа ринулась на пожарище. Впереди, неузнаваемый, с выкатившимися глазами, с лицом зеленым, как хвоя, бежал Корепин.

— Жги лиходеев!

Весело потрескивая и играя огненными венцами, горела усадьба Чистого. Дьяк метался в подклети и, пренебрегая опасностью, перегружал из короба за пазуху деньги.

В толпу врезались ратники. Чистой с упованием прислушался к топоту коней и с большим еще рвением принялся за работу. Нагрузившись до последней возможности, он набросил на плечи крестьянскую епанчу, перевязал щеку красным платком и, тяжело

переваливаясь с ноги на ногу, вышел на двор.

— Жги воров! — заревел он подступившим к нему бунтарям. — Жги лиходеев!

На улице кони топтали людей. В переулках на убегавших набрасывались отряды стрельцов. Чистой отступал к воротам. "Токмо бы к ратникам Бог помог подойти, — мучительно думал он, — токмо бы на улку пробраться"… Сноп искр обдал дьяка. Он зажмурился и прыгнул к воротам.

— Горишь! — крикнул Савинка и содрал с него тлеющую епанчу.

Чистой в страхе припал к земле.

— Да никак дьяк! — расхохотался Корепин и поднял его с земли.

Дьяк попробовал вырваться, но рука цепко держала его за ворот. Поняв, что все кончено, он проникновенно уставился в небо.

— Так их и надо, воров!-мотнул он головою. — Токмо не меня губите, а их, помогутней котор…

Он не успел договорить и свалился, оглушенный ударом дубины.

— Держи, изменник, гостинец за соль!

* * *

Большой отряд ратников и стрельцов окружил карету царя. Алексей забился в угол кареты и шёпотом, точно боясь, что его может услышать толпа, обсуждал с ближними, как быть. Князь Черкасский твердо стоял на том, чтобы государь вышел к народу и тем успокоил его. Алексей несколько раз, набравшись смелости, высовывал было из окна голову, но тотчас же, объятый животным страхом, прятался.

— Не пойду, — говорил он и закрывал руками посеревшее лицо. — Пускай Никита пойдет.

Ропот усиливался, переходил в угрожающий гул. Ошалевшие людишки напирали на ратников, подходили к карете все ближе и ближе. Становилось ясно, что если сейчас, сию минуту, не выйти к бунтарям, они сами прорвутся, и тогда не миновать непоправимой беде.

Князь Никита свысока поглядел на царя.

— Видно, жребий на вас выпал с князь Черкасским.

Алексей заволновался и торопливо перекрестил дядьку.

— Благослови вас Господь, други мои! Изыдите с миром и возвратитеся в добре и здраве.

Молча встретил народ царевых послов. Никита приказал ратникам оставить его и подошел вплотную к толпе.

— А бывало ли, чтобы печалующиеся уходили несолоно хлебавши от нас с князь Черкасским? — спросил он не то заискивающе, не то с обидой в голосе.

Черкасский клятвенно поднял руку.

— Тем и живы, чтобы блюсти промеж государя и сиротин его мир да любовь.

Князья долго, наперебой, выхваляли преданность российских людишек своим государям и добились того, что разгневанная толпа начала склоняться на их уговоры. Из разных концов переряженные холопами языки страстными возгласами поддерживали царевых послов.

Бунтари нерешительно переглядывались: недавняя жажда расправы с насильниками, объединившая всех, таяла, убывала; сами собой образовывались отдельные группки, не связанные одна с другой.

Корепин подоспел к Басманной слободе, когда происходили выборы послов к Алексею. Разузнав, в чем дело, он выскочил наперед и, сорвав с головы шапку, с матерной бранью шлепнул ею о землю.

— Аль не того ли выборные восхотят, чего мы восхотели? Аль мы не Траханиотова со Плещеевым да Морозовым ищем?

Толпа снова загорелась злобой и тесно сомкнулась.

— Тра-ха-ни-ото-ва!… Выдать изменника Траханиотова!

Князь Никита, через силу сдерживая гаев, ласково обратился к Корепину:

— Все исполнится по договору нашему. Иди с миром и не

кручинься.

Но никто не слушал его слов. Взбаламученная призывом Савинки толпа уже вновь слилась в один могучий поток, катилась к цареву стану. Князья благоразумно отошли под прикрытие ратников и незаметно исчезли.

Когда они приблизились к стану, царь высунулся нетерпеливо из окна.

— Добро ли?

— Лихо, царь-государь!

Грузное туловище Алексея с неимоверною быстротою скрылось в карете.

Князь Никита открыл золоченую дверь и уставился на Алексея:

— Судью да окольничего людишки требуют.

— Пригода какая тому? — нахмурился царь.

Отстранив Никиту, в карету ввалился Черкасский.

— Отдай их, государь, не скупись. Не то, упаси Господи, не приключилось бы лиха с тобой, — сказал он и, не дожидаясь разрешения, окликнул судью: — Волят смутьяны не нас зреть в послах, а тебя со Траханиотовым.

Судья оторопел.

— Не пойду! — взмолился он, падая на колени перед царем.

Черкасский довольно потер руки и подмигнул князь Никите.

— А сдается мне, не Левонтий ли похвалялся — вся Москва-де в руце его?

Растерявшийся царь вышел из кареты и собрал совет.

— Рать ли снарядить противу смутьянов, либо Левонтия послом к ним спослать? — спросил он, глядя поверх голов и подергивая носом.

Все, кроме Морозова и Траханиотова, предложили выслать к народу судью.

— Поелику узрят людишки, что внемлет им государь, утихнут и укрепятся в вере, что не повинен помазанник Божий в лихих делах

ближних своих, — молитвенно сложив руки, сказал Черкасский, хорошо знавший, чем пронять Алексея.

И, действительно, царь сразу укрепился в решении.

— Иди, — ткнул он пальцем в судью. — Доподлинно, не можно нам слыть серед смердов потатчиком лиходеев.

Левонтий на четвереньках отполз к Морозову.

— Не пойду!… Не пойду, государь… Траханиотову повели.

Но государь остался твердым. Он смягчил только голос и придал лицу выражение покорности.

— Не мы того ищем, а Господнему персту покоряемся.

Он осенил судью крестным знамением.

— Да укрепит тебя отец небесный в мученическом подвиге и через то пожалует тебя селениями горними.

Романов поднял с земли Плещеева и хлопнул его ободряюще по плечу.

— Блажен муж, живот положивый за царя своего.

Судья рванулся из рук Никиты и уцепился за сапог Алексея.

— Не пойду на погибель… Траханиотову повели, он боле моего лиходей!

Царь подал знак. Стрельцы поволокли Плещеева к толпе. Им навстречу с ликованием спешили смутьяны.

— Спа-си-те, — надрываясь, вопил судья, — то не я, то Траханиотов… Спа-си-те!

Точно подгнившие половицы, хряснули кости Левонтия под десятками ног. Он скребнул ногтями землю и попытался вскочить, но тут же почувствовал, что какая-то страшная сила взметнула его высоко в поднебесье.

— Морозова и Траханиотова! Волим изменников зреть, — бушевала толпа, — Тра-ха-нио-това!

Алексей, решивший выдать толпе и окольничего, в последнюю минуту встретился с ним взглядом и не выдержал — неожиданно объявил, что сам идет к бунтарям.

Никита попытался удержать его, но царь раздраженно отмахнулся и, тяжело отдуваясь, направился к людишкам.

— Сиротины мои горемычные, — умильно зажмурился он, обращаясь к притихшей толпе. — Не страшась страху, печалуйтесь своему государю, как чадо печалуется родителю своему.

Смутьяны молчали, подозрительно оглядывая друг друга, стараясь по выражению лиц узнать языков.

— Перед истинным обетование даю — не в погибель, а на радости ваши челобитную обратить.

Небольшая кучка людишек, во главе с Корепиным, приблизилась к Алексею.

— Без соли оставили нас воры твои. Отдай нам Морозова с Траханиотовым, и будем мы тебе до века холопями верными.

После долгих переговоров царю удалось отстоять Морозова. Связанного же по рукам и ногам окольничего увезли на Красную площадь и там перед всем миром казнили.

Только добравшись до Кремля, Алексей почувствовал себя в безопасности. После трапезы он ушел в крестовую — служить молебствование о чудесном избавлении "от грозившие лютые смерти" и помолиться за упокой новопреставленных рабов Божьих Петра и Левонтия.

Поздней ночью, расставаясь с Марьей Ильиничной, он не удержался, похвастал:

— А вышло премудро, свет-царица моя! По чьему благоволенью Петра с Левонтием казнью казнили на радость смердам?

Он ткнул себя пальцем в грудь.

— По нашему, по государеву повелению… Разумеешь?

— Коли воля твоя, разумею, — ответила царица.

Алексей, любя, провел по лицу ее ладонью.

— Проста же ты, Марьюшка… По той самой пригоде выходит, что друг я не начальным людям, а смердам. Добро?

В опочивальне, прежде чем улечься, Алексей сел за стол, достал

из ящика пергамент и принялся вслух обдумывать складывавшуюся в голове виршу:

Раб Божий Алексей-государь.
Уповай всем сердцем на милости вышние
И не будет тебе от того от всевышнего
Ни туги, ни кручинушки, ни горюшки-горькие.

Он торопливо записал слова, с любовью снова прочел виршу и подмигнул в сторону темного окна:

— Пропишу-ко я и про нынешний день!

Перо усердно заскрипело:

" Лето 7156 июня во второй ден. В тот ден до десятого часу было красно и ветрено, а с десятого был гром и шел дожд велик часа з два, а потом шол дожд маленький и до вечера с перемешкою: а в ночи было тепло, а вчерашний ден на утренней заре шел дождик не велик…"

Почесав переносицу, Алексей задумчиво уставился в подволоку и, уловив мысль, снова склонился над пергаментом:

" …А еще упокой, Господи, души усопших раб твоих Петра и Левонтия. А еще нынче смутьяны смутили. Да не на того напали. Ведомы мне все пути непрохожие в ихнюю душу разбойную. А еще У свет-Марьюшки нынче сумерничал. Гораздо добро создал Господь теплых женушек человекам. Алексей, всея Руси царь-государь."

ГЛАВА IV

Ртищев потерял счет времени: ему казалось, что лежит он в черной норе тысячи лет и ничего, кроме тьмы и небытия, не было во все времена.

С тех пор, как пономарь, узнав о неожиданно вспыхнувшем бунте, схоронил постельничего в церковном подвале, сразу оборвалась всякая связь с живой жизнью. Уткнувшись лицом в землю, Федор

лежал, не смея ни пошевельнуться, ни громко вздохнуть. Осмелевшие мыши, которых было тут великое множество, сновали вокруг него, забивались под кафтан и, попискивая, бегали по спине.

Потеряв всякую надежду на избавление, Федор решил смириться, покаяться перед смертью в грехах. Однако, несмотря на усилия, ему не удавалось сосредоточиться. В самые проникновенные мгновения, когда страстной молитвой удавалось вызвать в мутнеющем воображении призрак ангела, — откуда-то, из глубины души, настойчиво поднимался образ чернокудрой маленькой женщины. Она неслышно усаживалась у ног Федора, и ангел темнел, исчезал. "Янина, — шептал Федор, — откликнись, горлица моя сизокрылая!…"

Отчаянный писк мышей возвращал Ртищева к действительности… Одолеваемый призраками и измученный непосильный борьбой с ними, он наконец забылся в полубреду.

Вдруг он в ужасе вскрикнул и отполз в угол: на него, раскачиваясь и пригибаясь к земле, двигалась какая-то тень.

— Тут, господарь?

— Митрий?

— Я самый.

Узнав пономаря, постельничий бухнулся перед ним на колени.

— Не губи! В той соли нету моей вины!

Пономарь отпрянул в сторону и приподняв половицы, шепнул дьячку:

— Ополоумел постельничий, меня испужался. Ходи сюда.

Дьячок подобрал подрясничек, спрыгнул в подполье и одной рукою сгреб Федора. "Родовитых кровей человек, а весом с кутенка", — с удивлением подумал он, вместе с ношей своей поднимаясь наверх, в церковь.

— Разрази меня огнь пророка Ильи, ежели сам государь не посетит храма сего и не содеет придела каменного в памятку

нынешнего моего избавления! — клятвенно воскликнул Ртищев, убедившись, что опасность миновала и, порывшись в карманах, подал дьячку горсточку серебра.

Вышли на паперть. Дьячок скосил глаза в сторону избы Григория.

— А коли к слову придется, обскажи государю, дескать, речет дьячок: в избе гончара-де смутьян пребывает, Корепин Савинка.

И он рассказал все, что слышал от людей про Савинку.

* * *

Отоспавшись в избе пономаря, Ртищев укатил в построенный им на собственные деньги Андреевский монастырь.

На монастырском дворе постельничего встретил ученый монах Дамаскин Птицкий.

— Возрадуйся, раб Божий Феодор, яко удостоишься ныне зреть мужа премудрого, — сообщил он, благословляя гостя. — Гостює у нас преосвященный Никон, митрополит Новогородский.

Ртищева проводили в особый покой, предназначенный исключительно для бесед и прохождения "ученой премудрости". Там собрались уже все тридцать монахов, выписанных государем из Киево-Печерской лавры и иных украинских монастырей. В красном углу, за отдельным столом, сидел Никон.

Федор сложил пригоршней ладони и подошел под благословение к митрополиту.

— Основатель смиренной обители сей, — доложил Епифаний Славинецкий.

Ленивым броском Никон перекрестил воздух и ткнул волосатую руку в губы постельничего.

— Давненько не зрел я тебя, Федор Михайлович.

Польщенный вниманием преосвященного, Федор отвесил глубокий, по монастырскому уставу, поклон.

В дальном углу покоя стояли подьячие Лучка Голосов, Степка Алябьев, Ивашка Засецкий и дьячок Благовещенского собора Костька Иванов — ученики Андреевского монастыря. В вытянутых

руках они держали благоговейно, как держат Евангелие, раскрытые греческие грамматики и выбивались из сил, чтобы показать, с каким усердием долбят они заданные уроки. Временами, когда никто на них не глядел, они выпрямляли согбенные спины, высовывали язык в сторону учителей и с наслаждением плевали в страницы учебников.

— Не приступить ли со страхом? — спросил, ни к кому не обращаясь, Арсений Сатановский, вытащив из-за пазухи учебник.

Маленькие и круглые, как у птицы, глаза Никона, остро уставились в монаха.

— А не передохнуть ли вам нынче ради для приезду нашего?

Бородатые лица учеников вспыхнули радостью. Руки сами собой сомкнулись, с шумом захлопнув опостылевшие, ненавистные книги. Сатановский послушно распустил учеников. Размяв занемевшие члены, Никон тяжело поднялся и пересел к общему столу.

— Премудростям иноземным малых сих навычаете? — не то насмешливо, не то строго прищурился он и сжал в кулаке жесткий волос седеющей бороды.

Ртищев выпятил грудь.

— Так, владыко. Навычаемся грамматике греческой, латинской и славянской, риторике, философии и другим словесным наукам во имя Отца и Сына и Святого Духа и на благо Российской земли.

Беседа, в начале робкая и неуверенная, оживилась, когда перешла на волнующие монастырь вопросы образования. Федор напомнил о переведенной Славинецким книге о "Гражданстве и обучении нравов детских".

Никон сразу стал внимательней и серьезней.

— Чти, отец, — приказал он и, усевшись поудобнее, ткнулся бородою в ладонь.

Долго, с большим увлечением, спорили монахи о книге. Каждый стремился показать перед Никоном свою ученость и ни за что не соглашался с мыслью, высказанной соседом, как бы справедлива

она ни была. Наконец митрополиту наскучил спор, грозивший затянуться до бесконечности, и, чтобы покончить с ним, он сказал наставительно:

— Всякое учение, поеже несть в нем хулы на Бога, есть пользительно государству.

— Аминь, — перекрестились монахи и прекратили спор.

Сухой взгляд Никона повлажнел, смягчив выражение скуластого, неприветливого лица.

— Был и я в давние годы, яко червь неразумный, и вот сподобил Господь приобщиться премудростям книжным.

Он мечтательно склонил голову на широкое плечо свое. Ртищев придвинулся поближе и весь обратился в слух.

— Показал бы ты нам милость, владыко, поведал бы о путях жития твоего, — умильно уставился Сатановский на преосвященного.

Никон поиграл золотым наперсным крестом, даром царя, сладко зевнул и перекрестил рот.

— И то поведал бы, — просительно протянул постельничий.

— В дальние годы, — начал митрополит, — был я не то чтобы из малого рода, а рожден от доподлинного мордовского смерда. А господарь наш, неведомо пошто, невзлюбил родителя моего и всякой пыткой пытал. А стану я перед господаревы очи — тож и меня ни в чем не миловал. И секли меня так, что до сего дни не уразумею, как не вытряхли душу мою из телес…

Он на миг остановился, с немой укоризной глядя на образ, и вдруг с необычайной силой стукнул кулаком по столу. Развесивший уши Федор вздрогнул от неожиданности. Монахи смиренно склонили головы и молчали.

— А и было мне, недостойному, видение, — продолжал Никон, — услышал я глас светлый, яко венец на челе Богородицы, и солодкий, яко причастие нерукотворенное: "Восстань, отроче, и гряди в иные земли научитися книжным премудростям. И благо ти будет. И будеши превыше всех во христианстве сидети". А внял я

гласу небесному и отошел из своей земли в землю иную.

Он встал и подошел к окну. Его лицо потемнело, покрылось крупными каплями пота.

— Колико тут пережито! — с искреннею тоскою вырвалось из крепкой и выпуклой груди его. — И в гладе томился, и от стужи студился лютой, одначе, думу свою держал неотвратно: все превзойду и стану я в славе превыше всех человеков!

Глаза его зажглись величавой гордостью. Борода взмела воздух, будто очищая все, что мешало владыке в пути.

— Тако и свершилось по реченому… Еще ходил я попом на селе, а смерды великим страхом страшились меня. А в те поры прослышал про меня архиерей и повелел предстать пред очи свои: "Добро, чадо, — рек он мне, — пасешь ты стадо Христово, ибо единым страхом перед господарями черные людишки спасутся перед отцом небесным". И, благословив меня, повелел принять постриг монашеский… И возвеличился я, да не до вышнего краю! Грядет еще час славы моей.

Заблаговестили к вечерне. Никон вытер с лица пот, перекрестился и, приняв из рук согнувшегося послушника жезл, не торопясь направился к выходу. За ним чинно двинулись остальные.

После вечерни монахи вновь собрались в учебном покое, чтобы обсудить Соборное уложение, которое затеял составить государь.

Никон пытливо оглядывал высказывавшихся, стараясь проникнуть в их сокровенные думы, и что-то записывал на клочке пергамента. Монахи ежились под его взглядом, робели и осторожно следили за митрополичьей рукой, желая узнать, что он пишет. Только Ртищев чувствовал себя великолепно и с детским простодушием восторгался умом Никиты Одоевского, Семена Прозоровского, Федора Волконского, дьяков Гаврилы Левонтиева и Федора Грибоедова, кропотливо собиравших старые, покрытые пылью веков обычаи и законы и представивших Алексею записку о новых законах.

— А для кого то Уложение? — поморщился Никон.

— Вестимо, для сиротин царевых, — пожал плечами постельничий.

Губы Никона задрожали, как у голодного пса, почуявшего запах говядины.

— То-то, что для сиротин, а не для правды.

Набравшийся смелости Славинецкий вступился за Ртищева, но митрополит властно топнул ногой:

— Уложения собирают боязни ради междуусобия от всех черных людишек, а не истинные правды ради! Тих, гораздо тих государь… Утишить мыслит уложениями воров да смутьянов. А то не уложениями смиряется, а батогами да дыбою.

Он разгневанно вышел из трапезной в свою келью. Монахи бросились было за ним, но остановились в сенях, боясь еще больше восстановить его против себя.

— Будет потеха, — горько пожаловался Сатановский, — не миновать, челом ударит на нас государю.

— А ты не каркай, — перекосил лицо Славинецкий.

Сатановский вызывающе оглядел обидчика.

— И деды мои, и прадеды не воронами, а кречетами почитались, ты же от начала века некормленным псом воешь да псиною отдаешь!

Еще мгновение и они вцепились бы друг другу в бороды, но тут на пороге показался Ртищев, и застигнутые врасплох монахи низко поклонились друг другу.

— Благослови, отец, — буркнул Сатановскому Епифаний.

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков, — пробормотал тот, еле сдерживаясь.

Федор с умилением глядел на монахов.

— Колико радостно зреть смиренное житие ваше!

Едва постельничий простился и ушел за ворота, Епифаний засучил рукава:

— А не благословишься ли и ты, ворон, благословением?

Сатановский толкнул его в грудь.

— Гряди ты к ведьме под хвост, филосоп козломордый!

* * *

Ежась от промозглой ночной сырости, Ртищев верхом на низкорослом коньке трусил к Кремлю.

У Спасских ворот он передал скакунка дозорному стрельцу и, помолясь на храм Василия Блаженного, скрылся в темноте двора.

В царевой опочивальне при свете восковой свечи, за круглым столиком, полураздетый Алексей играл в шахматы с Милославским. Федор потоптался перед дверью и нерешительно кашлянул.

Государь недовольно покосился на дверь, но тотчас же снова склонился над шахматами.

— Аи ловок же ты, государь, — с нарочитым восхищением всплеснул руками Илья Данилович, — колико не тужься, а не одолеть тебя.

Постельничий прыснул и помотал головой. "Хитра лисица, — подумал он не зло, — а сам, небось, токмо и норовит, чтобы поддаться". Он чуть приоткрыл тяжелую дверь.

— Жив? — сердечно протянул к нему руки царь.

— Жив, государь!

Милославский похлопал постельничего по плечу.

— А ныне и не бойся, ибо всех коноводов вечор людишки мои изловили.

Алексей нахмурился.

— Гоже ли? Сдается нам, мы посул давали не займать бунтарей?

Глаза окольничего заблестели лукавыми искорками.

— Нешто мы смутьянов ловили? Мы татей вязали.

Он рассмеялся и присел на лавку.

— А не забыл ли ты, Данилыч, про Корепина? — прищурился постельничий. — Про гончара Корепина Савинку?

Царь порылся в ящике стола, достал бумагу и внимательно просмотрел список изловленных бунтарей.

— Доподлинно, не зрю сего имени, — сказал он, сурово взглянув

на тестя.

Милославский торопливо вскочил.

— Сейчас же вора изловим!

Прихватив с собою Ртищева, он поскакал в Разбойный приказ.

* * *

Савинка пробудился от громкого стука в дверь. Неслышно поднявшись, он чуть отволочил доску волокового оконца и пристально вгляделся в тьму. Стук повторился с большей настойчивостью и силой. "Стрельцы!" — скорее догадался, чем увидел гончар.

На соломе, в углу, заворочался разбуженный Григорий. Из закутка ни жива, ни мертва выглянула Таня.

— Эй, вы там, отоприте!

Савинка направился к двери. Девушка бросилась к нему:

— То по твою душу пришли… Беги!

Он безнадежно опустил голову.

— Куда побежишь от ока царева. Да и не чуешь — весь двор окружили, проклятые…

ГЛАВА V

Грязный туман таял, обнажая поблескивавшую гладь Москва-реки. На восходе, точно расшитый золотом и изумрудами охабень боярышни, покачивалось прозрачное облачко. Из-за рощи, сквозь дымчатую пелену, стыдливо глядело солнце.

Ртищев, прилизанный и умытый, расхаживал по необъятному двору своей усадьбы, раскинутой в Конюшенном переулке Арбата, и нетерпеливо дожидался кого-то.

Наконец, к воротам подошел, одетый в подрясничек; сутулый старик. Федор бросился навстречу гостю. В хоромах, заперев дверь на засов, старик опустился на колени.

— Николай, угодник Божий, — зашамкал он, стукнувшись об пол лбом, — помощник Божий… Реки за мной, господарь.

Федор повторил произнесенные стариком слова.

— Ты и в поле, — возвысил голос гость, — ты и в доме…

— Ты и в поле, ты и в доме, — молитвенно вторил постельничий.

— В пути и в дороге, на небесах и на земли заступи и сохрани от всякого зла.

— От всякого зла, — эхом отозвался Ртищев и поднялся с колен.

Старик, поклонившись хозяину, достал из-за пазухи две свечи.

— Сажи маненько сдобыть бы, — попросил он, озираясь по сторонам.

Постельничий вышел в сени и шепнул дворецкому:

— Сажи сдобыть ведуну.

Дворецкий стремглав бросился исполнять приказание.

Вываляв свечи в саже, ведун на каждой из них, у самого верха, начертал первые буквы имени женщины, которую называл господарь, и утыкал буквы иголками.

— Время и огонек вздуть, — сказал он вполголоса.

Федор дрожащей рукой зажег свечи.

— Внемли, — насупился ведун, — егда почнут падать иглы, дуй в сторону, в коей живет зазноба, и реки за мной заговор.

Раздув до последней возможности щеки, Федор исступленно дул в окно и нараспев повторял за ведуном:

— Стал не благословясь, пошел не перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, вышел в чисто поле, стал, оборотился, свистнул тридевять раз и хлестнул тридевять раз, вызвал тридевять сил…

— Вертись на одной ноге! — крикнул старик и схватил Ртищева за плечи, с силою закружил его. — Вертись да приговаривай с упованием: вы, слуги верные, сослужите мне службу правильно, запрягите коня вороного и съездите за тридевять верст…

Ртищев неожиданно остановился и замахал руками.

— Какой тут тридевять верст? Доплюнуть — добежать до зазнобы

моей.

Старик свирепо схватил Федора за ворот.

— Весь заговор разметал словесами своими! Нешто я мене твоего ведаю, где зазноба живет?

Он повторил снова весь обряд заговора и поклонился хозяину до земли.

— На дыбе пытать ее будешь, в землю схоронишь, а никуда не вытряхнешь любовь бесконечную.

Ведун взялся за ручку двери и, не поглядев на серебро, щедро врученное ему Федором, собрался уходить. Вдруг на лице его изобразился испуг.

— Ведь эко запамятовал… Вот оно — древние-то годы!… Черны, сказываешь, у зазнобушки волосья на голове?

— Черны, Миколушка. Чернее ночи черны.

— Вот по сей пригоде и должен я на груди носить за любовь за сию нерушимую перстень златой с камнем агатовым.

Постельничий облегченно вздохнул.

— Пожалуешь к вечеру, будет тебе перстень, Миколушка.

Выпроводив ведуна, Федор обрядился в новый кафтан и вышел на крыльцо. На дворе копошились холопы — чинили сбрую, ожесточенно чистили и скребли застоявшихся аргамаков, бегали без толку в сарай и подклеть — прилагали все старания, чтобы обратить внимание господаря на свое усердие. На противоположном конце двора за низкою изгородью, на огороде, перекидываясь веселыми шутками, работали девушки.

Ртищев поглядел на небо и решив, что уходить еще рано, побрел от нечего делать в огород.

Девушки побросали работу и бухнулись ему в ноги.

— Единому Господу поклоняйтеся, — назидательно пискнул постельничий.

Он приготовился произнести свою обычную речь, в которой проповедывал "братство всех людей во Христе", но, услышав

благовест, круто повернулся, раздал узенькое лицо в блаженную улыбку и, сорвав с головы шапку, перекрестился.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

— Аминь! — хором закончили девушки и снова поклонились господарю.

Федор отправился в церковь. Устроившись на клиросе, он безмолвно воззрился на образа. Однако молитвенное настроение не приходило. Взор то и дело обращался к окну, а в мыслях против воли стояло все одно и то же: продаст или не продаст?

* * *

Кое— как отстояв обедню, постельничий чуть ли не бегом пустился в сторону Знаменского переулка, к усадьбе дворянина Буйносова.

Буйносов увидел раннего гостя через окно и, в знак почтения, вышел к нему навстречу.

— Дай Бог здравия гостю желанному.

Пригнувшись, он обнял постельничего и троекратно облобызался с ним.

В тереме Федор долго крестился на образа, потом еще раз поклонился хозяину и, захватив в кулак маленький, утыканный реденькою щетинкою подбородок, присел к столу.

Со двора заунывною жалобою доносилась чуть слышная песня.

Лебедь белую во чужой сторонушке захоронили,
Со лебедь белою друга милого да разлучили,
Да, эх, кручинушка, да долюшка сиротская!
Знать, тобою, долюшка, нам дадено
Вековать ли с горюшком век-вечные,
Во слезах зарю встречаючи,
Да в горючих зорьку провожаючи…

— Добро девки поют, — мечтательно закатил глаза, постельничий.

Буйносов чванно выставил живот.

— А краше всех, гостюшко, поет полонная женка Янина.

Федор смущенно поглядел на пальцы свои и отошел к окну.

— Эко, траву нынешним летом, как прорвало!

Буйносов торопливо перекрестился и сплюнул через плечо.

— Дурное око ворону на потребу, доброе же слово хозяину на корысть, — трижды проговорил он скороговоркой и потом уже спокойно прибавил: — Травы, доподлинно… могутные ныне травы, благодарение Господу.

Помолчав немного, Ртищев снова присел рядом с хозяином.

— Ежегодно радуются люди траве зеленой, — улыбнулся он печальной улыбкой, — а того в толк не возьмут, что оком не мигнешь, как травушке той и кончина века пришла.

Буйносов сочувственно покачал головой.

— Так и живот человеческий.

Потерев раздумчиво лоб, Ртищев забарабанил пальцами по столу.

— Читывал я, Прокофьич, и греческую премудрость, и многие тайны спознал, а все в толк не возьму: пошто и человек, и трава смертью помирают, а мир как будто и не помирал николи? Как жил много годов назад, так и жительствует.

Он беспомощно заморгал глазами и спрятал в ладони потемневшее лицо.

— Сдается мне, что и человек, как трава: коль един на земли сиротствует, нет ему ни доли, ни радости… Все кручинится да тужит человек одинокий. А позабыть ежели про себя да к людям податься, особливо ежели к женке, то ли жизнь пойдет!

Прокофьич нетерпеливо дослушал гостя и грозно сдвинул рыжие брови.

— Не до того еще допляшешься с борзостями еллинскими! Ума решишься! А пошто наважденье такое?… По то, Федор Михайлович, что старину позапамятовал. Нешто так отцы и деды наши на мир Божий глазели? Нас как навычали? Егда поспрошают тебя, ведаешь

ли философию, отвещай: еллинских борзостей не текох, риторских астромонов не читах, с мудрыми философами не бывах, но учуся книгам благодатного закона, как бы можно было мою грешную душу очистить от грехов.

— Не то! — воскликнул Федор, — против старины не смутьян я. Но ведаю, что не весь живот человеческий познала древняя мудрость.

Песня за окном то таяла, припадая к земле, то вздымалась к небесам, исполненная кручины, то билась отчаянно в воздухе, как бьется отяжелевшими крыльями смертельно раненный сокол.

— Эко, девки печалуются, Прокофьич!

Буйносов выглянул в окно.

— Сызнов Янинка раскаркалась!… Ужо закажешь десятому, как лихо накликивать.

Тяжело отдуваясь, он вышел на двор. Ртищев обеспокоенно последовал за ним.

При появлении господаря девки упали ниц, ткнувшись лицами в землю.

— Пожалуй-ко, покажи милость, подойди-ка к крыльцу, — поманил Прокофьич пальцем Янину.

Неторопливо поднявшись, женщина спокойно пошла на зов.

— В нога! — крикнул господарь, наотмашь ударив ее по лицу.

— Как тебе сподручнее будет, — гордо сверкнула глазами Янина, опускаясь на землю.

Осанка ее, так не похожая на осанку даже самых родовитых российских женщин, величавый взгляд больших серых глаз и чуть вздрагивающие от скрытого возмущеиия ноздри привели Буйносова в неистовство.

Федор, чтобы выручить Янину, стал между нею и Прокофьичем.

— Неужто песней сиротской можно лихо накликать?

Чуть приподняв голову, женщина обдала постельничего признательным взглядом.

— А ежели лихо не накличет, — огрызнулся хозяин, — то уж вернее верного девок от работы отвадит!

Он кликнул дворецкого и, не обращая внимания на немую мольбу Ртищева, приказал:

— Сечь ее крапивой до четвертого поту!

Ртищев гневно вцепился в руку Буйносова.

— Опамятуйся!

Но дворецкий, покорный приказу, поволок женщину через двор.

— Дружбы для! — крикнул постельничий. — Не сором полоняночку.

Буйносов упрямо мотнул головой и, увлекая за собой не выпускавшего его руку гостя, пошел в конюшню.

— Продай женку, Прокофьич! — завизжал Федор, едва холоп замахнулся на женщину пучком крапивы.

Глаза Буйносова подернулись усмешкою. Чтобы еще больше раззадорить гостя, он сорвал с гвоздя плеть и, с наслаждением крякнув, трижды полоснул Янину. Ртищев умоляюще протянул к нему руки:

— Ничего не пожалею, бери колико волишь!

Хозяин кинул плеть под козлы.

— Не можно. Рад послужить, да самому холопы надобны.

— Дружбы для нашей!… До скончания живота памятовать буду добро твое…

Буйносов почесав затылок, нерешительно помялся и с сожалением поглядел на гостя.

— Нешто для дружбы?… А дружбы для и мы не бусурмане. Задаром отдам! За двести рублев.

Федор всплеснул руками.

— Окстись! Да нешто бывало, чтобы за холопку боле трех рублев плачивали?

Ни слова не ответив, Прокофьич вытер руку о полу кафтана, перекрестился и кивнул кату.

— Ты ей пятки полехтай огоньком.

— Дворянин, а рядишься, что твой татарин, — не выдержав, проговорил постельничий и гадливо сплюнул.

— Так-то ты! — заревел Буйносов. — В батоги ее!

Каты бросились к батогам. Обомлевший Ртищев отпрянул к двери, но тотчас же ловким движением вырвал из руки холопа батог.

— Царю ударю челом, не попущу! Нету такого закону, без суда людишек казнью казнить.

Лютый гнев помутил рассудок Прокофьича. Он отшвырнул далеко в сторону заступника женки и схватил секиру.

— А коли не волен ныне я, господарь, над смердами расправу творить, так на же!

Федор, собрав все свои силы, метнулся к козлам.

— Бери!… Двести пятьдесят бери, токмо помилуй!

— То-то же, — спокойно ответил Буйносов, опуская секиру, — вон оно до чего довел ты меня, Федор Михайлович. Еще бы время малое, грех смертный принял бы на душу.

Федор сжался и, боясь вновь рассердить неудачным словом хозяина, угрюмо молчал.

В терему они ударили по рукам. Дворецкий побежал за дьячком. Подоспевший Буйносов, довольный выгодной сделкой, предложил гостю вина.

— Не вкушаю, — поморщился постельничий, — не тешу нечистого.

— Вольному — волюшка, а спасенному — рай, — презрительно ухмыльнулся Прокофьич. — Токмо по-нашему, по-неученому, не грех бы для крепости пообмочить купчую отпись.

Он увел Ртищева в трапезную и насильно заставил пригубить корец.

— А остатнее я отхлебну.

В дверь просунулась голова дворецкого:

— Доставил.

Буйносов надменно оглядел пошедшего дьячка и, не ответив на

глубокий поклон его, спросил:

— Горазд ли ты купчую отписывать?

— Тем и живы опричь служения в храме, — почтительно закивал дьячок и достал из болтавшегося на животе мешочка чернильцу.

— А коли горазд, строчи, вислогубый!

Дьячок повел кожей на лбу — из-за дрогнувшего уха выскользнуло перо и, точно прирученное, упало промеж растопыренных пальцев.

— Про что отписывать, господари?

Выслушав Буйносова, он припал на одно колено и, вытягивая горлом, в лад поскрипывавшему перу, застрочил купчую. Покончив с делом, он перекрестился на образ, высморкался и загнусавил:

" Купчая отпись на проданную польскую женку Янину. Се я, Иван, сын Прокофьев, дворянин Буйносов в нынешнем сто пятьдесят седьмом году, продал я, Буйносов, свою польскую полонную женку Янину постельничему Ртищеву Федор Михайловичу. А у тое женки глаза серые, волосы черны на голове. А взял я, Иван сын Прокофьев, за ту свою полонную женку у него, Ртищева, 250 рублев денег. А впредь мне, Буйносову, до тое женки дела нет ни роду моему, ни племени, не вступаться… И буде кто станет в ту женку вступаться, а мне, Ивану, сыну Прокофьеву, очищать и убытку никакого ему, Ртищеву Федор Михайловичу, не довести. В том я, Буйносов, ему Ртищеву, отпись дал. А отпись писал дьячок Васька Лотков лета 7157 году."

Ртищев в знак согласия качал головой. Он торжествовал. Что там деньги! Главное, сбылось, наконец, то, о чем он мечтал больше года, никому не смея поведать свою тайну. Да и как можно было ему — постельничему, господарю — прийти к Буйносову и откровенно сказать о своей любви к какой-то безвестной полонной женке!

* * *

В колымаге Прокофьича постельничий умчался к себе в усадьбу

за казной. К обеду все было готово. Купчая отпись осталась в руках Федора, а Янину Буйносов обещался доставить на следующее утро, так как ей нужно было отлежаться после побоев.

Спрятав купчую на груди, Ртищев облобызался с хозяином и укатил во дворец.

Прокофьич на радостях пригласил соседей и мертвецки напился.

— Ловко я его, ха-ха-ха!…— гремел его густой бас в низких хоромах. — Секи! Ха-ха-ха-ха!… Я секу, а он, гнида болотная — "Полсотни рублев прикину, помилуй токмо, продай полонную женку". Ха-ха-ха!…

Тревожно и почти без сна провел Федор ночь. Едва забрезжил рассвет, он вскочил с постели и, позабыв о молитве, припал к окну. Дважды заходил в опочивальню дворецкий, о чем-то докладывая, спрашивал о чем то, и даже как будто, набравшись смелости, дергал господаря за край рубахи — но Федор только отмахивался.

— Сызнов блажит! — с сожалением пожимал дворецкий плечами и уходил ни с чем в полутемные сени.

Наконец, на дороге показалась Янина.

— Принимай! — взвизгнул Ртищев и бросился в сени, но вовремя опомнился. — Ты вот что, Флегонт, — поднялся он на носках, чтобы казаться солиднее, и постучал зачем-то пальцем по груди дворецкого. — Я… того самого, как его… вечор полонную женку купил. От лютые смерти Христа для спас… Так ты ужо, Флегонтушка, баньку задай той полонянке, да ласковым словом примолви. Хоть и из ляхов она, а все же душа человеческая.

Выпроводив дворецкого, Федор снова приник к окну.

Пошатываясь, маленькая, пришибленная, с беспомощно болтавшимся в руке узелочком, точно олицетворение скорби и беспросветного одиночества, Янина шагала к резному крыльцу.

ГЛАВА VI

Сам Ртищев смазал раны Янины целебными снадобьями, перевязал холстом и на всякий случай, для крепости, попросил Миколушку свести хворь на черного таракана.

На следующее утро, когда больная почувствовала себя лучше, ее перевели из подклети в каморку, примыкавшую к господарской опочивальне. Каморка была похожа скорее на узкий и низкий гроб, чем на человеческое жилье. Свет проникал через продолговатую щелку под подволокой, заделанную матовою слюдою. Но Янину поразило богатое убранство помещения. Лавка вдоль стены была обита парчой с золотыми гривами, на постели из золоченого дуба высилась гора пуховиков; покрывало, расшитое сапфирами, рубинами, бисером и бирюзой, горело при мигающем свете лампады тысячью причудливых огоньков; маленький круглый столик был завален дорогими потехами фряжского дела; в огромном стеклянном шаре, подвешенном к подволоке, уродливо корчась, отражалось все, находившееся в каморке.

Полонянка недоверчиво отступила к порогу.

— То не для нас, то для господарей, — показала она рукой на постель.

Дворецкий ухмыльнулся.

— День-деньской тебя для заботились холопи. Нешто не ведаешь, что господарь пожаловал тебя ключницей?

* * *

Вернувшись от заутрени, Ртищев перерядился в потертый подрясничек и, наскоро перекусив, вышел во двор.

До самого обеда помогал он холопам в их повседневной работе, на огороде поучал девушек, как нужно "по-европейски" удобрять землю и какие на свете бывают овощи помимо капусты и редьки. Девушки слушали внимательно, низкими поклонами благодарили господаря за добрые речи, но, когда Федор оставил их, — с недоумением уставились друг на друга:

— Уразумела?

— Подавись он со словесами своими со бусурманскими! Токмо опоганились слушамши.

И продолжали работу так, как учили их отцы и деды. В сущности, вся дворня относилась благожелательно к господарю — за тихий нрав его и человеческое отношение к людишкам. Только одного не могли холопы простить ему: страсти обучать их басурманским премудростям.

Каждый день, выспавшись после обеда, Ртищев, нагруженный букварями, шел в повалушу. Там дожидалась его вся дворня, от стариков до детей. Усевшись за покатым столиком, сработанным умельцем из немецкой слободы, постельничий устремлял кроткий и прямодушный свой взгляд на людишек.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — тоненько выводил он.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — повторяли холопы с таким неподдельным отчаянием, точно неожиданно видели себя на краю бездонной пропасти.

Федор усиленно тер висок и приступал к уроку, неизменно начиная с одного и того же:

— А что сказывает государь царь и великий князь всея Руси?

— Делу время, а потехе час, — отвечали все хором.

— Добро, гораздо добро, — кивал головой учитель и переходил к букварю.

В тот день, когда Янина переселилась в каморку, холопы решили не ходить в повалушу, понадеявшись, что господарь, забавляючись с бабой, позапамятует пытать их учением. Но пришел послеобеденный час и, как всегда в будни, Ртищев, со связкой книг под мышкой, направился в повалушу.

Дворовые покорно поплелись за ним.

— А что сказывает государь царь и великий князь всея Руси?

— Делу время, а потехе час.

— Добро… Гораздо добро.

Федор перелистал букварь, нашел нужное место и, не глядя,

ткнул пальцем в одного из учеников.

— Тебе, Афонька! — зашептали со всех сторон холопы, подталкивая старика-огородника.

Афонька, тонкий и кривой, как отраженная в воде осокорь, убитая молнией, сердито зажевал провалившимися губами и не двинулся с места.

— Ну-ко, Парашка, иди! — произнес наконец Ртищев первое, пришедшее на память имя.

Заросшая с головы до коротких узловатых ног грязью, рыхлая женщина испуганно заморгала и повернулась к иконе.

— Господи!

— Ну же!. — раздраженно прикрикнул учитель. — Долго дожидаться я буду!

Парашка, охая, поднялась, вразвалку, по-утиному, подошла к господарю и, разинув до ушей рот, ожесточенно сунула под головной платок грязную пятерню.

— Реки! — деловито ткнул Федор указкой в букварь.

— Глагол… иже… рцы…

Ртищев нетерпеливо забарабанил пальцами по дубовому столу.

— А где ты тут "иже" узрела? Реки: глагол, есть, рцы, аз, како, людие.

— Глагол, есть, рцы, како, людие, — точно в бреду, повторила Парашка.

— А вкупе?… Всем миром реките.

В повалуше воцарилась мертвая тишина. Ртищев оскалил зубы и, наклонившись к женщине, процедил ей под ухо:

— Реки: Ге-ра-кл.

Обомлевшая Парашка с воем бросилась в ноги господарю.

— Избави!… Не погуби христианскую душу!

На лбу у Федора выступил пот. Он схватил женщину за руку и, поднявшись на носках, шлепнул ее букварем по груди…

— А Геракла страшишься — реки: добро, ук, рцы, аз.

— Реки: добро, ук, рцы, аз, — упавшим голосом откликнулась женщина.

— Ну чего ты взыщешь с нее! — сплюнул Федор. — Без моего реки: добро, ук, рцы, аз.

Парашка повторила так, будто накликала на себя неминуемую гибель:

— Без реки моего добро, ук, рцы, аз, иже…

И расплылась в улыбке.

— Постой, погоди! — не выдержал Ртищев и закатился смехом. — А есть то истина: добро, ук, — ду, рцы, аз — ра. Ду-ра!

Холопы поддержали господаря раскатистым хохотом. Обалдело умолкнувшая ученица внезапно всплеснула руками:

— И доподлинно, дура!… У меня корова не доена, а я тут букварю обучаюсь.

Когда в повалушке немного стихло, Ртищев, довольный собой, порылся в книгах, нашел изображение коровы и, показав его ученикам, пощелкал двумя пальцами по лбу Парашки.

— А ведомо ли тебе, что смертью помереть может корова, коли ее не ко времени подоить?

Играя именами иноземных ученых, он принялся объяснять холопам, как построен скелет коровы. С каждым словом постельничий увлекался все более и более. Он позабыл уже, о чем начал говорить, и перескакивал с поразительной быстротой с одного предмета на другой. Жития святых переплетались с разговорами, об уходе за овцами, гражданство и обучение нравов детских — с Аристотелем и комедийным действом у иноземцев… Наконец, истощив весь запас красноречия, Ртищев устало разогнул спину и с недоумением воззрился на Парашку.

— Так о чем, бишь, мы с тобой? — устало потянулся он.

— Об дуре, — пробудившись от дремоты, крикнул огородник и на всякий случай спрятался за спину соседа.

Федор собрал книги и повернулся к образам. Холопы с радостью

склонили колена, готовясь к молитве. Урок окончился.

* * *

Спускался неприветливый вечер. Точно хмельные монахи в дымчатых рясах и сбившихся набекрень клобуках, покачивались в низком небе разорванные тучи.

Ртищев сидел, нахохлившись, в опочивальне и тосковал. Идти никуда не хотелось, а ложиться спать было еще рано. Временами он поднимался с лавки и, затаив дыхание, на носках, подкрадывался к двери, ведущей в каморку Янины.

— Почивает, болезная, — шептал он с умилением, складывая руки на груди.

Янина тонула в пуховиках и, закинув за голову руки, беспокойно ждала господаря. Томительно медленно длилось время. Каморка погружалась во мрак. На улице стихало движение. Кралась слезливая московская ночь.

Заслышав шорох в опочивальне, полонянка встала с постели, готовая к встрече. Но Федор не шел: приникнув ухом к деревянной переборке, прислушиваясь к дыханию женщины, он шептал какие-то ласковые, самому ему непонятные слова.

Его слабый шепот донесся до чуткого слуха Янины и сразу успокоил ее. "Да то он нейдет жалеючи, — догадалась она и, посмелев, решилась на хитрость: — Пожалуешь, ох, как пожалуешь, господарик!"

Плотно укутавшись в покрывало, она запела вполголоса:

Ой, не спится мне молодушке,
На чужой— лихой сторонушке.

И, нарочито громков всхлипнув, продолжала с тоской:

Пожалел бы ты меня, Господь-батюшка,
Да укрыл бы во сырой земли…

Федор, полный участия, слушал. Точно в лад безрадостной песне, выл заблудившийся в трубе ветер и печально позвякивали о слюдяное оконце тяжелые капли дождя.

А не можно боле мне одинокой
А сиротствовать на чужбинушке, да на далекой…
Пожалей же, Господь-батюшка, полоняночку.
Прибери к себе да бесприютную…

Все тише пела Янина — слова блекли и вяли, как лепестки сорванных ветром степных колокольчиков. Наконец песня оборвалась, сменилась жалобными всхлипываниями.

Ртищев заметался по опочивальне, не зная, что предпринять, и сразу вдруг решился: зажмурившись, чтобы не так чувствовать страх, открыл дверь каморки.

Янина грохнулась на колени.

— Помилуй, господарь! За кручиной своей упамятовала я, что покой твой встревожила.

Нащупывая руками дорогу, постельничий шагнул во мрак и наткнулся на столик. С треском и звоном покатились по полу дорогие фряжские забавы.

— Свет бы вздуть, — отступил Федор…

Полонянка поднялась с колен и зажгла лампаду.

— Эка, сколько сгублено твоих забавушек, — виновато развел руками господарь и уселся на край постели. — Да ты не кручинься, касатка. Я новых доставлю, колико сама восхочешь.

Она натянула покрывало на круглое плечо и жеманно сложила губы.

— Не ждала я тебя, господарь, не приубралась.

— А я было думку имел, ты почиваешь, лапушка.

— Где уж. Очей не сомкнула.

Федор осторожно обнял ее. Легкая дрожь пробежала по телу женщины.

— Бога для, не губи, — взмолилась она.

Девичья стыдливость полонянки тронула сердце Федора и пробудила в нем чувство великодушия. Неимоверным усилием воли поборов себя, он встал, клятвенно поднял руки:

— Как родителя не соромилась бы, так и меня не соромься.

И глухо прибавил, задувая лампаду:

— Токмо не гони, токмо дозволь быть подле тебя.

Каморка погрузилась в непроглядную тьму. Не решаясь подойти к постели, Федор сказал:

— Ты бы спела господарю своему, горлица светлоокая.

— Рада бы потешить тебя, да ведомы мне едины песни кручинные.

Федор склонил голову и вздохнул:

— А мне токмо и по мысли песни такие.

Янина, помолчав, запела.

Жил да был на Польше шляхтич Казимир.
Ой, велик-могуч был шляхтич Казимир!
Тьмы тем злата в погребах он хоронил.
Токмо краше злата-серебра ему была
Дочка панночка, Янинушка…

И оборвалась, зарывшись лицом в подушку, заплакала.

— Сиротина… горемычная моя сиротина, — зашептал Федор, склоняясь над ней и чувствуя, как у него самого закипают в груди рыдания. Рука его сама собой обвилась вокруг ее шеи и губы припали к мокрой от слез щеке.

Янина испуганно рванулась.

— Не надо… Бог взыщет за меня, сиротину!

Федор всем телом откинулся назад и воскликнул в исступлении:

— Коли так, краше не зреть тебя! Утресь же отпущу тебя на все на четыре сторонушки!

Он сделал шаг к двери, но Янина вцепилась в его рукав.

— Не спокидай!… Нешто не чуешь, что милей ты мне свету белого! Об едином токмо кручинюсь — не ведаю, я ли люба тебе.

Ртищев захлебнулся от счастья.

— Мне ли? Люба ли?… Да коли нужда будет, по единому глаголу твоему в реку брошусь, не перекрестясь.

Снова теряя голову, он обнял женщину и с силой сжал ее в своих руках. Янина с отчаянным криком забилась в его объятиях.

— Тьфу! — рассердился постельничий, отпуская ее.

Янина поняла, что игра ее принимает дурной оборот и, опустившись на пол, присев у ног Федора, долго говорила ему о любви своей, клялась, что все думки ее заполнены им одним… Точно в бреду, слушал Федор признание полонянки. "Прикрикни! Токмо прикрикни — и все будет по-твоему, — билась в мозгу его настойчивая мысль. — Нешто слыхано слыхом, чтобы холопка супротив господарей глас подавала!" Но он сумел подавить в себе этот голос и, измученный, перегоревший, ушел, так и не тронув в эту ночь Янину.

ГЛАВА VII

Воевода встретил Никона далеко за Новгородской заставой и, испросив у митрополита благословения, пересел в его колымагу.

— Тихо ли на Москве, владыко?

Никон грубо наступил ногой на ногу воеводы и показал глазами на сопровождавших его монахов.

Всю дорогу, до митрополичьих покоев, проехали молча. Никон был не в духе. Встречавшиеся на улицах людишки, как всегда, почтительно снимали перед ним шапки, кланялись в пояс, но он не отвечал на поклоны и вместо благословения обдавал их таким жестоким взглядом, что они старались как можно скорей уйти с его

глаз.

Воевода понял, что митрополит везет недобрые вести, и с мучительным беспокойством перебирал в памяти все свои прегрешения, которые могли каким-либо путем дойти до Москвы.

Помолясь наспех перед вратами обители, Никон прошел в опочивальню, позвав за собой воеводу.

— А не слыхивал ли ты новых вестей, — зло насупился митрополит и еле слышно прибавил: — Опричь тебя на всех путях стрекочут про лихо сольвычегодское да устюжское.

Воевода тряхнул плечами, будто освободился наконец от давившей его ноши.

— Далеко до Сольвычегодска, владыко. А нам вместно новогородскую сторону блюсти в благодати и мире.

Глаза Никона сузились в ядовитой усмешке.

— А и в твоем воеводстве, чую, смуте не миновать.

Воевода вскочил с лавки, готовый к спору, но, встретившись со взглядом владыки, только вздохнул обиженно и снова уселся. В опочивальню, низко поклонившись митрополиту, вошел келарь. Никон переглянулся с ним и злорадно потер руки.

— Обскажи-ко сему мирскому начальному человеку, какими вестями ныне полнится земля российская.

Келарь перекрестился на образ, потом с преувеличенным почтением склонился перед воеводой.

— Опричь Сольвычегодска смутит ныне и Псков. А еще слухом слыхали, Новгород послов из Пскова встречает.

— А на то и воеводствуем мы, чтобы не слухом служить, а истиною, — ответил воевода и приподнялся, стукнул себя в грудь кулаком: — А не было от Пскова послов!

Никон, спокойно ожидавший, когда кончит воевода, подошел к порогу и приоткрыл дверь.

— Все обсказал, служитель истины?

— Все!

— А коли все — вот тебе Бог, а вот и порог.

Воевода позеленел от оскорбления, но послушно поклонился и вышел. "Была бы сила моя, показал бы я тебе, смерд мордовский, как над царевыми людьми издевою издеваться", — яростно думал он и, вскочив на коня, зло замахнулся плетью.

Зычный оклик келаря заставил его остановиться.

— Чего еще занадобилось?

Монах сложил на животе руки и низко поклонился.

— Благословляет тебя владыко на совет с Афанасием Лаврентьевичем Ордын-Нащокиным. Велико учен и разумен гот муж и в усмирениях не единожды показал умельство свое перед государем.

* * *

Улицы были заполнены народом, дорога от рынка к заставе стала похожа на вооруженный стан. Торговцы, чуя беду, побросали лари и поспешили скрыться. Кое-где виднелись отряды ратников — они незло покрикивали на толпу, грозя пустить в ход пищали.

Воевода сдержал коня и плетью поманил к себе стрельцов. Однако никто не послушался его.

Кто— то в толпе рассмеялся.

— Повоеводствовал и будет, родименький!

Один из ратников, подскочив к воеводе, хлестнул его коня.

— Покель целы косточки — скачи к лешему в бор!

Воевода размахнулся с плеча и заорал:

— На дыбу его! В железа!

Ратник отпрянул от удара и взялся за пищаль:

— За мшел непомерный да за все издевы — держи! — воскликнул он, но тотчас же по-приятельски улыбнулся. — Не егози, господарь. Оставлю я тебя псковичам на потеху.

— Псковичам? — точно во сне, повторил воевода. Весь пыл его мгновенно улегся, рука бессильно упала, плеть выскользнула из кулака и легла под ноги ратникова коня.

— А за гостинец спаси тебя Бог, — прибавил ратник и, ловко изогнувшись, подхватил плеть с земли. — Ишь ты, корысть мне ныне какая!… Набалдашник-то из чистого злата.

В дальнем краю кто-то протяжно крикнул и призывно ударил в накры.

— Мир псковичам! — пронеслось по улице.

Толпа по собственному почину, не дожидаясь приказа, расступилась, образовав узкий проход. Воевода припал к шее коня и во весь дух помчался назад к митрополичьим покоям.

Добравшись до рынка, псковичи остановились.

— Тебе обсказывать! — подхватили послы какого-то парня и поставили его на опрокинутую вверх дном бочку.

Парень сорвал с головы шапку.

— Так что хлебушка нету! — свирепо вытаращил он налитые кровью глаза. — Так что хлебушка нету!…

Он примолк, чтобы побороть в себе звериную злобу, мешавшую ему говорить и, прищелкнув пальцами, снова надрывно крикнул:

— Так что хлебушка нету!

Его сменил другой посол. Степенно перекрестившись, он разгладил бороду, прищурился и зябко запахнул епанчу.

— Хлебушка нету, а денег черные людишки и отродясь не зрели. Все, братья-новгородцы, дьякам, боярам да прочим царевым людям в нутро идет… Так ли я сказываю, братья-новгородцы?

— Так! — как один человек, рявкнула толпа. — Все дьякам да иным царевым людям!

Посол, ободренный поддержкой, разгорячился.

— А сильные люди за тех еретиков-басурман, что из шведской земли к нам во Псков перебегли, королю тьму тем хлеба отдали да еще силу великую денег прикинули. Гоже ли нам головами помереть, а хлебушек стравить басурманам?

Бурная людская лавина прокатилась по улицам, сметая все, что попадалось на пути. С веселым потрескиванием заплясали на

крышах домов багровые огненные змейки. По земле поползли мохнатые лапы дыма.

* * *

Никон согнал на свой двор всех новгородских монахов. Подгоняемые келарем, послушники подкатили к стенам пушки.

— Да благословит вас Бог на правый бой за дело царево! — напутствовал монахов митрополит.

Черным вихрем пронеслись монахи по улицам. Впереди, держа в одной руке высоко над головой кипарисовое распятье, а в другой сжимая черенок турецкой сабли, грозно скакал на своем рыжем коне воевода.

— Погибель смутьянам!… Анафема ворогам государевым! — вопил келарь, не отставая от воеводы и потрясая булатным мечом. — Анафема восставшим противу государя — царя Алексея.

В первое мгновение бунтари, потрясенные необычайным зрелищем, смутились и расстроили ряды, но, узнав воеводу, тотчас же пришли в себя.

— А и раз помирать!…

До поздней ночи длился жестокий бой.

Наконец монахи не выдержали и, дрогнув, отступили к митрополичьим покоям… Никон, зорко следивший со звонницы за бранью, торопливо сбежал вниз к послушникам, дозорившим у пушек.

— Готово, владыко, — поклонились монахи.

Никон снова взобрался на звонницу.

Толпа выплыла из-за переулка. Митрополичьи воины гикнули на коней и ускакали за стены. Уловив знак владыки, пономарь с силой рванул намотанные на руки веревки. Набатный рев колоколов захлебнулся в пушечном залпе.

Толпа смятенно шарахнулась назад. Из-за стены на отступающих снова ринулась монастырская конница.

— Разумейте языцы и покоряйтеся! — победно залился келарь.

— И покоряйтеся!… И покоряйтеся, яко с нами Бог, — поддержали остальные, выхватывая из ножен сабли.

На стене, пророчески простирая руки, озаренный трепещущим заревом факелов, стоял митрополит.

Вдруг из— за угла показалась толпа чернецов, отбившихся, по-видимому, от главных сил.

— Спасите! — молили они, стремясь пробиться к своим.

Никон не успел понять, в чем дело, как часть чернецов взобралась на стену.

— Благослови, владыко!

Митрополит готовно поднял руку, но кто-то с неожиданной силой сбросил его со стены под ноги смутьянам. Остальные чернецы окружили келаря и воеводу.

Из ворот, рискуя жизнью, выскочил игумен.

— То ряженые… Ни имайте им веры…

Но было уже поздно.

— Секи их, изменников! — вопили псковичи, наступая на митрополита.

Никон вскочил на ноги и злобно отшвырнул от себя саблю.

— Секите! Приемлю сором и смерть с великою радостью во имя Христово и во спасение царя моего.

Парень, первым говоривший на рынке, деловито поплевал на руку и с наслаждением ударил митрополита кулаком по лицу. Народ ахнул.

— Не гоже! Не гоже нам над пастырями глумиться… Не басурманы мы, — донеслось возмущенно с разных концов.

К митрополиту подошел примкнувший к бунтарям стрелецкий полуголова.

— Бьем тебе челом, владыко, и молим благословить Новгород на новое житие со выборные люди в начальниках.

Связанный по рукам и ногам, воевода завопил:

— Не внемли гаду сему! То он всей смуте начальник.

Митрополит, не удостоив взглядом бившегося у ног его воеводу, повернулся к церкви.

— Коль противу сего мздоимца-воеводы восстали людишки — благослови их, Господи сил, на победу.

* * *

Новгородцы ожили. Стрелецкий полуголова, избранный всенародно воеводою, с утра до ночи трудился, щедро награждая людишек зерном, которым завалены были господарские и монастырские закрома. Рекою лились вино, пиво и мед. Холопи, в одеждах бояр и торговых гостей, неустанно чинили суд и расправу над не успевшими скрыться господарями.

Расправившись с врагами своими, начальными людьми, выборные решили, что сделали все для своего освобождения, и предались непробудному пьянству. Разбойники, бежавшие из темниц, почуяв безнаказанность, принялись за грабежи и убийства. В городе не прекращались пожары.

Торговые люди, истосковавшиеся по своим ларям, не выдержали пренебрегая опасностью, собрали раду.

— Ты на воеводстве сидишь, — обступили они полуголову, — а не зришь, что рушится град наш сиротствующий.

Хмельной воевода не внял их словам — разразился площадной бранью и, приказав схватить зачинщиков, ушел заканчивать прерванный пир.

Никон, обряженный в поношенный подрясничек, ежедневно после обедни уходил в город. Его сопровождали толпы монахов и простолюдинов. На площади, перед церковью, митрополит опускался на колени и зычным голосом молился за "сиротствующий град".

— Покайтесь перед государем, — со слезами в голосе увещевал он толпу, вставая с колен после молитвы, — внемлите молению моему и гласу всевышнего. Как сгинет без солнца земля, так да погибнет народ без Богом помазанного царя-государя!

Наконец как-то ночью в митрополичью опочивальню ворвался

сияющий келарь.

— Владыко, владыко, — затормошил он спящего, — добрые вести, владыко!

Никон очумело вскочил и нащупал в изголовье секиру.

— То я, владыко! — испуганно отступил келарь, и тут же весело хлопнул в ладони: — Конец пришел вольнице! Конец беззаконию богопротивному. Нащокин расправился с Псковом и грядет во славе к Новгороду.

* * *

Слух об усмирении псковичей быстро докатился до новгородцев. Всполошенные толпы высыпали на торговую площадь держать совет. Оставшиеся в живых господари и приказные выползли из своих убежищ.

Полуголова не рискнул идти на площадь. Пораздумав, он направился к митрополичьим покоям.

Никон не вышел к воеводе, выслав к нему келаря.

— Недужится владыке, — печально вздохнул монах. — Мне же наказал бить тебе челом, не покажешь ли нам милость, не отстоишь ли обедню в моленной.

Польщенный воевода отпустил сопровождавших его друзей и доверчиво пошел за келарем.

— Пожалуй, — услужливо распахнул перед ним дверь монах.

Гость переступил через высокий порог и тут же половица с грохотом провалилась под его ногами.

— Поостынь маненько, воеводушко смердов, — хихикнул келарь и захлопнул дверь.

На площади бушевала толпа. Одни с кулаками наступали на выборных, требуя немедленного создания дружины, другие призывали к бегству в леса, третьи настаивали на бескровной сдаче города Нащокинской рати. Монахи сновали в толпе и, непрестанно крестясь, взывали к небу.

— Ты, Господи, зришь туту нашу горькую. Вразуми рабов Твоих

смириться перед Тобой и преславным помазанником Твоим.

После жестоких споров противники Никона махнули на все рукою и сдались.

В тот же день выборные отправились на Москву — бить челом государю на бояр и приказных, доведших людишек до бунта, и принести повинную от лица всего Новгорода.

* * *

После двухдневного заточения стрелецкого полуголову повели на конюшню.

— Новгородскому воеводе поклон и многая лета! — встретил его с усмешкою митрополит, но, едва узник сделал движение, чтобы подойти под благословение, келарь повалил его на землю и мигнул катам.

— Секите!

Два послушника, исполнявшие обязанности катов, набросились на воеводу и сорвали с него одежду.

Чем больше кричал истязаемый, тем беспощаднее его секли. Когда спина узника обратилась в сплошную рану, Никон перекрестился, деловито снял с гвоздя саблю и собственноручно рассек ему пятки.

— Выбросить псам!

Заблаговестили к обедне. Келарь засуетился, принес ведерко с водой и, смыв кровь с рук владыки, подал ему посох.

Домовая церковь при митрополичьих покоях была битком набита молящимися. Все именитые люди Новгорода, уцелевшие от расправы, пришли поклониться Никону и отслушать торжественное молебствование.

После службы митрополит вышел на паперть; приказав всем стать на колени, обличающе бросил:

— Вы!… Вы град сей богоспасаемый довели до погибели!

Молящиеся покорно склонили головы и молчали.

С каждым словом Никон распалялся все более.

— Ибо мало потчевали батогами холопей своих, распустили

потворством своим!… Аль позабыли, что на то и даны Богом черные людишки, чтобы господари наущали их смирению и тем уготовали им путь к блаженству в будущей жизни?

Один из торговых людей клятвенно поднял руку.

— Обетование даем творить отселе по глаголу твоему, владыко!

* * *

Новгородские послы прибыли на Москву. Окольничий проводил их в Кремль и выстроил на площади у Большой Палаты.

Вдоль Средней Палаты, что ютилась между Большой и Благовещенским собором, в ожидании государева выхода, разгуливали думные бояре и стрельцы.

Царь нетерпеливо поглядывал в окно и то и дело стремился выйти к послам, но каждый раз его сдерживали Милославский и Стрешнев.

— Не срок, государь, — в один голос увещевали они. — Погоди гонцов от Новгородского митрополита. Сейчас должны прискакать.

Небо заволакивало тучами. Кремль темнел, супился. Под окном о чем-то чуть слышно шепталась с сумерками зябко нахохлившаяся трава; плакучая ива, прилепившаяся к воротам, ведущим из внутреннего двора на площадь, теряла свои обычные очертания и, казалось, отделяется от земли, уходит куда-то расплывчатым туманным пятном. Точно голодные мыши, надоедливо скреблись о стены занесенные ветром осенние листья.

Выборные с тревогою поглядывали на царевы покои.

— Нейдет государь, — сиротливо жаловались они и, точно в предчувствии беды, тесней прижимались друг к другу.

Наконец на крыльце показалась сутулая фигура Ильи Даниловича.

— А что я сказывал, — радостно шепнул соседу один из послов, — как пить дать, пожалует сейчас и сам царь-государь! Не зря слух идет, будто царь усердно внемлет ныне печалованиям холопьим, а сильных людей из царства выводит.

Милославский что-то шепнул думному дворянину и скрылся в

хоромах. Дворянин стремглав бросился на Красную площадь, навстречу скакавшему во весь опор всаднику.

— Откель?

Всадник сдержал коня.

— От митрополита Новгородского, да от Афанасия Лаврентьевича Ордын-Нащокина с благою вестью!

Спрыгнув с коня, гонец направился к воротам, ведущим в Передние Переходы, но дворянин приказал ему идти во дворец обходным путем.

Узнав от вестника об окончательном усмирении псковичей, Алексей сразу преобразился.

— Не выйду к смутьянам! — объявил он, важно развалясь в кресле. — Всех их вон из Кремля!

— И то, по всему двору ихним духом смердит, — поддакнул Стрешнев и заковылял к двери.

Илья Данилович остановил его:

— Гоже ли так?

— И всегда-то ты, Ильюшка, нашей воле противоборствуешь, — недовольно произнес Алексей.

Милославский припал к руке государя.

— Не противоборствую, а о благоденствии твоем печалуюсь. Гнать всегда время найдется, а ныне вместно по-родительски на их кручины попечаловаться да посулы добрые посулить. То ли дело — вернутся в Новгород, о государе всем с великой любовью людишкам сказывать будут.

Царь задумчиво почесал поясницу и воззрился на тестя.

— И то, Данилович! Пускай о государе своем с великой любовью сказывают людишкам.

Стрешнев с презрением оглядел Милославского.

— Не внемли ему, государь! Не тем славны были великие князья российской земли, что с холопями слезы точили. Помяни деда своего, Филарета, да еще Грозного царя помяни! Не ухмылкою, но

величием покоряли они противоборствующих!

Алексей встал и гордо запрокинул голову.

— И то!… Не ухмылкою, а величием покоряли они противоборствующих!

И, посовещавшись с ближними, выслал тестя к послам.

— Внемлите, — буркнул себе под нос Илья Данилович, представ пред выборными. — Царь-государь показал мне милость замест него слово вам молвить.

Послы опустились на колени.

— А сказывает царь-государь, что холопы-де государевы и сироты великим государям николи не указывали. Псковичам и новгородцам надобно было челом бить до нынешнего смятения, а не самим управляться. А того николи не бывало, чтоб мужики со бояре, окольничие и воеводы у расправных дел были, и впредь не будет того!

Промокшие до костей, подгоняемые окриками стрельцов, послы молча покинули Кремль.

ГЛАВА VIII

С тех пор, как Ртищев добился наконец своего и Янина уже не противилась его ласкам, все изменилось в усадьбе. Полонная женка стала полновластной господарыней над челядью.

Счастливый постельничий ничего не замечал. Не задумываясь, по первому слову Янины, он сбросил с себя старинные русские одежды и облачился в польский жупан. По утрам сама полонянка обряжала его в широчайший расшитый золотом и позументами, иноземный халат. Надушенный благовонными жидкостями, доставленными знакомым немцем из-за рубежа, Ртищев усаживался за книги и с головой уходил в изучение "еуропейской премудрости".

Почувствовав свою власть, Янина быстро поправилась и стала еще привлекательней, чем была.

Челядь, которую также заставили перерядиться в польские одежды, ненавидела своевольную гордую польку, но никто не смел выдать перед господарем свою нелюбовь. Больше всех доставалось от Янины дворецкому, которого она решила заменить своим человеком. Полонянка постоянно жаловалась на него Федору, нещадно секла его на конюшне и добилась того, что Ртищев сослал любимого своего слугу в дальнюю вотчину.

Затянутая в шуршащий шелк кофты, плотно облегавшей ее стройный стан, в тяжелой бархатной юбке, с двумя рядами золотых пуговиц по бокам, с собольей опушкой, густо набеленная и благоухающая, Янина все свободное время проводила у зеркала.

Почти все друзья Ртищева отбились от его дома, и, когда он приглашал их к себе, — откровенно заявляли, что не могут переносить "ляшского духу". Такие замечания волновали Федора, нарушали блаженный покой, в котором он пребывал со дня сближения с полонянкой. Набравшись смелости, он давал себе слово поговорить с Яниной и уломать ее отказаться от иноземных обычаев, но, когда оставался с нею наедине, сразу забывал приготовленные слова и откладывал объяснение до другого, более подходящего случая. Все, что делалось где-то там, за воротами усадьбы, на московских улицах и в самом Кремле, — теряло смысл и значение. Там властвовали над жизнью суета сует и томление духа, а истина, доподлинное добро пребывали в этих серых и ясных глазах такой покорной и такой всепокоряющей женщины…

После обеда, когда постельничий уезжал в Кремль или в Андреевский монастырь, Янина переодевалась в лучшее платье, ложилась на турецкий диван и предавалась чтению латинских книг или просто забывалась в полудремоте. Вскоре из сеней до слуха ее доносились сдержанные шаги дворецкого Тадеуша, купленного Федором у иноземца.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — вкрадчиво раздавалось за дверью.

— Ты, Тадеуш?

— Я, коханочка, — сладко вздыхал дворецкий и поспешно входил в терем, закрывая за собой дверь на засов.

Янина отодвигалась к стене и глазами указывала на место подле себя. Тадеуш расшаркивался, подражая изысканным манерам шляхтичей, присаживался на край дивана у ног польки и шепотом докладывал ей о чем-то. Передав дворецкому новые поручения, Янина отпускала его и уходила в трапезную — там дожидались ее обычно гости из Басманной слободы.

Проводив гостей, полонянка набрасывала на плечи турецкую шаль и отправлялась на улицу встречать господаря. Когда Ртищев выходил из колымаги, она отвешивала ему низкий поклон, делая вид, будто собирается пасть на колени. Федор краснел, смущенно спешил в хоромы.

— Мне вместно покланяться тебе, ненаглядная, — обнимал он женщину, — а ты все норовишь перед мною пасть ниц.

Застенчивая и радостная, Янина прижималась к чахлой груди господаря.

— Пошто мне милость такая от Бога? Недостойна я не токмо любовь от тебя принимать, но и ноги мыть твои херувимские!

Влюбленные усаживались на диван и проводили долгие часы в веселом щебетании. Впрочем, болтала больше полонянка. Она говорила обо всем, что приходило ей в голову, с наивнейшим легкомыслием перебегая с предмета на предмет, но под конец всегда выходило так, что сам Федор заводил речь о царе, о жизни при дворе и делах Посольского Приказа.

Янина мечтательно жмурилась и тесней прижималась к Федору.

— Сказывай, солнышко мое красное… Так и родитель мой сказывал мне про иноземные страны. То-то любы мне сказы сии!

* * *

С каждым днем все больше и больше восставали ревнители старины против новых порядков в доме постельничего.

— Эдак, прости, Господи, глагол нечестивый, недалече до того, что и образа вон вынесет из хоромин, — жаловались они царю и просили Христа ради запретить Ртищеву "тешить лукавого".

Царь внял настойчивым жалобам и вызвал к себе Федора.

— В ляхи отказываешься? — огорошил он гостя, не догадывавшегося о причинах, по которым охладел к нему с недавнего времени государь.

— Свят, свят, свят, Господь Саваоф, — обмахнул себя крестом постельничий. — Деды мои русские, прадеды Русские и я русский рожден да русским в будущий мир отойду.

Алексей перестал улыбаться и, указав рукою на лавку, подсел к Федору.

— Сызмальства люб ты мне, Федька, по то и кручинюсь об искушениях, в кои вверг ты чистое сердце свое.

Растроганный постельничий приложился к цареву кафтану и кулачком вытер глаза.

— За добрый глагол твой да пошлет тебе Бог многая лета!

— Молва идет, — не слушая его, продолжал Алексей, — будто твой двор не русским обычаем жительствует, а заправляет всем у тебя полонная женка. Не гоже, Федька, отродью ляцкому володеть постельничими государевыми.

Заметив, что Ртищев взволнован, Алексей смягчился, окинул его задумчивым взором и воскликнул радостно:

— А что, ежели бы полоняночку ту да в нашу православную веру перекрестить? Поглазел бы я в те поры, кой боярин зло рек про тебя бы!

Порешив на этом, царь дружелюбно простился с постельничим и отпустил его от себя.

Прямо из Кремля Ртищев отправился в церковь — припал лбом к каменным плитам пола и предался молитве. Он не заметил, как отошла вечерня, как погасли огни, и очнулся только после просьб потерявшего терпение дьячка — перенести моление на утро.

Чуть покачиваясь на своих изогнутых тонких ножках, Ртищев направился к выходу. До самой усадьбы он чувствовал себя спокойно и был уверен, что Янина поймет его, согласится креститься. Однако, встретившись лицом к лицу с полонянкой, он, как всегда, смутился и позабыл все, чему наставлял его Алексей.

— Здоров ли ты, господарь мой? — заботливо спросила Янина, увидев его желтое, сразу осунувшееся лицо, и с опаской подумала: "Уж не проведал ли чего про меня?"

Ртищев ничего не ответил. Пробравшись бочком в опочивальню, он бессильно опустился на лавку.

"Проведал, нечистый, не инако, проведал", — тупо отбивалось в мозгу Янины. Она заметалась по каморке, лихорадочно придумывая способ оправдаться перед постельничим.

— Янина! — донесся вдруг из опочивальни умоляющий голос.

Женщина выхватила из-под подушки зеркальце, мимоходом погляделась в него и, придав лицу выражение младенческой невинности, вышла на зов.

— Ты кликал меня, мой господарь?… Недужится тебе? Ведуна бы, а либо лекаря к тебе доставить…

Ртищев поднялся с постели и хрустнул пальцами.

— Не то, Янинушка моя! Телесами я здрав… Немоществую же духом смятенным.

— Неразумная я, а верую, что любовью укреплю дух твой, коханный мой. Обскажи токмо все без утайки.

Ртищев упрямо покачал головой.

— Боязно… Глаголы нейдут.

И только после того, как Янина разразилась слезами, он собрался с силой, троекратно перекрестился и выпалил:

— Не я волю, государь волит, чтоб приняла ты истинную веру Христову и тем ропот боярский утишила… Токмо не я, перед Богом не я! То государева воля.

Точно ветром, сразу снесло все сомнения и тревоги Янины. Она

едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть от радости.

Федор отодвинулся на край постели и испуганно замер, не смея взглянуть на полонянку.

— Царева ли то воля? — спросила наконец она.

— Перед истинным! Разрази меня Илья пророк, ежели то не царева воля! — клятвенно поднял руку постельничий.

Янина так взглянула на него, так, будто решилась на жертвенный подвиг.

— Царевой воле я не ослушница, — четко произнесла она и повернулась к иконе: — В коей вере пребывает царь-государь да ты, солнышко мое, Федор Михайлович, вместно и мне той вере веровать!

Ртищев закружился по опочивальне волчком — щупленький, кривоногий, смешной в своей ребяческой радости.

— Так я и ведал! Не зря все без утайки тебе рассказал.

Он внезапно остановился и приложил палец к губам.

— Погоди-ко! Постой!

— Сказывай, светел мой сокол.

Федор расставил ноги и до отказу выпятил узкую свою грудь.

— А ведомо нам, что ты родом из шляхты. Доподлинно ли?

— Доподлинно! — гордо запрокинув голову, подтвердила Янина.

— А коли так, вместно мне, малую пору перегодя, венцом венчатись с тобой!

* * *

Сам государь пожелал, чтобы его духовник, отец Вонифатьев, наставил Янину на путь истинной веры, и каждый день, ровно в полдень, протопоп приходил в усадьбу Ртищева с поущением.

Федор отдал строгий приказ челяди ни единым духом не заявлять о существовании своем во все время пребывания священника в хоромах.

— Великое ныне совершается таинство, — строго напоминал он холопям, — заблудшая в ересях душа невинная внемлет глаголам

Господа нашего Исуса Христа.

Холопы прятались в подклети, бабы и девки уходили с ребятами со двора, а сам господарь на низкорослом своем кавказском коньке скакал в Андреевский монастырь. В хоромах оставались только Янина, Вонифатьев и Тадеуш, дозоривший у крыльца.

ГЛАВА IX

Не раз Никита Романов и Ртищев докладывали царю об успехах школы при Андреевском монастыре и просили его посетить школу.

Шестого сентября, в день чуда Михаила архангела, Алексей, уступив просьбе советников, собрался в монастырь. Он долго совещался с Ордын-Нащокиным и Стрешневым, в какие одежды обрядиться ему, чтобы ублажить архангела и показать свое усердие перед ним.

В ожидании выхода государя, от покоевых палат до Спасских ворот выстроились, одетые по-праздничному, думные дворяне, дьяки и начальные служилые люди. На звоннице, не спуская глаз с крыльца, на котором должен был показаться царь, дозорили пономари.

Алексей в порфире, в становом кафтане, блещущем золотом, в тяжелой шапке, усыпанной алмазами, яхонтами, изумрудами и рубинами и в сафьяновых башмаках, расшитых жемчугом, опираясь на золоченый жезл, вышел наконец из покоев. Пономари ударили в колокола. Стая ворон, испуганных благовестом, оторвалась от звонницы и с резким карканьем закружилась над головами людей.

— Лихо накаркай татарину, а христианам со их государем — на радости, — торопливо перекрестил царя отец Вонифатьев и плюнул в сторону воронья.

Алексей, отдуваясь, попробовал сам спуститься с крыльца, но тяжелые одежды придавили его, и он не мог двинуться с места. Два стольника, заметив беспомощность царя, дружно подхватили его под руки и понесли на себе к карете.

На Красной площади свита разделилась по рядам: люди меньших чинов пошли впереди, а бояре, окольничие, думные и ближние зашагали рядом с каретой. Позади, в стороне от бояр, двигался отряд стряпчих, предводительствуемых постельничим. Стряпчие зорко следили за своим маленьким воеводой и бережно, как дражайшую святыню, несли носовой платок государя, стул с изголовьем, подножье и солношник.

У храма Василия Блаженного карета остановилась. По обе стороны Алексея, на нахлестках, примостились Стрешнев и Милославский. По знаку окольничего, стольник, управлявший лошадьми, перекрестился и тронулся в путь.

Сотня стрельцов, вооруженная батогами "для тесноты людской", рьяно бросилась очищать царю путь от ротозеев. Батожники не щадили никого и избивали всех, попадавших под руку.

* * *

Отслушав обедню, Алексей направился в трапезную и милостиво выслушал доклад настоятеля о трудах ученой братии на пользу просвещения российский людишек. Затем государь пожелал посетить особый двор монастыря, где жили любезные его сердцу богомольцы, странники и юродивые Христа ради.

— Надобно для нас отобрать верховых нищих, — сказал он Нащокину и, подхваченный под руки двумя монахами, поплыл через двор.

Епифаний угодливо заегозил подле Алексея:

— Ныне узришь ты, владыко премилостивый, святых обычаев человеков, а серед них гораздо угодного Господу Ваську Босого.

— Слыхивали мы про Босого, — мягко улыбнулся царь. — Имат же Господь на земле непорочные души.

Из ворот высунулась встрепанная, заросшая до глаз, голова юродивого.

— Кой шествует человек? — широко раздался хищный рот, утыканный двумя рядами крепких, как железо, зубов.

Епифаний юркнул к воротам и, благословив блаженного, осторожно шепнул ему что-то.

— Го-го-го-го! — рокочуще расхохотался Васька и оттолкнул от себя монаха. — У-гу-гу-гу!

Алексей, благоговейно сняв шапку, перекрестился. Юродивый тотчас же оборвал смех и с лязгом захлопнул свою черную пасть. Приплясывая и громыхая тяжелыми веригами, он подскочил к государю и рявкнул:

— Царю и брату нашему короб божьих гостинчиков!

Лицо государя зарделось счастливой улыбкой.

— Короб, не короб, а и за горсточку малую земно поклонюсь, — смиренно сложил он на груди руки. — Благослови!

— Благословляй благословляющих тя! — зарычал Васька и вдруг покатился кубарем по двору. — Быть тебе в радости, быть тебе в славе, — весело, уже тоненьким, как паутинка, голосом зазвенел он. — Быть тебе в здраве, царь наш и братец, Лексашенька!

Алексея охватывало какое-то странное чувство смятения, боязни, и в то же время настойчивого желания ближе сойтись с юродивым; не отпускать его от себя.

— Васенька, молитвенник наш, — ласково произнес он.

Юродивый привстал на колени.

— Глас херувимский кличет меня… То не царь ли мой, помазанник Божий?

— Я, Васенька, я, прозорливец.

Резво подскочив к царю, Васька поклонился ему. Его лицо, только что неистово дергавшееся, вытянулось, застыло и казалось лишенным всяких признаков жизни.

— Царствуешь, Алексаша? — глухим голосом спросил он.

— Царствую, Васенька.

— А с ляхами да шведами в мире?

— В мире, прозорливец.

Босой погрузил пятерню в дремучую свою бороду.

— А худой мир, молвь идет такая, лучше доброй ссоры, царь Алексаша.

Перекрестив государя, он опустился на четвереньки и, подвывая, пополз к воротам.

— Куда же ты? —заволновался Алексей и опустился на корточки перед Босым. — Уж не прогневался ли?

— Гневом не гневаюсь, а слухом слушаю, — буркнул в бороду юродивый. — А путь мне лежит через улицы широкие в покои кремлевские.

Он поднял голову и тупо поглядел в глаза государю. Стрешнев недовольно поморщился.

— Больно ты громок для покоев кремлевских!

— А ты помолчи! Пускай прозорливец сказывает, — прикрикнул Алексей на советника и нежно погладил могучую спину Босого.

— Не перст ли то Божий указует тебе путь в покои наши?

Васька припал губами к земле и звучно стал целовать ее.

— Земля божья, семь небес божьих, на седьмом небе стол Господень. Сидит на столе Господь-батюшка, вещает всем тварям волю свою, а и Васеньку не забывает, — произнес он и снова приложился к земле.

Алексей решительно встал.

— Коли, доподлинно, чуешь глас Божий, покажи милость, гряди с миром в Кремль.

Босой ничего не ответил и отвернулся, о чем-то задумался. С каждым мгновением мертвое лицо его дергалось все более и более, собиралось рябью бесчисленных лучиков, оживало в невинной, детской улыбке.

— Добро!… Поживем с тобой в Кремле, Алексаша! — обнял он ноги царя и прижался к ним взлохмаченной головой.

* * *

После трапезы Васька отправился побродить по Кремлю. Насупившись, осматривал он богато убранные покои, беспрестанно

крестился и молол всяческую чепуху.

У половины царевен его грубо остановили стрельцы.

— Эй ты, басурманин! Аль не ведаешь, что ни единому мужу не можно быть подле светлицы царевниной.

Босой ударил стрельца головой в грудь и завыл таким диким голосом, что переполошил все Постельничье крыльцо. Дозорные взялись за бердыши. Поняв опасность, юродивый заметался, испуская еще более неистовые вопли.

Алексей сам вышел к Босому и в сердцах прибил дозорных.

— Да будет ведомо каждому, что юродствующим Христа ради все пути-дороги открыты!

Васька, увидев царя, разошелся пуще. Он бился головой о стены, рвал на себе волосы, в кровь исцарапал лицо и изрыгал на Кремль такие проклятия, что отец Вонифатьев почел за благо немедля же отслужить молебствование и окропить все хоромы святою водою.

Государь, дрожа от страха, униженно склонился перед блаженным.

— Бога для, спаси наши души! Переложи гнев на милость, освободи от анафемы.

Босой бессильно опустился на пол и заплакал.

— Обидели меня юродивенького… Бродят серые волки, птенцам смерть готовят, — выдавил он сквозь всхлипывания.

— Бога для, разреши от анафемы, — как нищий, умолял царь.

Всхлипывания постепенно стихали, дыхание юродивого становилось ровнее и искривленное в обиде лицо смягчилось улыбкой.

— Нешто можно не миловать божье дите, Лексашу царя, — тряхнул он головой. — Не сему месту анафема, не сим человекам погибель. Подхвати словеса мои, Гамаюн-птица, унеси за тридевять земель, утопи в океан-море глубоком.

Счастливый царь облобызал прозорливца и, проводив его к царевнам, отправился к себе дописывать виршу об Андреевском монастыре.

Войдя в терем, Васька перекрестился на образ и, подсев к царевне Анне, сестре государевой, вдруг сморщился гадливо, зажал пальцами нос.

— Смердишь, царевна!

На круглом, миловидном лице девушки полыхнула краска стыда и оскорбления.

— Прочь отсель! — крикнула она, притопнув ногой.

Васька исподлобья поглядел на строптивую царевну.

— Ан не прогонишь, — нагло ухмыльнулся он и впился ледяным взором в ее глаза.

Царевна почувствовала, как в душу ее входит какой-то непонятный, странный страх — будто осталась она, невзначай, одна в темноте, рядом с покойником. Сутулясь и теряя власть над собой, она покорно уселась и уронила на грудь голову.

— Чему бы смердеть тут, прозорливец?

— Чему бы?… А сие? Не от диавола ли сие? Белилами ли со румяны угодишь отцу небесному?

Наперсница Анны, боярышня Марфа, молча наблюдавшая из угла за небывалою дерзостью прозорливца, не выдержала, возмущенно шагнула к нему:

— Хоть ты и юрод…

Она не договорила — Босой разинул пасть и глухо зарычал, привлекая к себе девушек.

— А ведомо ли вам, кому дерзите?

Где— то совсем близко, в светлице, раздался чей-то глухой, сдержанный говор и тотчас же перелетел к подволоке.

— Чуете?… То нечистые гомонят!

Таинственные голоса стихали, укутанные во мрак, таяли где-то в подполье… Босой выпустил девушек из страшных своих объятий и с неожиданной торопливостью ушел из светлицы.

Марфа закрыла за ним дверь на задвижку, и прижалась к царевне.

— Сохрани нас царица небесная, — прошептала она. — Сдается мне, не Духом Святым, а силой лукавого крепок блаженный.

ГЛАВА X

Утро выдалось неприветливое, брюзжащее и разбухшее, как текший в водянке больной. Низко нависшее небо беспрерывно сеяло промозглую, точно плесень на изъеденном веками надгробии, дождевую пыль.

Царь Алексей Михайлович сидел у окна и, поеживаясь, рассеянно перелистывал часослов. Несмотря на то, что он отлично спал всю ночь, его одолевала судорожная зевота. Не хотелось ни читать, ни приступать к опостылевшим делам государственности, ни предаваться забавам. Он отменил даже назначенную с вечера любимую свою соколиную охоту и прогнал домрачеев, услужливо приведенных Одоевским, чтобы потешить царя.

У двери, низко согнувшись, стояли безмолвные Стрешнев и Борис Иванович Морозов.

Алексей изредка раздирал смежавшиеся веки, недовольно оглядывал советников, но тотчас же снова сонно свешивал на грудь голову.

Лежавший под лавкой карлик мучительно напрягал весь свой изворотливый ум, тщетно придумывая, чем бы развеселить государя. Он пробовал было пройтись по терему на руках, но получил такой пинок под спину, что почел за благо больше ни единым движением не напоминать о своем существовании.

Туман за окном поредел, но улица была так же ворчлива, как на рассвете. Дождь усиливался и бился о стены и стекла так, что казалось, будто трясутся палаты.

— Эк, гомонит, — передернул плечами Алексей и с шумом захлопнул знакомую до отвращения книгу.

Борис Иванович шагнул предупредительно к царю и чуть приподнял голову.

— Чего гомонит, государь?

— Ты гомонишь! "Чего гомонит"! — передразнил Алексей боярина. — Дождь гомонит! Всю душу выело, а они стоят, как вша на кафтане, будто дела им нету! Дармоеды!

И, пошарив ногой под лавкой, изо всех сил наступил на карлика.

Скоморох почувствовал, как что-то хрустнуло в его груди, и понатужившись, попытался высвободиться из-под сапога.

Алексей заглянул под лавку.

— Аль царская ласка не в ласку тебе?

Задыхаясь от боли, карлик огромным напряжением воли выдавил на обвислом, как у бульдога, лице угодливую улыбочку.

— В потеху, Лексаша! В потеху, Михайлович!

И, высунув язык, залаял, подражая лисе.

— Опостылело! — оборвал его царь. — Ты бы лучше рыбкой поплавал.

Карлик терял сознание. Лицо его посинело и из носу брызнула кровь.

— Плавай! — выпустил наконец государь свою жертву и мигнул Стрешневу.

Советник юркнул в сени.

Приложив к бокам оттопыренные кисти сморщенных рук, карлик, точно плавниками, помахивал ими и на животе полз вдоль стен по терему.

— Стой! Никак червь! — захлопал в ладоши повеселевший царь.

Скоморох привстал на колени и на лету схватил ртом подброшенную вернувшимся Стрешневым перламутровую пуговицу.

— Покажи милость, откушай! — поклонился насмешливо Алексей.

Шут проглотил добычу.

— А не попотчуешь ли еще, Алексашенька? — кувыркнулся он в воздухе и припал губами к царевой ноге.

— Попотчую, гнидушка, — пошлепал его по спине Алексей. — К вечеру, поди, вернешь мне того червячка?

Морозов с омерзением сплюнул.

— Чать, колико раз басурманишко червя того глотал да после трапезы сызнов на свет выбрасывал! Тьфу!

Карлик, подбоченясь, строил уморительные рожи и трескуче смеялся, как будто замечание Морозова привело его в неподдельный восторг.

Непослушные слезинки повисли на реденьких ресницах его. Он стряхнул их двумя щелчками и еще пуще захохотал.

— Не можно! Слезою от смеха сейчас же изойду! — извивался он по полу. — Повели, Алексашенька, попримолкнуть мне!

— Будет! — забарабанил государь пальцами по стеклу и снова насупился. — Бубнит, что твой дождь по стене!

И, поддев ногой карлика, выбросил его в сени.

— Ты бы, преславный, кровь себе отворил, — посоветовал робко Морозов. — Авось, дух полегшает. Царь отрицательно покачал головой.

— Боязно одному.

— А ты бы лекарю наказал всему Кремлю кровь отворить.

Стрешнев замахал руками на Бориса Ивановича.

— Еще бы государю великому всех смердов загнать для той пригоды! Надобно достойного обрести.

И поклонился царю:

— Взял бы с собою Бориса к лекарю.

Пораздумав немного, Алексей встал.

— Волю я не с Борисом, а с тобой кровь отворять, Родивон!

Стрешнев болезненно ухватился за поясницу.

— Рад бы честь такую приять, да токмо вечор отворял.

— Перечить? — перекосил лицо Алексей. — Своему государю?! — он не дал опомниться советнику и ударил его по лицу.

— Да мы тебя — в батоги! В земли студеные!

Морозов незаметно отступил и юркнул в полуоткрытую дверь.

— Иди! — пхнул он ногой прилепившегося к порогу карлика.

Еле живой шут встал и, собрав все силы, прыгнул на спину Стрешнева.

— А вот из Родивоновой головушки волосики тебе, Алексашенька! Эвон, сребряные какие!

— Не вели! — взмолился Стрешнев. — Краше на дыбу идти, нежели сором терпети от скомороха!

Алексей вцепился одной рукой в бороду Родиона, а другой оттолкнул его от себя.

Стрешнев вскрикнул и упал, больно стукнувшись головой о стену, и придавил всей своей тяжестью карлика.

— И бороденка-то — что туман на болоте, — сплюнул царь и, отбросив от себя клок вырванной бороды советника, гадливо вытер руки о полу кафтана. — Не мог добрых волосьев отрастить государя для! Вша! Един тебе глагол — вша! Тьфу, окаянный!

Отворив себе кровь, Алексей, чтобы как-нибудь развлечься, собрался по совету Ордина-Нащокина в подмосковное село Коломенское.

Во всю дорогу царь дулся, придирался к каждому пустяку и то и дело зло тыкал посохом в спину возницы.

— Все-то вы норовите государя прогневить! Все-то вы басурманы!

Стрельцы и ратники, прибывшие заранее в Коломенское, подготовляли потеху для государя.

На берегу Москва-реки дворцовые рубленники сколачивали помост. Бабы просеивали желтый, как зимнее солнце, песок. Ребятишки, надрываясь от тяжести, тащили кули с песком и под присмотром стрелецкого десятника посыпали дорогу. Сенные девушки устлали лестницу, ведущую на помост, медвежьими и волчьими шкурами, а балясы обмотали объярью, подбитой куницей и соболем.

У околицы, в ожидании царя, выстроились думные дворяне, служилые люди, дьяки и подьячие.

Узнав, какая потеха готовится для царя, крестьяне побросали работу и убежали в лес. Но искушенные дозорные подстерегли их

недалеко за опушкой и отрезали путь. Начался горячий торг. Меньше, чем за три алтына, стрельцы не отпускали пойманных. Крестьяне ползали на коленях, клялись, что таких денег у них никогда не бывало, но стража была неумолима.

Откупившиеся стремглав убежали в непроходимые дебри, а остальных погнали к реке.

Прибыв в потешное село, Алексей прежде всего отслужил молебен и потом уже приказал начинать потеху.

— Достатно ли сиротин для потехи? — деловито поворачивался он то и дело к советникам. — Сдается мне, допреж боле их было.

Грузно переваливаясь и сопя, двигался государь по желтой тропинке к помосту.

Ближние наперебой старались успокоить его и уверяли, что в избах не осталось ни одного мужчины.

Опершись на плечи Ордын-Нащокина и Морозова, Алексей с большими усилиями зашагал по гнувшейся под тяжестью его тела деснице. Позади, стараясь держаться как можно тише и незаметнее, дородный стряпчий благоговейно нес над головой государя унизанный яхонтами и алмазами шелковый солношник.

По реке сновали челны. В них сидели стрельцы с нагайками и батогами наготове.

— Нырять, должно, будем, — перешептывались крестьяне, со страхом поглядывая на мутные волны реки и зябко натягивали на уши епанчишки. Сеял мелкий осенний дождь. С полуночной стороны дул резкий пронизывающий ветер.

Точно почуяв добычу, черными вереницами слеталось на Прибрежные ивы и осокорь воронье.

Подняв ворот собольей шубы, царь уселся в резное, с золотыми узорами, кресло и устремил хозяйский взгляд в безнадежное небо.

"Снежку послал бы Господь, озимя от стужи сокрыть", — подумал со вздохом он и легким кивком поманил к себе стрелецкого полуголову.

Служилый, переступая через три ступени, почти скатился с помоста, во весь дух помчался к крестьянам и привел одного из них к царю.

Колотясь лбом о настил, полз крестьянин на брюхе к Алексею.

Государь милостиво разрешил ему встать.

— Крестьянствуем, сиротина?

— Крестьянствуем, царь-государь.

— Добро, — похвалил Алексей.

Выжав в кулаке мокрую бороду, крестьянин перекрестился.

— Доподлинно так… Робим… Что Бог оставил, о том гораздо радеем.

Царь собрал морщинками лоб.

— А много ли было допреж?

Мужик жалко улыбнулся и развел руками.

— Про много и в думках не было, царь наш премилостивый! Чать, ведомо тебе, землицы у нас — двум курченкам не разминуться.

Ордын— Нащокин незаметно наступил на ногу крестьянину и выразительно поглядел на него.

Чувствуя, что наговорил лишнего, мужик упал на колени и приложился губами к перепачканному в грязь носку государева сапога.

— Всем довольны… Спаси тебя Бог… А что печаловался на скудость земельную — не внемли. На то и смерды мы, чтоб печаловаться.

Алексей благодушно улыбнулся и снова воззрился на небо.

— Снежку бы… Зеленя от стужи сокрыть. Ты как полагаешь?

— Снежку бы, воистину — зеленя… Это точно…— усердно закивал крестьянин. — Снежку бы от стужи…

Царю очень хотелось сказать что-либо приятное своему покорному подданному, и, подумав, он с глубокой нежностью приложил руку к груди.

— Бог не без милости. Будет снег, сиротина. Дай токмо северам разгуляться.

И преисполненный великодушия, царь чуть приподнялся.

— Быть по сему. Покажу тебе милость, — с тебя потеху начну.

Крестьянин, не ожидавший такого исхода беседы, в ужасе отполз к лестнице.

— Помилуй, царь! Не одюжу я, утопну! Старуху да малых деток помилуй!

Думный дворянин схватил его за ногу и сбросил наземь.

— Э-гей! — науськал Стрешнев стрельцов. — Лови его!

Два стрельца подхватили крестьянина и, добежав до реки, швырнули его в воду.

Царь любопытно перегнулся через балясы.

— Ныряй, сиротина! — крикнул он, капризно топнув ногой. — Ныряй!

В то же мгновенье на толпу со свистом и гиканьем помчался конный отряд.

— Эй, вы, потешные! Распотешьте царя-государя!

Спасаясь от наступающей конницы, крестьяне бросились в реку.

— Ныряй! — кричал развеселившийся царь и, чтобы удобнее было распоряжаться, высвободил руку из-под рукава тяжелой шубы.

Река забурлила, взволновалась свистом бичей, всплесками, бульканьем и отчаянным криком цепенеющих от стужи людей. Там и здесь, точно летучие змеи, с зловещим шипением резали воздух капканы, бросаемые с челноков. Крестьяне, спасаясь от капканов, прятались друг за друга, смятенно барахтались в студеной воде и беспрерывно ныряли на радость царю.

Брошенный первым в воду мужик, выбиваясь из сил, поплыл к берегу. Вдруг он почувствовал, как шею его сдавила петля.

— В челнок его, борова! — надрывались Алексей и бояре.

Стрелец потянул к себе капкан и, вцепившись в полузадушенного, втащил его в ладью. Отплыв на середину реки, он дождался, пока

подоспели другие челны и по команде столкнул крестьянина снова в воду.

— Ныряй, преставленный! Ништо тебе, не господарь, не околеешь!

Весело всплеснулась вода, закружилась воронками. Одна за другой показывались головы из мутных вод и тотчас же скрывались под ударами батогов и змеиным шипеньем капканов.

Алексей вдруг встревожился. Время шло, а его знакомец не показывался из воды.

— Неужто нам на кручины утоп? — всплеснул он руками и, сорвав шапку, перекрестился.

Но крестьянин выплыл и отчаянно загреб к берегу

— Вот-то потешный! Вот-то угодничек нам! — вздохнул полной грудью царь и, приложив к губам ребром руки, громко, по слогам, объявил: — Жалую тебя не единым, а двумя корцами — тройного боярского.

До берега оставалось несколько взмахов. Близость спасения придала мужику бодрость и силу. Еще шаг — и под ногами будет земля. Он понатужился и стрелой выбросился на берег.

— Держи, удалец! — крикнул кто-то издалека и метнул капкан. Крестьянин попытался броситься наутек, но стрелец потянул к себе конец веревки и увлек пойманного в реку.

Алексей застыл в ожидании.

— Выплывет? — спросил он у ближних советников.

— Выплывет! — уверенно ответили советники. — Чать, не впервой ему тебя потехою тешить!

Стрелец, смущенный долгим пребыванием под водой пловца, дернул капкан. "Что за притча? — подумал он. — Никак что держит потешного?" Из сбившейся далеко за церковью толпы баб и ребят с диким криком бросилась к берегу какая-то женщина.

— Выплыви! Кормилец наш, выплыви! — упала она ниц и заколотилась головой о землю.

Но "потешный" не показывался из воды. Взволнованный Алексей

спустился с помоста.

— Сдобыть! — прошипел он, обдавая стрелецкого полуголову жестким взглядом. — Тотчас живым сдобыть!

Жуткие вопли женщины подействовали на барахтавшихся в воде крестьян, как искра, попавшая в порох.

— Спасите! — взвилось в воздухе отчаянным стоном. — Добрые люди! Спасите!

Царь, задыхаясь, охваченный ужасом, затопал к берегу.

— Что сие? — неожиданно, на полном ходу остановился он и суеверно перекрестился.

Где— то подле него, точно из-под земли, раздавался слабый, полузадушенный писк.

— Не инако, душенька потешного за мной увязалась, — повалился бессильно государь на руки Ордына. — Не инако, душенька его плачет!

Припав ухом к земле, бояре прислушивались к писку, стараясь определить, откуда исходит он.

— Да то кутенок!

Алексей встрепенулся.

— Доподлинно ль?

— Доподлинно, государь, — показал Стрешнев на барахтавшегося в луже слепого щенка.

Позабыв об утопленнике, государь склонился над щенком и горько покачал головой.

— Скот, а тоже плачет, смерти страшась неизбежной.

Вой на реке рос, передавался от сердца к сердцу и топил в себе небо и землю.

Царь передернул недовольно плечами.

— Будет! Отставить потеху!

И, присев на корточки, достал из лужи щенка.

— Животина, а тоже смерти страшится.

Он любовно сунул вздрагивающий мокрый комочек под шубу и

зажмурился.

— Блажен, иже и скоты милует!

— Истина, истина, царь, — с умилением поддакнул Морозов. — Доподлинно, херувимскую душу имеешь ты, царь-государь!

На берег, промокшие до костей, точно во хмелю, выходили из реки люди. Стрелецкие десятники выстроили их долгою чередою в затылок друг другу и увели к веже, поставленной подле церкви, потчевать вином и просяными лепешками.

Под зябнувшей ивой, на рогоже, лежал вытащенный из воды утопленник. Лицо его перекосилось в синюю маску, а стеклянные, вытаращенные глаза, казалось, ищут упрямо кого-то в бездушном слезливом небе.

Уткнувшись лицом в грудь покойника, точно во сне, что-то пришептывала притихшая женщина.

Над трупом кружилась воронья стая; спускаясь все ниже и ниже, она готовилась к пиру.

Царь сидел в трапезной у печки и заботливо тыкал мордочкой кутенка в блюдце с подогретым молоком:

— Тяв, тяв, серенький мой! Лакай, синеоченькой!

И, полураскрыв рот, дул заботливо на вздрагивающую спинку, чтобы согреть кутенка своим царским дыханием.

— Тяв, тяв, серенький мой!

Ближние стояли за спиной царя и восхищенно переглядывались.

— Кроток, яко Давид! — захлебнулся от счастья Морозов.

— Мудр же, яко царь Соломон! — воздел руки горе Ордын-Нащокин.

А Стрешнев, не выдержав, пал перед царем на колени.

— Дозволь стопы твои херувимские облобызать, царь-государь!

За темным окном плакал ветер. Ему вторили слепцы-lомрачеи, поместившиеся в соседнем с трапезной тереме.

ГЛАВА XI

Вонифатьев благословил Янину и возложил на голову ее обе руки:

— Воистину, благодать Господа нашего Исуса Христа и любы Бога Отца на тебе, чадо любезное.

Полонянка скромно потупилась, с детской доверчивостью прильнула к груди протопопа.

— Было мне, молитвенник мой, видение…

Она слегка отодвинулась и простодушно заглянула в сузившиеся глаза духовника.

— В полночь посетила меня дева Мария и повелела идти в Кремль. Так и рекла: "Изыди, сиротина, от Ртищева и служи при дворе государевом".

Священник недоверчиво улыбнулся:

— Нешто может матерь Божия посетить басурманку? Перекресткой сподобишься стать, а в те поры, дополинно, будут и видения тебе чудесные.

Янина надула губы.

— Истину сказываю. Николи кривдой не жительствовала.

Рука Вонифатьева снова легла на курчавую голову женщины.

— Ты не гневайся… Ты лучше пообмысли, каково без тебя Федору будет.

Янина гадливо поморщилась и закрыла руками лицо.

— Аль опостылел тебе постельничий?

— Не опостылел, а вон из сердца ушёл. Как будто и не был в нем николи.

Она помолчала и бросилась вдруг в ноги духовнику

— Отворожи!… Извелась я, отец!

Растерявшийся протопоп поднял женщину, уложил ее на лавку.

— Да ты никак кликуша!

— Давит, отец! Распусти ворот мне, — сквозь щелкающие зубы попросила Янина и закрыла глаза. — А и кликушею буду, не миновать… До всего доведет!

— Не думал я, что так тебя Федор забидел, — покачал головой духовник.

— Распусти ворот, — слабо повторила Янина.

Он протянул руку, тотчас же отдернул ее.

— Не можно мне. Грех перед Господом.

Нерешительно поднявшись, он двинулся к двери.

— Ты уж кликни кого из людишек, а я пойду.

Янина сама рванула на себе кофточку.

— То не Божье дело, отец, недугующих покидать.

"А и впрямь недужится женке" — подумалось протопопу. Обратись взором к иконам, он нащупал грудь Янины и, крадучись, провел по ней пальцами.

Женщина притихла и почти не дышала.

— Не введи мя во искушение и избави мя от лукавого. Господи… Господи! — точно в забытьи шептал духовник.

Янина не двигалась. Вонифатьев испуганно воскликнул:

— Уж не отходишь ли, чадушко?

Она вздрогнула.

— Свободи, отец, от напасти… Свободи от постельничего. Не можно мне больше.

Она сбросила на пол покрывало.

Не помня себя, протопоп вскочил с дивана.

— Ведьма… Спасите, ведьма!

И бросился к запертой двери.

Янина робко поднялась, сделала шаг к порогу и, как бы обессилев, пошатнулась, рухнула на пол.

Вонифатьев оторопело склонился над нею.

Его снова обдал острый и пряный аромат иноземных благовоний…

Едва ушел протопоп, как на дворе послышался стук копыт и погромыхивающей колымаги. Янина осторожно подобралась к окну. Из колымаги выходили Ртищев и Васька Босой.

Наскоро поправив волосы, Янина мазнула белилами лицо и

распростерлась перед киотом.

С шумом распахнув дверь, Федор низко поклонился, пропуская вперед гостя.

— Усердствует, — шепнул он, — всем сердцем непорочным усердствует перед Господом.

Сбросив с плеч шубу, Васька перекрестился и одной рукой легко поднял полонянку.

— А ты не вели ей. Переусердствует — простынет скоро!

Он зычно расхохотался и высоко к самой подволоке подкинул женщину.

Постельничий в испуге расставил руки, чтобы поймать Янину, но она уже повисла на шее блаженного.

— Недобрый ты, прозорливец. Поди, третий день у нас не бывал. Аль брезгуешь? — защебетала она и, спрыгнув на пол, поцеловала руку Ртищева: — Умаялся, поди, господарь?

— Дите! — ухмыльнулся Федор. — И повадка-то вся дитячья.

Он посмотрел на нее с неожиданной серьезностью.

— Уж не упамятовала ли ты про вечерю, усердствуя перед Господом?

Тадеуш, дозоривший в сенях, услышав зов господаря, почтительно просунул голову в дверь.

— Гладом женку изводишь? — крикнул ему Федор. — Покормить время не стало?

Устроившись с ногами на широкой лавке, Босой благодушно следил за Ртищевым.

— А ты бы не допускал басурмана кушаньев касаться перстами для обращаемой, — сказал он, — сам бы заботою позаботился.

— И то… Вот не догадался!

Федор выбежал вслед за Тадеушем. Закрыв за господарем дверь, Янина присела к Босому.

— Утресь будет Вешняк, — прорычал юродивый.

Янина прижала палец к губам.

— Какой глас у тебя зычный. Не сказываешь, а громом громыхаешь, — недовольно поморщилась она и шепнула: — Пятьсот злотых сулят тебе от польского короля, ежели того Вешняка ни с чем из Москвы отпустят.

— Пятьсот?… Тыщу и две горсти жемчуга!

Янина негодующе отодвинулась от него.

— Больно жаден ты, Васька! Тебе не в прозорливцах ходить, а в приказных. Аль позабыл, как десяток годов тому назад за алтын руки лобызал шляхтичам?

— А за молвь за сию твою дерзкую прикидываю я еще двести злотых, — ехидно ухмыльнулся Босой и обнял женщину. — Потарарую-ко еще, дите непорочное, — еще прикину.

Полонянка подумала было вступить в торг, но по холодному лицу Васьки поняла, что он не уступит, и, скрепя сердце, согласилась.

— Подавись ты, прожора!… А еще блаженный, прости, матерь Божия.

Из сеней послышались шаги постельничего.

— Покажите милость, пожалуйте хлеба-соли откушать, — пригласил он гостя и Янину, остановившись в дверях.

* * *

Царь молился перед отходом ко сну, когда в опочивальню к нему вошел Босой.

— Сень по полу воровским чином блазнится, ею Алексаша-царь застится, — сердито буркнул юродивый.

Алексей наспех закончил молитву и подошел под благословение Васьки.

— Сень, сказываю, застить тебя норовит! — глухо повторил Босой и, обмахнув государя мелким крестом, присел на постель. — Садись и ты, Алексаша, во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Царь примостился на краю постели, зажал в кулаке каштановую бороду.

— К чему про сень помянул?

— А к тому, Алексаша, что ныне сень не в сень, а в помеху. В помеху тебе едина сень — Ордын-Нащокин, а другая — Одоевский!

Страх, вызванный у Алексея таинственными словами блаженного, сразу растаял.

— Верую в своих советников так, как верую, что помазал меня на царство Господь.

Васька наклонился к цареву уху.

— Крымцы унимаются?

— Куда там!… Где им уняться.

— А возьмешь ты под руку свою Богдана Хмельницкого, еще пущего врага наживешь — ляхов богопротивных.

Щедро пересыпая свою речь непонятными выкрикиваниями, он долго говорил о тяжелых бедствиях, которые падут на страну, если Москва присоединит к себе Украину.

— Погибнешь ты и весь род твой погибнет, — с болезненным стоном закончил Босой. — Горе мне!… Зрю царя своего в полону и позоре.

Алексей, зараженный мрачными предчувствиями, не знал, на что решиться.

— Уразумел ли, царь, реченное мною?

— Уразумел, Васенька… Токмо в толк не возьму, как быть ныне нам с Вешняком?

— А, отслужив молебствование, одари его дарами и отпусти с миром к Хмельницкому.

Царь растерянно поглядел на прозорливца.

— Договорились мы намедни обо всем с советниками и ведомо тому Вешняку, что утресь объявим мы себя всенародно царем Малые Руси.

Босой встал и перекрестился на образ.

— Я совершил все, чему научил ты меня, отец небесный!

Сняв шелковый подрясник, подарок царевны Анны, он с силой разодрал на себе рубаху.

— Горе нам!… Черен Кремль сиротствующий, кипят огни, объявшие землю Русинскую! Сподоби, Господи, раба твоего Василия уйти в леса дремучие, не зрети погибели царские.

Он неожиданно отпрянул к двери, закрыл руками лицо.

— Секут… В железа обряжают великого государя!

И закружился бешено по опочивальне, звеня веригами, царапая в кровь лицо и сшибая все, что попадалось под ноги.

Царь забился в угол, с суеверным ужасом следил за дикой пляской "прозорливца".

Плюнув на все четыре стороны, Васька упал на пол и, крадучись, пополз в сени. Вскоре под окном опочивальни раздался его протяжный, точно предостерегающий, вой.

Алексей припал к стеклу, вгляделся во мрак.

На дворе, не шевелясь, стоял юродивый. Голова его была высоко запрокинута, а воздетые кверху руки как будто грозились в пространство. Вой то усиливался до рева, то спадал до молитвенных вздохов, то переходил в рокочущий хохот безумного.

— Господи, спаси и помилуй! — стучался царь лбом о стекло.

Он молитвенно звал к себе юродивого, но Васька не слышал или не хотел слышать, и продолжал юродствовать.

* * *

Утром следующего дня к Ртищеву пришел Вонифатьев.

— Великая милость двору твоему, — объявил он, стараясь не глядеть на хозяина. — Великая милость от государя.

Янина вздрогнула, услышав эти слова, но тотчас же скромно потупилась. Сгорающий от любопытства Федор вытянулся на носках, нетерпеливо воскликнул:

— Сказывай, не томи!

Протопоп откашлялся и быстрым ревнивым взглядом окинул полонянку.

— Радуйтесь и веселитесь! Преславная бо царевна, Анна Михайловна, показала милость тебе и изъявила волю быть матерью

твоей восприемной.

Ртищев радостно взвизгнул и, обняв полонянку, закружился с нею по терему.

Протопоп позеленел. В глазах его загорелась лютая ненависть к Федору

— Что это ты с лика будто спал? — заботливо спросил постельничий. — Не занедужил ли, избави Господи?

— Зубами маюсь, — угрюмо ответил Вонифатьев.

В трапезной протопоп и постельничий принялись наставлять Янину, как держаться перед царевной.

— Как я, убогая, предстану перед светлые очи ее? — вздохнула полонянка.

— Ты все молчи, — поучал протопоп, — царевна тебе глагол, а ты ей — поклон.

— Да с челомканьем в руку, — подхватывал Федор. — Так все и челомкай. Гораздо полюбишься!… Уж нам с протопопом добро ведомы повадки царевнины.

Потрапезовав, Янина уселась за часослов. Федор же, против обыкновения, развалился на лавке и объявил, что остается дома.

Вонифатьев подозрительно оглядел полонянку. "Уж не она ли тому пригодой?" — подумал он и, чтобы не выдать себя, со стоном схватился за щеку.

— Так и точит, проклятое, всю душеньку выело!

Он присел подле Ртищева и закачался из стороны в сторону.

— Не обессудь, Федор Михайлович, невмоготу мне нынче женку твою поущать христианской любви.

Постельничий сочувственно вздохнул и поднялся, чтобы проводить гостя. Духовник обмотал лицо кумачовым платком, не удостоив женщину взглядом, понуро пошел к дверям7

— А день-то нынче, день-то каков! — покачал он головой, останавливаясь у порога.

Янина оторвалась от книги, но тут же с еще большим усердием

углубилась в чтение.

— Велик нынче день, — продолжал Вонифатьев вполголоса, — ибо, по вразумлению свыше, не принял государь под высокую руку свою запорожцев.

Пораженный постельничий всплеснул руками.

— То не так! Не можно тому поверить, вечор иное нам сказывал царь.

Позабыв о зубах, духовник ехидно расхохотался.

— То было вечор, а утресь, кто не тешился с женками да к государю на сидение поспел, доподлинно цареву волю услышал… А обернулось так по мудрому глаголу Босого. Вняв прозорливцу, наказал царь обсказать Вешняку, что примет он гетмана с запорожцами под свою высокую руку в те поры, егда королевское величество ею, гетмана, и все запорожское войско учинит свободным без нарушения вечного мира с нами.

Выпроводив гостя, Федор сердито зашагал по терему.

— Эка надумали… Вешняка ни с чем из Москвы отпустить! При убогости-то при нашей, — злобно скрежетал он зубами, с каждым словом распаляясь все более и более.

Янина закрыла книгу, приложилась губами к краю сафьянового переплета.

— Об чем ты, владыко мой?

— Все о том, о гетмане с войском, — вздохнул Федор и, усевшись рядом с женщиной, принялся выкладывать ей, сколько выгод теряет Москва, отказываясь от Украины.

За окном послышался топот копыт.

— Будто кто на двор прискакал? — испуганно спросила Янина.

По сеням, к терему, бежал запыхавшийся Тадеуш.

— Дьяк Гавренев пожаловал! — крикнул он и тотчас же вновь ринулся на крыльцо.

Сдавив руками грудь, ни жива, ни мертва, стояла Янина. "За мной!" — с мучительной болью думала она. — Пропала! Все

проведали языки". Федор, не спеша, вышел в соседний терем и чванно уселся в низенькое кресло.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — раздельно произнес за дверью Гавренев.

— Аминь! — ответил Ртищев и выпятил грудь.

Дьяк шагнул через порог, почтительно поклонился хозяину.

— Спаси Бог хозяина доброго!

— Дай Бог здравия гостю желанному, — ответил постельничий, указывая рукою на лавку. — Коли по суседству, рады мы, а по службе — и тому не супротивны.

Гавренев сладенько улыбнулся.

— Оно по службе и по милости, Федор Михайлович. Женка тут у тебя…

Прильнувшая ухом к двери Янина бессильно схватилась за косяк. "Конец, погибла головушка! — ледяным ознобом пробежало по спине. — Всему конец!"

Помолчав немного и потешившись волнением постельничего, дьяк многозначительно подмигнул ему.

— А женка-то твоя полонная в гору все забирается. Сама царевна Анна Михайловна показала ей милость да повелела перед светлые очи свои представить!

ГЛАВА XII

Был канун Рождества. В пятом часу утра царь отслужил утреню и собрался к выходу.

— Пригож? — ухмыльнулся он, обрядившись в широчайшую волчью шубу и надвинув на глаза высокую кунью шапку.

Протопоп любовно оглядел Алексея…

— Как есть, торговый гость. Ни один человек не признает.

Он умильно прищурился и оскалил изъеденные тычки зубов.

— Только повадку высокую твою не утаить тебе, государь. Так и озаряет лик твой сиянием.

Усевшись в небогатые сани, царь выехал из Кремля. За ним, переряженные простолюдинами, потянулись на возах и пешком подьячие и языки.

Чем больше удалялся Алексей от Кремля, тем люднее и оживленнее становились дороги. Нищие, слепые, калеки и странники, подстерегавшие шествие еще с ночи, бежали за санями и наперебой славословили "неизвестного".

Государь щедро разбрасывал пригоршни меди, то и дело крестясь на встречавшиеся церкви.

Из— за низеньких изб, занесенных сугробами, один за другим выползали людишки. Они с опаской поглядывали на переряженного царя и сновавших по обочинам улиц подьячих, но все же спешили влиться в толпу.

Нищие с воем набрасывались друг на друга, готовые вступить в смертельную драку из-за каждого затерянного в снегу медяка.

— Скоты, токмо бы и грызться им, псам, — брезгливо морщился Алексей, но тут же, вспомнив, что творит благо во имя Христа, с новым усердием разбрасывал милостыню.

Мешок с медяками пустел, а толпа не убывала. Царь взволновался.

— А не достанет казны, — шепнул он Одоевскому, сидевшему в худой епанчишке на месте возницы.

Одоевский подал глазами знак трусившему невдалеке на крестьянской кляче окольничему. Точно случайно, из-за переулка показался воз с сеном и отделил царские сани от нищих.

Едва государь отъехал немного, в топу врезался отряд батожников.

— Эй, вы! — крикнул стрелецкий полуголова. — Долго ли будете дороги паскудить?

Воздух резнул свист батогов. Людишки рассыпались в разные стороны.

Алексей деловито огляделся.

— Никак угомонились убогие?

— Надо бы не угомониться, коли награждены они по-царски твоей рукой неоскудевающей, — тряхнул головой возница и хлестнул коня.

На повороте показалась высоко огороженная усадьба. У железных ворот ее, друг против друга, стояли двое дозорных стрельцов.

Государь печально поник головой.

— Господи, сколь тягостно нам зрети тюремный двор!

Дьяки, окружившие сани, сорвали с голов шапки и опустились на колени в снег.

— Я был голоден, и вы накормили меня, я был в темнице, и вы посетили меня, — проникновенно изрек тюремный поп и перекрестился. — Не про тебя ли, государя, сие речено есть в Евангелии? То ты печальник страждущих и алчущих.

Необычайное оживление и суета дошли до слуха узников.

— Не иначе, сочевник!… Должно, царь пожаловал, — радостно встрепенулись они.

В зловонной яме, на охапке прелой, изъеденной сыростью и мышами соломы, прислушиваясь к шуму, сидел Корепин.

Его сосед, недавно брошенный в подземелье, подполз к порогу и насторожился.

— Доподлинно, Савинка, царь.

Корепин презрительно сплюнул.

— Ведомы нам его милости… Посидишь, Афоня, с мое — навычешься тонкостям ихним. Я за пять годов три краты на воле был.

Афонька подвинулся к товарищу и завистливо поглядел на него.

— Три краты, сказываешь, на воле бывал?

— На воле! — с горьким вздохом повторил Корепин. — Токмо и славы, что на воле… А на деле — тьфу! — и вся воля твоя. Аль стрельцов на Москве недостатно, чтоб изловить тебя допреж того, как ты вольного духу хлебнешь? И не мигнешь, как сызнов в яму пожалуешь.

Он участливо обнял Афоньку и замолчал. Несмотря на то, что ему были хорошо знакомы "царские милости", он невольно начал поддаваться настроению товарища и к нему незаметно возвращалась давно уже покинувшая его надежда на освобождение.

К яме приближались чьи-то шаги. Сдавленные подземельем голоса становились все отчетливее.

— Идут! — воскликнул Афонька и схватился за грудь.

Подобрав под себя ноги, Савинка плотно закрыл глаза и не отвечал. Ему хотелось забыться, ни о чем не думать, но раз пробужденные думы не покидали его. Вспомнилось: кто-то вошел к нему, наклонился над самым лицом: "Иди, сиротина". Яркий сноп факела ослепил его. Но ярче и горячее огня загорелось вдруг от простых этих слов сердце. Он вышел, покачиваясь, на двор. Морозный воздух таким хмелем ударил в голову, что он повалился без чувств в сугроб. "Иди!" — крикнул чей-то голос и, пробудившись от теплой блаженной дремоты, он побежал… Был лютый рождественский сочельник. Улицы клубились в морозном тумане. Умявшийся снег хрустел под ногами так, точно земля была усыпана белыми вкусными сухарями. Он не чувствовал ни стужи, ни голода, ничего, кроме дикой, всепокорящей радости освобождения. "Воля!" — свистел могучим разбойничьим посвистом полуночный ветер. "Воля!" — звонко и неумолчно хрустело под ногами. Улицы, избы, земля и холодное небо кружились, смеялись, пели. Захватывало дух от быстрого бега, билось сердце, но нельзя было остановиться, сдержаться… И вдруг закружилась земля, какая-то страшная сила на полном ходу метнулась под ноги, и все исчезло… И потом — может быть, в тот же час, а может быть (кто знает счет времени, кто разберет сроки в одиноком человеческом сердце?), может быть, через долгие годы — кто-то подошел вплотную, положил руку на плечо. Он сонно приоткрыл глаза. "Свет!" — кольнуло в мозгу и сразу вернуло к жизни. "Воля!"— крикнул он истошным голосом и вдруг, в первый раз за всю свою

жизнь, заплакал. Чужая рука крепче сдавила его плечо. Из-за угла спешили какие-то люди. Он собрался с силами, подавил в себе слезы. А чужой человек наклонился над ним, дохнул винным перегаром в лицо. "Так, сказываешь, воля, молодчик?" — он мигнул стрельцам: "Вяжите! Всех государем волей пожалованных давно изловили, токмо тут упрели, тебя догоняючи!…"

Афонька, затаив дыхание, вслушивался. Голоса то приближались, то снова слабели и таяли. И вдруг, когда узник уже отчаялся, дверь отворилась.

Савинка не пошевелился. Стрелец ударил его батогом по спине.

— Ниц! Царь-государь жалует!

Оба узника распластались перед Алексеем. Тот, задыхаясь от невыносимого смрада, оттопырил губы.

— Чьи будете?

— Афонька я, — всхлипнул Афонька и умоляюще приподнял голову.

— А ты?

Савинка медленно, по слогам, назвал себя. Царь задыхался. Одутловатое лицо его посинело, двойной затылок, свисавший складками, побагровел.

— На двор их! — кивнул он стрельцам и, грузно опираясь на посох, заторопился вон.

С удовольствием подставив лицо ветру, царь жадно глотал студеный воздух. Ему принесли обитую объярью лавку и, бережно взяв под локти, помогли сесть.

— Так, сказываешь, Афонька? — степенно разглаживая бороду, спросил царь.

— Воистину так… Господи! Почто мне милость такая, что сам государь медовыми устами своими недостойное имя мое речет?

Алексей, поддаваясь льстивым словам, повернулся к стрелецкому голове.

— А, сдается нам, не погибла еще душа в сем холопе.

Он милостиво подставил Афоньке свой сапог для поцелуя.

— Каков грех привел тебя на тюремный двор, сирота?

— Сестру мою за долги подьячий к себе отписал. А долгу за собой я не ведаю, — слезливо заговорил Афонька. — Разорили меня те подьячие… Не можно мне было терпети, зреючи, как тягло они не толико в казну волокут, колико в свою хоронят мошну. А и в сердцах ночкою темною я маненько помял бока тому подьячему.

Алексей с недоумением поглядел на узника.

— Ты, что же это, на государственность, выходит, печалуешься? Тяглом, сказываешь, дьяки придавили?

Афонька понял, что наговорил лишнего и, чтобы выпутаться, возмущенно тряхнул головой.

— Я? Да язык мой богомерзкий отсохни! Ни в жисть!… Не на государственность, а на того подьячего, что сестру мою загубил. На него, окаянного.

Царь топнул ногой.

— Мой-то холоп окаянный? Смутьян!

Стрелецкий голова схватил Афоньку за волосы.

— Не пожалуешь ли, государь, убрать его?

— Убрать! — крикнул Алексей. — Да в железа обрядить от сего дни до светлого дни воскресения Христова.

Афоньку поволокли в подземелье. Царь перевел свой взгляд на изнуренное лицо Корепина.

— А, сдается, видывал я тебя и о прошлом годе. Давно на тюремном дворе?

— Не ведаю, государь. Потерял я счет Господним дням.

— Три года, преславный, без малого — сообщил дьяк, поклонившись низко царю.

— Три года! — поднял глаза к небу Алексей. — Эко страждут, Боже мой, людишки твои!

Он поплотнее укутался в шубу.

— Каешься?

Савинка привстал на колени и прижал руку к груди.

— Каюсь и на едином челом тебе бью: повели меня казнью казнить!… Не можно мне больше терпеть.

Алексей снял шапку и перекрестился.

— А не гоже, сиротина, смерть кликать.

Неожиданно поднявшись, он объявил великодушно:

— Жалуем мы тебя не смертью, а волею!

И, склонив голову к дьяку, строго шепнул:

— До богоявленьего дни пущай пообдышится. А там сызнов на тюремный двор доставить.

Едва очутившись за воротами, Савинка услышал за собою шаги. "Язык", — догадался он, но не оглянулся и с силой сжал кулаки: "Попытайся, излови!". Не торопясь, он направился к рынку и вскоре замешался в толпе.

Позднею ночью в застенок привели почти всех выпущенных царем на свободу. Тюремный дьяк пересчитал изловленных и с кулаками набросился на языков:

— Четырех проспали, анафемы!

— Трех.

— Четырех!

— А четвертого повелел государь до крещеньего дни не займать.

— Идол!… Мало ли что с доброго сердца царь изречет.

В тот же час по Москве, по трущобам и тайным корчмам, забегали соглядатаи, тщетно разыскивая Корепина. Невдалеке от избы Григория-гончара притаилась засада.

* * *

Довольный проведенным днем, царь сидел в глубоком кресле и, отхлебывая подогретое пиво, диктовал Грибоедову расходную записку:

"Декабря в двадцать четвертом числе, за два часа до свету, великий государь царь и великий князь всея Руси самодержец изволил ходить на большой тюремный и на Аглинский дворы и

жаловал своим государевым жалованием милостынею из своих государевых рук на тюремном дворе тюремных сидельцев, а на Аглинском дворе полонянников. Да великий же государь жаловал из своих государских рук милостыню бедных и нищих безщотно. Да по его же великого государя указу раздавали нищим же полковник и голова московских стрельцов у Лобного места. Всего роздано безщетно 157 рублев 4 алтына…"

Князь Семен Петрович Львов, примостившийся на лавке у окна, переглянулся с Милославским. Царь недовольно надул губы.

— Аль поскупились мы? Недостаточно милостыни раздали?

Львов вскочил с лавки.

— Не к тому мы. Но нашему впору бы полковнику да головам, да полуголовам со дьяки половины бы тех Рублев с алтынами. Потому, ведомо нам, как они добро твое раздают!

— А что? — встревожился государь.

— Да то, что единою рукою раздают, а другой — отнимают!

Милославский подошел к царю и приложился к его руке.

— А и потеха была! Загнали стрельцы тех убогих в Разбойный приказ да дочиста все и обобрали.

Уставившись в оплечный образ Миколы, Алексей сокрушенно вздохнул.

— То не по нашему велению, а по дьяковскому приказу. С них и взыщется на небесах.

И, переведя взгляд на князя, сердито передернул плечами:

— Ну, чего ты рыло воротишь, инда мыша подохшего отведал!

Львов закрыл руками лицо.

— Не о дьяке я кручинюсь, не о том, государь. Ибо ведаю, что ты перед Господом чист и непорочен душою… Невмоготу мне стало зреть боле потехи бесовские. Посоромились бы хоть грядущего Рождества Господня… Онемечились твои ближние!

Он с омерзением сплюнул и перекрестился.

— Ходит ныне князь Никита Романович, муж царских кровей, в

жупане ляцком! Сказывают люди — не токмо сам обасурманился князь, а и людишек обрядил по чину ляцких холопов. А за ним туда же потянул и постельничий… Перед всем миром соромятся.

Алексей растерянно встал с кресла и шагнул к окну. То, что он услышал от Львова, не поразило его, так как он сам потихоньку разрешил Никите и другим ближним рядиться в "еуропейские одежды" и перенимать от иноземцев многие их обычаи. Но ропот бояр, строго придерживавшихся старины, мешал ему открыто стать на сторону преобразователей. Он боялся порвать как с теми, так и с другими. Приходилось кривить душой, ссылаясь на нелюбовь свою к сварам и ни во что не вмешиваться.

— Да и Нащокин больно кичится навыченностью своею премудростям книжным, — не унимался Львов, — я-де володею премногими мудростями! У меня-де восемьдесят две латинских книжицы в терему!…

Алексей заломил руки.

— Токмо и ведаю, что печалованья ближних моих слушаю денно и нощно. А чем я прогневал Господа?

Князь ненадолго примолк, но не выдержал и начал:

— А мне, неученому, сдается, лучше изучать часослов, псалтырь, октоих, апостолов и Евангелие, любить простоту паче мудрости и тем грешную душу очистить от грехов и жизнь вечную получить.

Чтобы как-нибудь прекратить неприятный разговор, Алексей протяжно зевнул:

— Любы мне слова твои, Симеон. Коли б не умаялся я в сей день, сдается, слушал бы тебя безо краю.

Он с трудом разогнул спину и оперся локтем о подоконник

— Так измаялся, что, сдается, и молитвы не одюжу на сон грядущий.

Покряхтывая, он опустился на колени перед киотом.

У постели засуетились, взбивая пуховики, стряпчие и спальники. Под креслом, свернувшись калачиком, беспокойно ворочался и

скрипел зубами всхрапывавший карлик.

ГЛАВА XIII

Недолго покружив по московским улицам, Корепин выбрался за город и скрылся в лесу. Чем дальше уходил он от опушки, тем труднее было определять дорогу. Но он шел, не раздумывая, наугад, почти не передыхая, до самого Мурома.

Облюбовав заброшенную медвежью берлогу, Савинка решил поселиться в ней на зиму. Два дня без устали добывал он из-под сугробов сухие листья и хворост для нового жилья своего и, покончив с этим делом, принялся за устройство силков и капканов.

В лесу было спокойно, тихо. В начале, правда, пугало близкое соседство со зверьем и приходилось все время быть настороже, чтобы не попасть в зубы волкам. Тревожила еще и лесная нечисть… Но вскоре Савинка освоился и во всяком случае чувствовал себя на новом месте гораздо лучше, чем в заточении. С волками он мог вступить в любую минуту в единоборство или отгородиться от них на ночь весело и уютно потрескивающим костром, а против нечисти отлично помогали знакомые с детства, испытанные заклинания. Радовало и вселяло бодрость то, что на много верст кругом не было слышно самого страшного и коварного человеческого врага — человека. Там где-то, далеко-далеко, каждый шаг, каждая думка людишек были предусмотрены и предопределены царевыми окольничими, воеводами, боярами, помещиками и Бог весть еще кем, а здесь, в темной дубраве, нет ни дьяков, ни законов. Живи, как птица небесная, не печалясь о грудящем! Будет день — будет и пища, а воли никто не отнимает; горазда дубрава и все что живет в ней, беречь и любить свою волю превыше жизни.

На рассвете Савинка обходил силки и, доколотив дичину дубинкою, тут же свежевал ее, жадно вдыхая запах дымящегося мяса.

Утолив голод, он, не спеша, возвращался в берлогу и, зарывшись с головою в листву, предавался дремоте.

Лес то жалобно выл, точно оплакивал кого-то близкого, безнадежно потерянного, то вдруг содрогался от свиста, улюлюканья и дикого хохота — и тогда Савинка отчетливо видел плотно зажмуренными глазами, как отовсюду, дробя небо и землю, слеталась к берлоге нечистая сила справлять бесовские свои хороводы. В белых саванах, хмельные, разгульные и распутные, с визгом кружились по лесу ведьмы… Леший, разрывая копытами снег, подбирался все ближе и ближе к берлоге…

Спокойствие покидало Корепина. Он сжимал заледеневшими пальцами медный крест, когда-то давно подаренный Таней, и с ожесточением выкрикивал таинственные, непонятные ему самому, заклинания.

Так сменялись за днями дни. А когда, под первыми лучами вешнего солнца занедужила земля, Савинка недоуменно протер глаза и развел руками:

— Диво-дивное, право… И мигнуть не успел, а уж кончились северы!

Дождавшись, пока стает снег, он вырубил новую дубинку и, закинув на плечи торбу, тронулся в путь.

Был канун Николы Вешнего, когда он, усталый до крайности от долгой ходьбы, вышел наконец на опушку и увидел перед собой погост с каменной церковью посередине.

— А тут и вотчина наша, — ухмыльнулся бродяга и, заложив за спину руку, беспечно направился к погосту.

Спускался тихий безоблачный вечер. Улочки были пусты. Кое-где в отволоченных оконцах подслеповато мигали дымящиеся лучины. В стороне, за широким лугом, смутно маячили тени сторожей, дозоривших у господарской усадьбы.

Корепин наугад постучался в первую попавшуюся избенку. Какой-то парень приоткрыл было дверь, но тотчас же снова захлопнул

ее.

— Самим в пору нам христарадничать. Бог подаст, не взыщи.

Бродяга в раздумье остановился, оглядел устало покривившиеся избенки и повернул к лесу.

— Куда же ты, эй! — зло крикнул вдогонку ему парень. — Нищий, а тож с норовом.

Ухватив Савинку за руку, он потянул его в избу. Корепин с улыбкой ответил:

— Зачванишься, коли тебя порогом да Богом добрые люди потчуют.

Едва Савинка очутился в избе, его обдало таким удушливым запахом пота, бараньих шкур, гари и затхлости, что он вынужден был приоткрыть дверь.

Парень надменно оглядел гостя.

— Аль не по норову дух избяной князь-боярину?

Савинка захлопнул дверь и решительно пошел к лавке.

— Отвык я от избяного духу. А ежели княжью повадку узрел во мне, твоя оплошка. Не горазд, должно, ты людишек по нутру признавать.

Он перекрестился, снял торбу и присел на край лавки.

— Одначе густо у вас.

Парень не понял.

— Густо, сказываю, у вас, — повторил с добродушной улыбкой Корепин и ткнул пальцем в угол, где на ворохе сена лежали старик со старухой, пятеро детей и девушка.

Дети тесно прижались друг к другу и с любопытством уставились на гостя.

— Аль признали? — потянулся к ним Савинка, но, заметив, что дети испугались его, снова уселся на свое место.

Парень разостлал у порога тулуп, придвинул к изголовью полено и собрался лечь.

— Ложись и ты, — сказал он, — чать, умаялся с пути-дороги.

Не слушая его, Корепин порылся в торбе и многозначительно подмигнул ребятишкам.

— Полежать-полежим, а допреж того попотчуемся ушканом да иной прочей дичинкою.

Дети сразу посмелели, подползли к ногам гостя.

— Сам добыл? — спросила девушка, — а либо на пиру пожаловал кто?

Савинка тряхнул головой и чванно подбоченился.

— Сам ли? Да нешто слыхано слухом, чтобы господари сами себе прокорм добывали?… Аль мала лесная вотчина наша?

Девушка расхохоталась:

— Горазд же ты на ветер лаять!

Парень остановил ее.

— Замест смеху попотчевала бы лутше гостя похлебкой.

Старуха приподняла голову и погрозилась сыну:

— Нынче отхлебаешься, утресь чем кормиться будешь? Не дам похлебки.

— А мы и без нее попируем, — сказал Корепин, вываливая из торбы на стол изжаренную на костре дичину.

Жадно раздув ноздри, старуха подошла к столу. За ней заковылял старик.

— Нешто и мне говядинкою попотчеваться? — заискивающе произнес он и, не дожидаясь приглашения, вонзил зубы в заячий окорок.

Поутру Савинка отправился на княжий двор. На лугу, у ворот усадьбы, уже давно толпились холопы, дожидавшиеся выезда князя в церковь.

Корепин присел за бугорком и задумчиво склонил голову. Решение идти в кабалу, принятое накануне почти с легким сердцем, показалось ненужной и нелепой затеей. Вспомнилась Москва, товарищи, Таня, старик Григорий — и вдруг с неудержимою силою потянуло к своим. "Взобраться бы с Танею на звонницу, обнять бы

ласковую ее, да думкою уйти далече-далече", — мечтательно вздохнул он и спрятал лицо в ладони.

Точно выстрел, раздался неожиданно сухой треск бича. Из усадьбы, на белом аргамаке, окруженный холопами, выехал князь. Корепин вскочил и невольно залюбовался господарем. "Пригож окаянный, что твой Егорий Храбрый!" — подумал он и вскрикнул вдруг от режущей боли в спине.

— Ниц!

Прыгнув к обидчику — спекулатарю, Савинка ловким ударом ноги сшиб его наземь.

Взвизгнули батоги. Бродяга пытался броситься наутек, но его окружили холопы.

— Ниц, — ревел оправившийся спекулатарь, — князь жалует.

Поняв, что ему не справиться с противниками, Савинка покорно опустился на колени.

Пофыркивая и гордо перебирая тонкими ногами, аргамак, казалось, скользил в воздухе, не касаясь копытами земли. Князь исподлобья поглядел на незнакомого холопа, натянул стремя и, поровнявшись с Корепиным, ударил его нагайкой по темени.

— Сие тебе в поущение, чтобы загодя готовился к встрече князей! — крикнул он с ехидным смешком и, пришпорив коня, поскакал к церкви.

Людишки бросились врассыпную. Один из них не успел отскочить — упал, подмятый конем.

Князь любовно потрепал гриву аргамака и сдержал его ход.

— Эк, смерды богопротивные. Так и норовят ноги скакуну искалечить.

* * *

Подписав кабалу, Савинка отправился на поклон к князю.

Дворецкий остановил нового холопа у крыльца и приказал ему стать на колени.

Время шло, а князь все не показывался. Спина Савинки немела и

ныла, ноги одеревенели, в груди закипели обида, возмущение и едкий стыд. Хотелось вскочить, бежать куда глаза глядят — только бы избавиться от унижения, на которое он сам обрек себя. Но бежать было некуда. Всюду, в самых глухих углах российской земли, его ждала общая доля черных людишек — холопство и голод. И он, стараясь не глядеть на проходивших, покорно ждал.

Наконец, распахнулась дверь, ведущая в сени. Савинка ткнулся лбом в каменную ступеньку.

Чуть приподняв прямые, широкие плечи, князь погладил черную бороду свою и небольно ткнул холопа изогнутым носком сафьянового сапога.

— А как кличут козла бородатого?

— Корепиным Савинкой, — приподнял голову холоп.

Бычья шея господаря побагровела, в сливяных глазах вспыхнул жестокий гнев.

— Аль не навычен ответ держать перед князь-боярами!

И, поманив в себе дворецкого, наотмашь ударил его по лицу.

— Отвещай за него.

Дворецкий шлепнулся наземь.

— Корепин Савинка, пошли, Боже, здравия господарю, милостиво отверзшему высокородное ухо свое, чтобы услышати недостойное имя холопье!

Медленно, сквозь стиснутые зубы, повторил Корепин слова, произнесенные дворецким.

Князь удовлетворенно погладил себя по крепкой груди.

— А нас, господаря, как величают, козел бородатый? — уже ласковее произнес он.

Дворецкий подполз на брюхе к ногам князя и поцеловал его сапог.

— Князь Григорий свет Санчеулович, владыко наш и отец-благодетель Черкасский.

Сжав кулаки, Савинка повторил величание.

Черкасский сбежал с крыльца и сбросил с себя кафтан.

— Ну, ей же Богу, козлиная у тебя борода! Прямо тебе не русский смерд, а торговый гость аглицкий.

Засучив рукава, он наклонился к Корепину и, схватив его за узенькую, без баков, бородку, поднял с земли. Савинка невольно вцепился в руку господаря.

Дворецкий бросился на холопа и укусил его в плечо.

— Прочь длань нечистую от длани высокородной!

Князь оттолкнул дворецкого и принялся внимательно ощупывать тело холопа.

— А, сдается нам, крепок ты, смерд.

— Да не спущу, коли что, — вызывающе ответил Савинка и, в свою очередь, засучил рукава. — Бывало, и на медведей хаживал, и с волком челомкался.

Из поварни и избы для челяди высунулись любопытные лица. Черкасский отступил на шаг и тряхнул головой.

— А не потешишь ли ты господаря своего единоборством да боем кулачным?

— Пошто не потешить, — охотно согласился Корепин и поплевал на ладони. — Починай, господарь!

Обомлевший дворецкий спрятался за спину князя и погрозился холопу обоими кулаками.

— Да нешто на то моя воля? То князь затеял, не я! — огрызнулся Савинка и выпятил грудь. — Налетай, господарь!

Григорий Санчеулович расхохотался.

— Вот-то разбойничий клич! Вот-то головушка буйная!

И прежде, чем Корепин приготовился отразить удар, стиснул его в медвежьих объятиях. У Савинки хрустнули кости. Он собрался с силой и стукнул лбом по подбородку князя.

Железное кольцо рук еще плотнее сомкнулось, сдавило мертвой петлей.

— Покоряешься ли? — спросил князь и вырвал зубами клок волос

из головы задыхавшегося холопа.

— Погодишь, господарик, — крикнул Савинка и, изловчившись, подбил ногой ногу Черкасского. Не ожидавший удара, князь, потеряв равновесие, рухнул наземь, увлекая за собой противника.

Борцы освирепели. Они с воем и бранью покатились по траве, норовя вцепиться друг другу в горло. Усадьба насторожилась. Никто не мог представить себе, чтобы холоп осмелился по-настоящему драться с господарем и не взмолить о пощаде в первую же минуту. Дворецкий, еле живой от страха, не знал, что предпринять.

Враги, увлекаясь все больше, очутились у открытого погреба. Здесь Савинке посчастливилось — он нырнул из-под князя и сел к нему на спину.

— Сдавайся, господарь.

Туловище князя на миг повисло над подземельем. Охваченный лютым гневом, он уперся локтями в обочины входа и перекувырнулся.

Савинка полетел вниз головой.

Счастливый дворецкий подбежал к Григорию Санчеуловичу.

— Воистину ты еси Самсон… Не зря именем сим тебя вся губа величает.

Отдышавшись немного, Черкасский подошел к погребу.

— Эй, ты, Голиаф! — крикнул он:— Не время ли за попом посылать да гроб готовить!

Побежденный Савинка, кряхтя и слизывая с губы кровь, с трудом выбрался из погреба.

— Мир ли? — ухмыльнулся князь, довольно потирая руки.

— Покель мир, — вздохнул Корепин. — Да токмо, сдается мне, не силой ты взял, а лукавством.

Князь махнул рукой.

— Добро уж! В другойцы попотчую, как сам захочешь.

Он развалился на траве и устало потянулся.

— А покель мир… умаялся я с тобой, прости Господи.

Корепин отошел к тыну и вымыл в луже перепачканное лицо.

Дворецкий прибежал с ковшом кваса, поклонился князю:

— Испей, благодетель.

Залпом опорожнив ковш, Черкасский обсосал усы и встал.

— Одначе, скажу по правде, не можно мне утаить, что и ты воин добрый. Доселе в боках у меня вихляние от твоих кулаков.

Похлопав себя по животу, князь милостиво объявил:

— За силушку за твою да за храбрость жалую я тебя корцом вина и еще ловчим моим.

* * *

За любовь к аргамакам и за сметку при укрощении диких коней Черкасский вскоре пожаловал холопа набольшим ловчим.

Утром, после трапезы, князь неизменно, не считаясь ни с временем года, ни с погодой, отправлялся на выгон. Там поджидали его ловчие с необъезженными аргамаками. Прежде, чем приступить к работе, господарь обходил коней и с кропотливой тщательностью осматривал их. Царапина или клочок грязи на его любимцах вызывали в нем бешеный гнев. Он тут же расправлялся с провинившимися холопами: сек их, вздергивая на дыбу, возле которой день и ночь дозорили каты, подвешивал к столбу вниз головой и придумывал множество изощреннейших пыток.

Любимейшей забавой князя после укрощения диких коней были пытки. Он не раз сидел с опытными дьяками до поздней ночи у себя в терему, обдумывая устройство какой-либо новой, выписанной из-за рубежа машины, дробящей кости или вытягивающей конечности. Сарай, где наказывали особенно провинившихся, был завален клещами, спицами, иглами, колесами с зубьями, тисками и железными досками, унизанными гвоздями, на которые укладывали пытаемых.

Зверствами Черкасского возмущались даже бояре-помещики. Слухи о жестоком князе доходили иногда и до Москвы. Но Григорий Санчеулович, несмотря на уговоры ближних людей царевых,

продолжал действовать по-старому.

— И рад-радешенек я подобреть, да, видно, сидит во мне нечисть особливая, так и тянет в сарай тот.

Присылал к нему Стрешнев из Москвы ведунов, чтобы выгнать из нутра его нечисть, но ничего не помогало, и на Москве махнули рукой на княжеские потехи:

— Что взыщешь с него, коли замешана тут нечистая сила!

Черкасский продолжал потешаться, как хотелось ему.

Накатавшись вдоволь на горячем, полудиком скакуне, Григорий Санчеулович, если было время полевых работ, отправлялся в сопровождении дворецкого в поле.

Крестьяне, завидя господаря, терялись, перебегали зачем-то с места на место, переругивались.

Князь деловито обходил клин, потом раздумчиво останавливался и, наметив подходящую жертву, неожиданно загорался неподдельной ненавистью.

— Сызнов сошник погнула! — кричал он, набрасываясь с кулаками на девку.

Девка падала в ноги господарю.

— Неповинна я!

Но дворецкий волочил уже ее к меже.

— Аль и впрямь неповинна? — склонялся князь к девушке и проводил потной рукой по ее лицу. — А быть по сему, изыди с миром.

Девушка припадала в поцелуе к краю кафтана и уползала к своим.

— Стой! — ревел князь. — Весь кафтан мне обслюнявила.

Он налетал на добычу и срывал с нее рубаху.

Дворецкий, стоявший наготове, деловито принимался за избиение.

* * *

В канун Петрова дня Черкасский приказал собрать с крепостных по пяти алтын со двора и по одной мере зерна.

Спекулатари согнали людишек на площадь перед церковью и объявили господареву волю. Староста выступил наперед.

— Что положено по закону, все отдали без утайки.

— То не так, — взволнованно зашумели крестьяне, — облыжно на нас господари обсказали! Что отдать положено, отдали.

Присутствовавший на сходе дворецкий, подражая князю, подбоченился и тряхнул головой.

— Облыжно?

Староста перекрестился.

— Облыжно, Иов.

— Утресь доставить! — вскипел дворецкий и выхватил из рук спекулатаря бич.

Савинка подошел к Иову, наклонился к его уху.

— Обезмочили людишки, невмоготу им не токмо опричь положенного отдать, а и самим прокормиться нечем до нови.

Дворецкий грозно насупился.

— Уж не из смутьянов ли ты, что печальником черных людишек прикидываешься?

— Не печальник, а токмо не как другие прочие, памятую род свой крестьянский! За ласку за господареву души своей не продаю.

Подзадоренные смелыми речами крепостные подняли шум и потребовали, чтобы их допустили для объяснения с князем.

Спекулатарь шепнул что-то одному из ловчих. Холоп послушно кивнул и, замешавшись в толпе, пошел к усадьбе.

Выслушав ловчего, разъяренный князь приказал седлать коней.

— Давить! До единого! — крикнул он, вскакивая на аргамака, и помчался к площади.

Струсившая толпа рассыпалась в разные стороны, но было уже поздно. Князь первый врезался в мечущихся по улице крепостных.

* * *

До позднего вечера не убирали раздавленных и искалеченных. В усадьбу доносились стоны раненых и плач неожиданно осиротевших

семей. Согнанные с починков и деревень крестьяне проходили нестройными рядами по обочинам улиц и под подсказ спекулатарей протяжно выли:

— Та-ко да со-тво-рят со вся смерды, кои сму-той смутят!

В погребе, связанный по рукам и ногам, дожидался своей участи Савинка. Он понимал, что спасения ждать неоткуда и смирился, отдался на "Божию волю". Казнь не страшила его, не вызывала в нем ни горя, ни возмущения — порой даже казалось, что смерть лучший выход. "Гораздо велики просторы российские, — с какой-то холодной, неживой улыбкой шептал он, — а куда как необхватней кручина черных людишек русских!"

Приткнувшись к стене, Савинка закрыл глаза. "Так бы вот заснуть да не просыпаться до радостного утра", — подумал он и примолк.

Вдруг где-то близко над головой послышались чьи-то сдержанные шаги.

"За мной!" — решил узник, невольно бледнея и чувствуя, как падает сердце.

Кто— то завозился у двери. Глухо чавкнул топор.

— Жив ли?

Корепин напряг слух.

— Откликнись! То я Петрушка!

Узнав голос парня, приютившего его в первую ночь, когда пришел он на погост, Савинка невольно вскрикнул.

— Нишкни! — зашипел Петрушка и с большей еще силой ударил топором по замку.

Безразличие, вялость, покорность судьбе сразу исчезли, сменились бурною жаждою жизни.

— Наддай! — вздрагивающим шепотком приказал Петрушка и, не дожавшись помощи, рванул к себе запор.

На Савинку пахнуло свежим воздухом ночи.

ГЛАВА XIV

В глубоком байраке, далеко за усадьбой Черкасского, собрались выборные от крестьян писать с Савинкою челобитную государю на князя.

Корепин так пыхтел над бумагою, будто голыми руками выкорчевывал корни столетнего дуба, но не сдавался, и продолжал упрямо выводить непокорные буквы. Иногда он останавливался и тупо шарил глазами по кривым строкам, с искренним удивлением восклицая:

— А побей меня Бог, коли кто поймет, что тут проставлено!

Крестьяне ласково похлопывали его по плечу:

— Кому занадобится — разберет. А ты строчи!

Дописав наконец челобитную, Корепин с омерзением далеко в сторону швырнул гусиное перо.

— Три века жить буду, а, разрази меня гром, коли возьму еще единожды в руки выдумку сию окаянную! Пущай ею дьяки да сатана тешатся.

Придвинувшись поближе к тусклому пламени лучины, он нараспев, с огромным усилием, кое-как прочитал написанное. Сняв шапки, выборные благоговейно слушали и в лад каждому слову покачивали головами.

— Истинно… Так… Вот-то умелец!… Прямо тебе, словно бы из сердца глаголы идут.

Савинка болезненно скривил лицо.

— А все сие ни к чему. Не вчуяться царю на кручины холопьи, — он приложил палец ко лбу и еще раз упавшим голосом повторил: — Не вчуяться царю, нет, не вчуяться, — но заметив, что выборные огорчились его замечанием, торопливо прибавил: — А там, что Бог даст. Авось, по-доброму обернется. Дал бы перво-наперво Господь умудриться перед царем предстать да отдать челобитную. Не признали бы до того меня, сидельца беглого со двора тюремного, дьяки да языки.

* * *

На дворе стоял лютый декабрь, когда Савинка очутился наконец под Москвой. Весь долгий путь он был спокоен, не думал о грозящих опасностях, но, едва завидев звонницу Симонова монастыря, почувствовал вдруг, как в него вошел непреоборимый, животный страх. "А что, коль признают? — приникнув к обледенелой березе, с мучительной тоской подумал он. — Не быть в те поры челобитной у государя… А с нею не зреть и мне свету Божьего". — Он нащупал зашитую в рукаве епанчи бумагу и выхватил из-за пояса нож. "Авось, и не признают лихие люди… А отдам челобитную, все едино не миновать погибели. Изничтожить бумагу да тем живот сохранить свой!…"— Он занес нож, чтобы распороть рукав, но тут же рука упала безжизненно, выронив нож. Страх за собственную жизнь сменился едким стыдом. "А те?… Дожидаются, поди, сермяжные, ответа доброго от посла своего!"

И, не замечая леденящего ветра, Савинка распахнул епанчу, высоко подняв голову, зашагал к заставе.

У вежи дозорных его остановил стрелец.

— Кто идет?

Савинка осенил себя широким крестом и почтительно сложил руки на груди.

— Шествую я из святых мест на Москву по обетованию родительскому.

Стрелец юркнул в вежу, прячась от налетевшей метелицы, и оттуда уже крикнул:

— Коль во имя Господа — шествуй.

На улице не было ни души. Точно занесенные снегом надгробия стояли низенькие, безмолвные избы. В мутном небе клубился тяжелый сумрак, неповоротливый, как туман на болоте. Жалко скрипели промороженные плетни.

С каждым мгновением Савинка трусил все боле и боле. Ему все отчетливее слышались чьи-то крадущиеся шаги. "По мою душу!"— думал он, едва сдерживаясь, чтобы не побежать. Со всех сторон

наползала бурная мгла. Точно в страшном сне вдруг исчезли небо, земля, сереющие надгробия изб, и во всем мире остались только Корепин и тот, невидимый, нагоняющий его и несущий с собою погибель.

— Вот он! — обжигает кто-то затылок горячим, как железо на морозе, дыханием.

— Вот он! — откликается в сердце и сковывает движения…

Савинка знает, что еще не ушло время, что можно еще обмануть языка — нужно только свернуть неожиданно в первый переулок и запутать следы. Но, вместо того чтобы бежать, он решительно поворачивается навстречу врагу. Рука его мертво сжимает черенок ножа. Он напряженно всматривается в ночь, готовый к бою, пронзает ее набухшими ненавистью и отчаянием глазами. Скулит метелица во мгле, точно ведьмы в лесу, кружатся визгливые вихри снега… Откуда-то издалека, от Немецкой слободы, доносятся не то вопли, не то дикий безудержный хохот лешего… И никого вокруг, ни признака жизни. Снег и мгла.

— Это все тебе чудится, баба! — шепчет успокоенный бродяга, прячет за пояс нож и уверенней движется дальше. Ему холодно. Он натягивает на уши епанчу, дышит в ворот, чтобы немного согреть затканное инеем и льдом лицо, и все тяжелей, немощней перебирает слабеющими ногами. Он идет наугад, не разбирая дороги, ему все равно, куда прийти — лишь бы можно было поскорей приткнуть голову к теплой охапке соломы и хоть на мгновение заснуть.

Корепин щурится и сладко-сладко зевает. "На малый бы час!… Токмо бы очи закрыть да потянуться… Вот так!" — блаженно улыбается он и помимо своей воли ложится в сугроб.

И вот уже видится ему знакомая изба… Как славно потрескивает в печи сухой валежник! Дым мягко обволакивает подволоку, опускается к нему, окутывает теплым, пушистым пологом. "Коль сладостен, Господи, отдых в жилье человеческом! — благодарно

думает он и устраивается поудобней. — Имат ли человек гораздые радости, опричь радости прибежища теплого?…" Лютый порыв ветра подхватывает снег и с бешеной злобой швыряет в лицо замерзающего. Савинка вскакивает, очумело смотрит по сторонам.

— Никак Москва-река блазнится! — кричит он полным голосом и чувствует, как часто-часто колотится сердце. Он обегает вокруг избы, не доверяя своему счастью: — А и не чаял дойти до избы сей, а вот же дошел!

На неуверенный стук в дверь никто не откликнулся.

Савинка подобрался к оконцу, окликнул Таню и спрятался за угол. Кто-то завозился у двери, просунул на улицу голосу.

— Кой беспокойный в ночь тревожит людей?

Корепин вышел из засады.

— Григорию от Савинки низкий поклон!

— Ты? — отшатнулся старик.

— Я, кому же и быть, как не мне, бродяге! — шёпотом ответил Савинка и, не дожидаясь приглашения, вошел в избу.

Проснувшаяся Таня вздула лучину и выглянула из закуты. Она не узнавала ночного гостя.

Корепин склонился над печкой и с наслаждением приблизил к тлеющим углям лицо.

— А и студено! — передернул он зябко плечами, сдирая с усов и бороды подтаявшие сосульки. — Студено, Танюша?

Девушка испуганно отодвинулась и перекрестилась. Бродяга, не выдержав, протянул к ней руки:

— Неужто же я так стар стал, что и признать не можно?

Таня сорвалась с места, позабыв о присутствии отца, с криком бросилась Савинке на шею… Григорий тихонько поддался к лавке и сделал вид, что ищет что-то под ней. Только когда дочь его пришла в себя, он шагнул к двери и прислушался.

— Не искал я лиха, а оно само пожаловало!

Корепин смущенно поглядел на хозяина.

— А ты, старина, не кручинься. Я на малый час, отогреться пришел, Тане поклон отвесть да сызнов в дороженьку-путь.

Таня упала в ноги отцу.

— Не гони!… Ради для дочери, ради для матушки опочившей, не гони ты его… Чай, давно про него языки позабыли. Да и ликом он не тот стал нынче!

Она заломила руки и сдавленным голосом повторила:

— Не тот!

Савинка поднял девушку и поцеловал ее в губы.

— То не диво, что я, на тюремном дворе сидючи да сиротской доли хлебаючи стал на себя непохож. А диво то с чего ты высохла?

Старик сердито зажевал губами.

— С чего?… А с того, что приворожил ты ее! Колико женихов пригожих спровадила, дура.

Он неожиданно в пояс поклонился гостю:

— Христа для, развяжи грех! Спокинь ты нас да обетованье дай николи не хаживать к нам.

Не возразив ни слова, Таня торопливо обулась и накинула на себя поношенный бараний тулуп.

— А тебя куда нечистый в полночь несет? — крикнул старик, срывая с нее тулуп. — Аль в избе тесно стало с родителем?

Девушка гордо подняла голову.

— А куда Савинке путь, туда и мне дорога выпала.

Корепин всплеснул руками.

— Окстись! Некуда, лебедь моя, идти нам с тобой!

И, нахлобучив на нос шапку, взялся за ручку двери.

— Прощай, лебедь моя… И ты, Григорий, не поминай лихом.

Таня резко оттолкнула отца, бросилась к двери.

— А где селезню летать, там и утице быть!

Но Савинка открыл дверь и даже не оглянулся — чтобы не показать девушке перекосившегося от неслышных рыданий лица.

— Прощай. Авось, настанет пора — прилетит селезень за утицей… Э, да что сказывать!

Он выбежал на двор. Кружились метелицы. Ветер вздымал вороха снега, бросал их в окна…

Савинка бежал до тех пор, пока хватило сил. Когда ноги отказались повиноваться, он покорно повалился в сугроб. "Восстань, на век заснешь", — тупо шевельнулось в мозгу, но тут же расплылось бесформенным, тяжелым туманом. Однако какая-то внутренняя упорная сила заставила его подняться. Он устремил в небо покорный взгляд и перекрестился.

— Помилуй мя, Господи, не можно мне доле бороться за живот… Помилуй! Приими дух мой в пресвятые руки Твои.

Порыв ветра донес откуда-то издалека рычание псов и голоса людей.

— Стрельцы!

Савинка злобно сжал кулаки:

— Так нет же! Краше в лесу замерзнуть, нежели дьякам в пасть на потеху поддаться!

Ненависть породила в нем новые силы. Он подобрал епанчу и бросился наутек. Но, едва сделал он десяток шагов, как почувствовал, что земля расступается перед ним. Он остановился. Снег заколебался под ним и с хрустом провалился, увлекая за собой в яму Корепина.

— Сгкнь-сгинь-сгинь-сгинь! — крикнул кто-то глухим голосом, точно из сокровеннейших глубин земли. — Сгинь-сгинь-сгинь!

Чьи— то пальцы вцепились в горло Савинки.

— Сгинь, сатана!

Перепуганный Корепин взмолил о пощаде.

— Христа для! Отпусти странника божьего!

Невидимый враг неожиданно разразился добродушным смешком.

— Так то ж, выходит по словесам твоим, Бог мне гостя послал!

Поняв, что в яме устроился на ночлег такой же бездомный

бродяга, как и он, Корепин сразу пришел в себя.

— Вот и кров послал Господь! — весело воскликнул он.

В яме, под снегом, было сыро, но почти тепло. Крепко прижавшись друг к другу, бродяги усердно задышали друг другу в лицо.

— Добро! — довольно бурчал хозяин. — И печки не надобно.

— Добро! — повторял размеренно Савинка и сладко жмурился.

Когда гость согрелся, бродяга порылся у себя за пазухой и достал луковицу.

— Откушай, брателко.

Корепин с жадностью схватил луковицу, почти не жуя, проглотил ее.

— Одначе не солодко жительствуешь! — вздохнул хозяин и заботливо подсунул под бок товарища часть соломы, на которой лежал сам. — Издалече?

— Издалече, брателко. Шествую из кручинной сторонушки, а поспешаю к неминучему лиху… Ведомы ль тебе те дороги, брателко?

Хозяин присвистнул.

— Превеликая дорога! Большая сила людишек той дорогой шествует.

Они притихли. Над головами тужила о чем-то метелица.

— Спишь, брателко, как тебя кличут, не ведаю?

— Не спится. Все думушку думаю… А кличут меня Корепиным Савинкой.

— То-то же! А то, помрешь ежели, как я вотчину твою боярскую да палаты каменные твои сыщу!

И, довольный своей шуткой, изо всей мочи шлепнул Савинку по спине.

— Небось, добро-то свое Яшке отпишешь?

— А ты нешто Яшка?

— Поспрошай на тюремных дворах, волишь во Пскове, волишь в

Туле, всяк тебе про Яшку обскажет.

Савинка собрался что-то сказать, но побоялся отогнать мягко охватывавшую его дремоту и промолчал…

Утром товарищи вылезли из логова и внимательно оглядели друг друга.

— Вместях ночку долгую ночевали, — осклабился Яшка, — а разлучи нас кто до свету, так бы во век ни ты меня, ни я тебя не признали бы.

Корепин обнял бродягу.

— В ночь ли темную, на дне ли окиан-моря, везде голодный признает голодного!

До полудня бродяги толкались по рынку, тщетно выискивая с другими нищими и бездомными псами добычу.

Савинка глубоко нахлобучил шапку, обмотал ворот епанчи тряпьем так, что лица почти не было видно. Глаза его подозрительно щурились на прохожих, выискивая среди них языков. Он уговорился с Яшкой не даваться живьем стрельцам в случае, если их узнают.

— Краше в честном бою помереть, нежели сести на тюремный двор до скончания века.

ГЛАВА XV

Вдоль кремлевских стен скользят и тают в лунном сиянии тени дозорных. Суетливый дворцовый день кончился, сменился мирной вечерней молитвой и отдыхом.

В низеньком тереме за круглым столом сидит Алексей. Желтый огонек лампады уютно теплится перед золоченым киотом, чуть оживляя строгий лик распластавшегося во всю ширину подволоки Бога-отца.

Царь с блаженной улыбкой следит за игрой теней. Подле него на лавке сумерничает Босой. Юродивому скучно. Он лениво вычерчивает пальцем в воздухе какие-то полукруги и в лад движениям своим мычит что-то в дремучую бороду. Вериги давят

бока и плечи, вызывают тупую боль и раздражение. Хочется уйти поскорее, отдохнуть от осточертевшей государственности. "Чай, дожидаются", — думает он и невольно разглаживает послюнявленной ладонью непокорные вихры. Под черной бархатной рясой, молодецки охватывающей его богатырский стан, тревожно шуршат и перекликаются звенья ржавых желез. Алексей переводит взгляд на Ваську, но тотчас же снова забывает о нем и продолжает умиленно следить за подмигивающим добродушно изображением Саваофа, за узорчатыми лунными рушниками, скользящими по стенам, и за собственною полупрозрачною тенью. Босой теряет терпение, исподлобья, зло поглядывает на государя.

Васька давно уже изменился до неузнаваемости. Он редко юродствует, держится серьезно и строго, следит за собой. Весь Кремль остерегается его, боится вызвать его немилость. Вельможи первые кланяются ему, без его благословения не предпринимают никаких дел, так как хорошо знают, что неугодное юродивому всегда неугодно и Алексею.

Ежедневно, после вечерни, царь подходит под благословение к Ваське и с напряженным вниманием выслушивает наставления на грядущее утро. Прежде чем начать слово, Босой долго стоит перед образом, подняв руки горе, и что-то невнятно нашептывает. Царь робко поеживается и терпеливо ждет. Если мертвое лицо прозорливца оживает, расплывается в дружескую улыбку, — Алексей крестится благодарно и чувствует, как все его существо наливается гордой радостью и покоем. Когда же темнеет взор Васьки и безжизненно падают руки его, а из груди вырываются протяжные, полные туги стенания, — государь сразу теряет уверенность в себе, горбится сиротливо и тайком, неслышно пятится к двери… Босой резко поворачивается к нему и. загораясь вдруг бешеной злобой, топает исступленно ногами.

— Сызнов не внял глаголам Отца Небесного! Сызнов внемлешь ворогам истины!

Он падает на колени перед иконами, кивком головы показывает царю на место подле себя и, после долгих молений, наконец смягчается.

— Даешь ли обетование, Алексаша, сотворить по глаголу Божию?

— Даю, прозорливец.

Натешившись игрою теней, государь пересел ближе к Босому.

— Скучно, мне, Васенька… Давненько ты мне сказов не сказываешь.

"Эк, навязался, брюхатый!" — выругался про себя Васька, но вслух охотно согласился позабавить царя и, опустившись на пол, приступил к сказам.

Мерно и убаюкивающе, точно шелест полевой травы в тихий весенний вечер, потекла речь Босого. Алексей зажмурился, уселся поуютнее и дремотно слушал.

— Гораздо добро речешь ты, прозорливец. Словно бы не из уст твоих глас исходит, а за окном жужжание пчелиное, — сладко зевнул он и ткнулся бородою в кулак.

Босой погладил цареву ногу и продолжал мягко ронять:

— И есть, Алексашенька, дальняя теплая сторона, Индиею реченная, дивами дивными полная. А в той Индии теплой обитает птица, реченная Фюникс. А птица сия — одногнездница, не имат ни подруженьки, не птенцов, но едино в гнезде своем пребывает… Егда же состарится та птица Фюникс, долго жалешенько плачет, убивается, горемычная. А, накручинившись вволюшку, взлетает ввысь, берет огнь небесный и, спустясь, зажигает гнездо свое. И меркнут в те поры звезды небесные, и мрак велик ложится на землю, и плачут все твари земные. И земля в те поры плачет. А гнездо горит огнем белым, подобно первому белому снегу, а то и как месяц новорожденный. Фюникс же птица сидит во гнезде, жалешенько плачет, убивается, да огню небесному бока опаленные подставляет. А пепел с той птицы так и сыплется, так и сыплется, так и сыплется!… А когда померкнет огнь, слетаются к гнезду

светлые, как очи царя Алексашеньки, силы небесные, дуют на пепел и райскую песню ему поют.

Васька откашлялся в кулак и запел:

Христос рождается — радуйтесь!
Христос преставляется, радуйтесь!
Яко в рождестве и смерти душе воскресение!
Всем христианам до века спасение.

И пророчески поднял руку:

— А из пепла гнезда своего сызнов Фюникс воскресший встает и величит со духами светлыми Господа. И песня та златыми звездами в небеси рассыпается, а на земли зацветает благовонными цветиками и звоном малиновым. Слава, честь, поклонение и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Он неторопливо встал и склонился к похрапывающему царю.

— А-минь!… Все, Алексашенька.

Алексей испуганно открыл глаза.

— Улетел? Фюникс-то, отлетел?

— Отлетел, мой преславный. А и тебе ли не срок ко сну отлететь, Алексашенька?

Обняв не очнувшегося еще от сладкого полусна государя, он увел его в опочивальню. Едва добравшись до постели, царь, не успев даже перекреститься, крепко заснул.

Васька покропил стены опочивальни святой водой и, отдав последние распоряжения стряпчему и спальникам, на носках вышел в сени.

— К царевне, — шепнул он дожидавшимся его домрачею Никодиму и еще какому-то юродствующему нищему. — Нонеча там и полонная женка Янина.

В светлице Анны стоял полумрак. Царевна нежилась на пуховике. У изголовья ее сидела Марфа и напевала вполголоса какую-то

девичью песню. На полу, подобрав под себя ноги, дремала Янина. На коленях ее лежала раскрытая книга Георгия Писидийского: "Похвала Богу о сотворении всякой твари".

Анна высунула из-под тафтяного с собольей опушкой и жемчужными гривами покрывала руку, нежно погладила черные кудри крестницы.

— Измаяла я, поди, тебя, Нинушка?

Полонянка полураскрыла глаза и прижалась к прохладной руке царевны.

— Не можно мне верить, матушка моя царевна, что даровал мне Господь превеликие свои милости, сподобив меня крестницей твоей стать!

Кто— то завозился в сенях. Марфа вскочила с постели и юркнула к двери.

— То по велению царевны, — послышался резкий голос Босого, — утресь еще наказывала двух бахарей блаженных доставить.

Марфа открыла дверь.

— Жалуйте. И то, измаялась наша царевна, вас дожидаючись.

Трижды перекрестившись на образа, юродивые, по молчаливому приглашению царевны, сели на лавку.

— А духовник пошто не шествует? — спросила зардевшаяся боярышня, склонясь перед Босым.

— Сейчас с царицей пожалует, — буркнул Босой, глядя куда-то поверх голов.

Янина молитвенно сложила руки.

— Прикажи, матушка-царевна, уйти. Не можно мне, не достойной, предстать перед очи царицыны.

Мясистые губы Василия передернулись в усмешке. "А и лукава же баба проклятая. Обликом — херувим, а душою — сатана сатаной". Царевна привлекла к себе крестницу:

— Не кручинься. Обсказала я царице про усердие твое в делах веры Христовой да про живот твой горький, полонный. И показала

она тебе милость узреть тебя в светлице моей.

— Жалует! — объявила боярышня и широко распахнула дверь.

Милостиво улыбаясь, в светлицу вошла Марья Ильинична. За ней бочком протиснулся отец Вонифатьев. Васька встал и перекрестил воздух.

— Благословенно благословенное… Тьма свету не в кручину. Свет же в тьме — радости.

Никодим шлепнул себя по ляжкам и, грозясь пальцем в окно, подхватил, перебирая пальцами струны домры:

— Тьме Бог — отец, свету Господь — родитель, нам же на радости — свет царица Мария.

Царица ничего не поняла, с заискивающей улыбкой подошла к прозорливцу.

— Не растолкуешь ли мне сии премудрые словеса?

Васька поджал губы и повернулся к Никодиму.

— Реки!

Никодим таинственно наклонился к царице.

— Прикажи Проньке. В пятничные дни дана ему великая сила предреканья.

Пронька шмыгнул носом, обнюхав воздух и вдруг закатился сиплым смешком.

— Зрю!… Ночь дню поклоняется, свет тьму проглотил. А в свете, как горлица белая, царица купается!

Он обежал вокруг Марьи Ильиничны и радостно закончил:

— Очистившийся перед Васенькой — перед Богом очистится!

Допустив поочередно к своей руке царевну, Марфу и Янину, царица уселась под образами и умильно воззрилась на Босого.

— Сказывала мне Аннушка, будто занадобилась я тебе, прозорливец.

Васька ничего не ответил. Он неожиданно размахнулся, больно ударил себя по лицу и разодрал бархатную рясу. В сумраке, полунагой, свирепый, он казался очень страшным.

Царица закрыла глаза, чтобы не видеть надвигающегося на нее великана.

— Не можно мне зреть мужа нагого, — с мольбою вымолвила она. — Да и опричь сего, страшусь я вериг. Словно бы гады, обвились они вокруг телес твоих мученических. Свободи себя от них, прозорливец.

— Сама слободи, — ткнулся губами в ухо Марьи Ильиничны Никодим. — Никому не положено, опричь царицы, касаться желез сих святых.

Превозмогая страх и стыд царица сняла с юродивого вериги. Васька с наслаждением встряхнулся и присел на пол.

— Сестры дражайшие!

Все с удивлением переглянулись:

— Откеле исходит сей глас?

— Сестры дражайшие! — снова сдушенно прокатилось по терему.

Помертвевшая от суеверного ужаса царица пала ниц перед иконами:

— Царица небесная, заступи!

И тотчас же, где-то подле нее, не то под ногами, не то у самого уха раздалось протяжно:

— Царица небесная, заступи!

Царевна и Марфа, потрясенные чудом, крепко уцепились за Никодима и Проньку и молили Босого выгнать из светлицы нечистого, но страшный голос не унимался. Он то гулко бился о стены, то рокочущим хохотом кружился в воздухе, отдаваясь громовыми раскатами в сердцах перепуганных женщин, то уходил куда-то в преисподнюю. Вонифатьев бегал, как ошалелый по светлице, рьяно крестил подволоку, стены и пол, непрерывно творя заклинания. Янина, закрыв руками лицо, на животе подползла к прозорливцу.

— Про Никона… реки про Никона, — подсказала она едва слышно.

— Некие рекут, Никон-де тщится книги священные исправить во славу Божию. Ему же противоборствуют еретики, — плачуще донеслось из-за окна. — А я, Бог Саваоф, глаголю: не внемлите гласу лукавого!… Ибо не ревнители древнего благочестия, но Никон сеет ересь в душах христианских.

Марья Ильинична встрепенулась. Ее лицо зарделось счастливой улыбкой. Она благоговейно воззрилась на образа и истово перекрестилась. Все ее сомнения рассеялись. Еще недавно, когда Никон вел беседу с царем и учеными монахами о необходимости исправления богослужебных книг, она почувствовала, что затевается недоброе дело. Однако Ртищев, Ордын-Нащокин, Никита Романов и сам Алексей, изо дня в день доказывая ей правоту Никона, смутили ее душу. Теперь же сам Бог открыл истину.

— Верую, Господи, и исповедаю крещение тако, како веровали древлие чудотворцы твои! — клятвенно крикнула она, и опустившись на колени, стукнулась об пол лбом.

Янина подползла к царице, горячо поцеловала край ее платья.

— Како ты рекла, тако и я под твоею рукою буду противоборствовать Никону, — прошептала она и снова закрыла руками лицо, чтобы не выдать торжествующей радости.

— Благословенна раба Мария, — ласкающе-мягко вздохнуло над головами.

Расставив широко пальцы, Янина восхищенно поглядела на Ваську. "И даст же Бог человеку дражайший дар вещаний чревом!" — умиленно подумала она и искренно перекрестилась.

Выполнив добросовестно все, что требовала щедро наградившая его полонянка, Босой шагнул к царице, но вдруг зашатался и рухнул на пол.

— Почил! — вскрикнул склонившийся над прозорливцем Никодим.

Марья Ильинична с рыданием упала на грудь Босого. Василий приоткрыл один глаз и болезненно улыбнулся.

— Не рыдай мене, мати! — запел он и неожиданно расхохотался

страшным хохотом сумасшедшего.

ГЛАВА XVI

Вечный страх, что узнают его языки, иссушил Корепина, измотал всю его душу. Он облютел, становился все более подозрительным и остерегался даже закадычнейшего своего друга Яшки. В каждом человеке чудился ему враг, поджидавший лишь случая, чтобы предать его.

Только в редкие встречи с Таней ненадолго оживлялся Савинка, забывая о всех стерегущих его напастях.

В условные дни сходились они в лесу, в берлоге, которая служила бродягам жильем. Яшка, завидев женщину, немедленно исчезал. В берлоге было тепло и довольно просторно — товарищи углубили яму, стены утеплили подобранными на свалке войлочными лохмотьями и соломой и обшили дубьем; кровлей служило решетование из прутьев и хвороста, придавленное снежным сугробом; вход в землянку вел через дыру, прорытую в стороне и защищенную от человеческих глаз кустарником. Зарывшись по пояс в тряпье, Корепин припадал губами к щеке Тани и так мог просиживать без слов часами.

К вечеру гостья осторожно высвобождалась из его объятий.

— Пора. Чать сызнов отец заругается.

Бродяга с тяжелым сердцем провожал Таню до леса.

— Токмо бы Пещного действа дождаться да царю отдать челобитную, — неуверенно улыбался он, чтобы как-нибудь поддержать в себе бодрость, — а там спокинем мы с тобой Москву, уйдем на украйные земли, заживем без горькой кручинушки.

Укутанный в тряпье и солому, из-за деревьев показывался дружелюбно скаливший зубы Яшка.

— Эвона!… А я, было, в думках держал, не засталась ли ты за господарыню в вотчине нашей.

* * *

Наступила неделя Праотец. Савинка заметно повеселел.

— Ну, кажись, пришел час ударить государю челом, — поделился он с товарищем, ничего не подозревавшим о челобитной.

Яшка вытаращил глаза.

— Царю?… С челобитной? Ополоумел! Аль не слыхивал, что по новому указу не можно черным людишкам челом бить государю?

— Так то черным людишкам, — ухмыльнулся Савинка, — а не нам. Мы, брателко, особые — опричь тюремного двора ни в каких грамотах не записаны…

В канун воскресенья бродяги отправились на патриарший двор. Там давно уже теснилась толпа бездомных людей, дожидавшихся выхода келаря.

Когда монах вышел на крыльцо, людишки опустились на колени:

— Благослови на бранный подвиг, отец.

Благословив людишек, келарь увел их в большую трапезную. Накормил и выдал одежду. Обряженные в гулы из красного сукна с оплечьями из меди, в медных шапках с опушкой из заячины, расписанных краской и золотом, они высыпали на улицу.

Простолюдины попрятались по домам. Только орава крикливых ребят бесстрашно бегала за "халдеями", наполняя промерзшие улицы песнями, свистом и улюлюканием.

Для бездомных людей пришли сытые дни. Отовсюду поступали к ним щедрые подаяния. Каждый торговый человек считал своей святой обязанностью кормить и поить участников Пещного действа. На рынках, в торговых рядах, на Козьем болоте — всюду снабжали их, Христа ради, прокормом. Халдеи с ревом набрасывались на подаяние и нещадно избивали друг друга, пытаясь вырвать лучший кусок, чтобы тут же, почти не жуя, проглотить его.

Смазав бороды медом, Савинка и Яшка бегали по занесенным снегом широким московским улицам, пугая лошадей и встречавшихся крестьян багровыми космами потешных огней.

— Пали его! — крикнул какой-то ряженый, вынырнув из переулка и схватил за ворот сидевшего на возу с сеном крестьянина.

Крестьянин попытался вырваться, но его сбросили наземь и привязали к хвосту коня.

— Калым давай!

Савинка подтолкнул локтем товарища и укоризненно покачал головой.

— А сдается мне, не гоже бы людишек немочных забижать.

По лицу бродяги скользнула недоумевающая усмешка.

— А сдается, окстись да не хаживай с халдеями.

Пробившись к лошади, он поднес факел к бороде ревущего благим матом крестьянина.

— Калым давай, миленок-брателко.

Отчаянный крик резнул притихшую улицу. Ребятишки шарахнулись в разные стороны. Где-то заголосили бабы… Не помня себя от возмущения, Савинка выдернул из ближайшего плетня кол и ринулся на Яшку.

— Душегуб!

Кто— то сзади ударил Корепина кулаком по затылку. Он зашатался и выронил кол.

— Секи его!

Еле вырвался истерзанный и залитый кровью Савинка из рук озверевших людей. Левый глаз его закрылся, взбух, на подбородке, на месте вырванных клочьев бороды, зияла кровоточащая рана.

У Арбата избитого настиг запыхавшийся Яшка.

— Жив ли брателко? — участливо спросил он и покачал головой. — Экой чудной ты!… Нешто можно перечить положенному? Подьячие и стрельцы, и те до Богоявленьего дни не вольны забижать халдеев…

— Уйди! — крикнул Савинка и вдруг, широко расставив руки, упал в сугроб.

— Дотешился, светик! — сплюнул Яшка и, взвалив товарища на

плечи, потащил его в берлогу.

Остаток дня и ночь Савинка провел в тяжелом полубреду. Однако на рассвете, сообразив, что Яшка собирается уходить, он с трудом поднялся.

— Аль в Успенский пора?

— Кому пора, а кому срок и отлеживаться, — сквозь зубы процедил Яшка. — И ведь эко надумал!… На толпу с дрекольем идти.

Корепин, превозмогая боль, пошел за товарищем.

Успенский собор был полон молящихся. Паперть запрудила толпа, не успевшая пробраться вовремя в церковь. Но халдеи, пришедшие последними, гордо запрокинув головы, уверенно протискались в собор.

На амвоне, с правой стороны, окруженный ближними боярами, в кресле восседал государь. Корепин протискался поближе к клиросу. Будто почесываясь, он то и дело тревожно ощупывал рукав, в котором была зашита челобитная. Здоровым глазом он внимательно измерял расстояние, отделявшее его от царя, и соображал — успеет ли добежать к амвону прежде, чем перехватят его дьяки.

Из боковой двери, ведущей в алтарь, высунулся дьячок и поклонился в пояс царю.

Алексей перекрестился, поднял к небу глаза.

— Починайте во славу божью!

Дьячок, с трудом сдерживая подступающий кашель, отступил к аналою и шамкнул беззубым ртом:

— Благослови, отче!

Царь сорвался с кресла и так схватился за голову, будто кто-то неожиданно треснул его по темени.

— Что ты сказываешь, — заорал он, — мужик, сукин сын: благослови, отче?… Тут патриарх, сказывай, ирод: благослови, владыко!

Чтобы ублажить царя и тем искупить свою вину, дьячок набрал

полные легкие воздуха и рявкнул на весь собор.

— Благосло…

Но вдруг лицо его напряглось, вздулось жилами, побагровело, а из свистящей груди вырвался оглушительный кашель.

Алексей слезливо оглядел молящихся.

— А и в чем вина наша перед Господом, что ради для царей ныне в соборах замест велегласых дьяконов и мнихов верещат сукины сыны поросята?

Неудачливого дьячка сменил монах. Расставив широко ноги, он молодецки тряхнул черной гривой и, надавив указательным пальцем на кадык, оглушил молящихся громовым раскатом:

— Бла-го-сло-ви, вла-дык-ко!

Царь грохнулся на колени и с наслаждением перекрестился. За ним пали ниц все находившиеся в соборе.

— Вот то глас, — вслух похвалил Алексей, — чисто тебе Илья-пророк по небеси прокатился!

Из алтаря торжественно вышел патриарх Иосиф. Благословив толпу, он направился на середину собора. Алексей, опираясь на плечи ближних, последовал за патриархом и стал у столба.

Начался "чин воспоминания сожжения триех отроков или Пещное действо".

Монахи отдернули ширмы. Молящиеся увидели между столбами решетчатую деревянную печь, в виде огромного фонаря, расписанного суриком и другими красками. Для изображения горящей печи фонарь по решеткам со всех сторон был унизан железными шандалами, в которых горели восковые свечи.

После шестой песни канона, получив благословение патриарха, трое ряженых, изображавших еврейских отроков — Анания, Азария и Мисаила — были связаны "убрусцем по выям" и отданы двум халдеям.

Халдеи, беспомощно тужась, чтобы вызвать на лицах приличествующий церемонии гнев, подвели отроков к печи.

— Чада царевы, зрите ли сию пещь, огнем горящу? — крикнули они в один голос.

Отроки с презрением оглядели своих катов и гордо подняли головы.

— Зрим мы пещь сию, но не ужасаемся, есть бо Бог наш на небеси, той силен взять нас от пещи сия…

Получив по зажженной свечке, отроки, подталкиваемые халдеями, вошли в пещь и тоненькими голосами заскулили молитву. Халдеи, со свечами в руках, побежали вокруг печи и бросили в горн легковоспламеняющуюся траву-плаун.

В соборе воцарилась мертвая тишина. Все взоры были обращены на вырезанного искусно из пергамента ангела, спускавшегося на шнурке с подволоки.

Два монаха, укрывшихся в алтаре, по знаку, поданному иеромонахами, принялись ожесточенно сотрясать железный лист.

Халдеи упали ниц. Какая-то старуха, преисполненная суеверного страха, воюще заголосила и побежала к выходу… И тотчас же, точно по уговору, ее со всех концов поддержали смятенными криками и рыданиями.

Ангел, покачавшись над печью, медленно, как бы неохотно, снова поднялся к подволоке.

Торжествующие халдеи ударили казнимых пальмовыми ветвями.

— Где есть Бог ваш на небеси?!

Отроки печально переглянулись и отдались на волю огня.

Вдруг монахи снова затрясли железными листами и рявкнули хвалебную песнь. Ангел, трепеща, спускался к печи.

— Ангел! Ангел Господень, спаси нас, — взмолились отроки.

Толпа снова притихла. Кое-где лишь слышались глубокие вздохи. Ангел реял в воздухе, плавно взмахивая размалеванными крыльями.

— Ангел! Ангел Господень, спаси нас! — надрывались отроки, заглушая грохот железа и трещеток.

И вот, на мгновение задержавшись в воздухе, ангел слетел в

печь. Из сотен грудей вырвался вздох облегчения. Отроки сорвали с себя убрусцы и, ухватившись за крылья ангела, трижды обошли с ним вокруг печи. Пораженные халдеи бочком придвинулись к спасенным и, отвесив земной поклон, подтолкнули их к патриарху.

— Многая лета! — вихрем взвилось на обоих клиросах многолетие государю и царствующему роду.

Служба окончилась. Алексей сам, непрестанно крестясь и пришептывая молитвы, погасил все четыреста свечей в печи и направился к амвону.

Удобная минута наступила. Корепин прыгнул к царю и стал на колени.

— Государь, царь православный! — забормотал он, щелкая зубами, как на лютом морозе.

Ближние бояре позвали монаха.

— Убрать!

Но царь остановил их властным движением руки. "Он!… Он и есть", — мелькнула догадка.

— Аль челом бьешь, холопьюшко?

— Бью челом, государь! — ударился Корепин лбом о каменные плиты пола. — На ворога христианского, на князь Черкасского, Григория Санчеуловича!

Савинка поборол в себе страх и, смело поглядев государю в лицо, продолжал:

— Мрут черные людишки с голоду! Опричь кривды да батогов не зрят иного. Плохо, гораздо плохо жительствуют сиротины твои, людишки черные.

Он сбросил с себя гулу, зашарил по рукаву епанчи.

— Аи челобитная тебе от черных людишек… Все в ней пропи…

Он осекся и похолодевшими пальцами разодрал рукав.

— Была, государь! Сам писал…

— Сам? — ехидно прищурился Алексей и кивнул подошедшим дьякам. — Так вот чью цидулу сдобыли языки у халдеев в

побоище уличном.

Присутствовавшая в соборе Янина заинтересовалась неожиданной сварой и любопытно приблизилась к амвону.

— Так сам писал, сиротина? — переспросил государь, захватив в кулак бороду.

— Сам! — поднялся Корепин с колен. Его глаза зажглись вдруг гордыми огоньками, а пальцы, мявшие судорожно епанчу, сжались в кулак. — Сам!… Думка была, не ведаешь ты, что робят с людишками черными. А ты, государь, обороняючись, тех же кличешь к себе на подмогу дьяков.

— Замолчи! — крикнул Алексей и ударил челобитчика по лицу.

Едва сдерживая волнение, Янина не спускала глаз с дерзновенного смерда. Его осанка и смелые речи восхитили ее. "Вот-то бы споручник мне!… Вот-то бы от обиды на государственность да на дьяков добро служил бы моему королю!" И полонянка решила во что бы то ни стало спасти Корепина.

* * *

Вечером, когда пришли к ней гости, Янина рассказала им о бродяге.

— А кто дьякам ворог, тот нам впору придется, — убежденно закончила она.

Федор вернулся домой, когда никого из чужих уже не было. Янину он застал в каморке, чем-то очень расстроенную.

— Нинушка, свет мой! — засуетился постельничий и, приблизившись к женщине, выпятил до последней возможности грудь. — Да ежели кто забидел тебя, своими перстами удавлю лиходея!

Полонянка искоса взглянула на запетушившегося господаря. "Витязь тоже — пугало воронье!" — подумала она и нежно обняла Федора.

— Не забидели меня, а жалость выела сердце мое… Не можно мне боле терпети.

Осторожно подбирая слова, она заговорила о грядущем празднике Рождества. Ртищев усадил полонянку подле себя.

— Истинно, истинно, — временами поддакивал он и дремотно щурился. — Колико мы с чистым сердцем твоим добрых дел сотворим!

Однако, услышав про Савинку, сразу потемнел.

— Не сказывай про него. Грех непрощеный и слышать мне, постельничему государя царя, имя смутьяна богопротивно.

Всю ночь Ртищев не спал, прислушиваясь к сиротливым вздохам и сдержанному плачу полонянки. Покоренный слезами, он много раз вскакивал с постели, готовый сдаться, но у самой двери останавливался, гневно сжимал свои детские кулачки.

— Нет! Негоже постельничему государеву быть заступником смердов-смутьянов.

Чтобы избежать встречи с Яниной, Федор на рассвете уехал в Кремль. Царя он застал в крестовой за утреней. Стоявший у двери Босой догадался по лицу Ртищева, что с ним приключилось что-то недоброе.

— Кручинишься, Федя?

Постельничий безнадежно махнул рукой.

— Ты бы хоть, прозорливец, улещил Янину. Смертью умрет она от сердца доброго своего.

Встревоженный Васька, не дожидаясь трапезы, отправился в Конюшенный переулок, в усадьбу Ртищева.

* * *

Ночью, прежде, чем идти спать, прозорливец, запыхавшись, ворвался в цареву опочивальню.

— Ходит, Алексашенька!

— Кто ходит? — испуганно откликнулся царь.

— Сень дерзновенного ходит в покоях твоих!… Чуешь? Как отроки иудейские… Звон, зри… Ходит и держится перстами за ангельское крыло.

Алексей попятился к красному углу. Откуда-то сверху тяжело пополз на него чей-то сдавленный голос.

— Ради для Рождества Господа нашего Исуса Христа, я, ангел Господень, внял покаянной молитве раба Божия, бившего тебе, государь, челом смерда сиротствующего.

Царь опустился на колени и в страхе прислушался к исходящим с подволоки словам.

— Помилуй же, помазанник Божий, раба того! Внемли ему, — заклокотало где-то в подполье и стихло.

Босой стал на четвереньки и подполз к государю.

— Чуял ли?

— Чуял, — перекрестился царь. — Токмо как же мы противу Соборного уложения руку поднимаем?

Васька раздраженно брякнул веригами.

— Упамятовал ты, Лексашенька. Не противу Уложения восстал смерд, а челом бил на господарей.

— Вот то-то же сказываем и мы, — приободрился царь. — Потому доля черных людишек сполна обозначена в Уложении.

Васька поморщился, сплюнул, и отполз к двери.

— Ползут! — рявкнул он и отчаянно замахал руками, телом своим заслоняя государя. Из углов, с подволоки, из подполья неслись на Алексея стоны, рев, мольбы и проклятия.

Алексей вскочил с колен, обеими руками ухватился за крест.

— Свободить! Тотчас же свободить холопа того!

ГЛАВА XVII

Босой, узнав о приезде Новгородского митрополита, смутился. Упрямый и властолюбивый Никон, не останавливавшийся ни перед чем, чтобы добиться задуманного, был единственным среди ближних царя, с которым нужно было держать ухо востро.

И доподлинно, Никон не шутил. Он крепко обдумал, к чьей стороне примкнуть: к ревнителям ли старины или к Никите

Ивановичу Романову, Ордын-Нащокину, Ртищеву и другим поборникам новшеств, и решил, что силы — на стороне преобразователей.

Больше всего Ваську страшило, что Никон может добиться патриаршего стола. Он не сомневался в том, что все будет тогда кончено. Строптивый "мордовский сын" не допустит, чтобы кто-либо делил с ним власть и влияние на царя.

Прозорливец старался быть почаще подле Алексея, вмешивался в каждую мелочь, пугал Алексея, по ночам рассказывал о злых кознях Никона и сношениях его с иноземцами. Государь давал обетование порвать с митрополитом, клялся в любви своей к Ваське, но продолжал действовать так, как хотели того ближние бояре и Никон.

В утро, когда митрополит явился к царю, Босой ушел из Кремля. Царь встретил Никона у двери соборной палаты и, дружелюбно улыбаясь, подошел под благословение.

— Не тебе от меня благословением благословляться, но мне вместно молить заступничества твоего перед Господом, — льстиво поклонился митрополит, но все же возложил руки на голову государя.

Ближние выстроились вдоль стены, у брусяного взруба. Усевшись в дубовое кресло, украшенное двуглавым орлом, царь милостиво указал ближним на лавку.

Никон любопытно огляделся и, отставив палец, пересчитал окна в нижней части стены.

— Яко двенадесят колен Израилевых, и двенадесят окон в соборной твоей, государь, — одобряюще покачал он головой и перекрестился.

Алексей удивленно оттопырил губы.

— А мне и невдомек сие.

— Сии же верху стены три окна, — продолжал Никон наставнически, — суть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый.

Лица ближних засветились восхищением перед мудрым толкованием митрополита.

— Доподлинно, мудр ты, и во всякой вещи знаешь доброе толкование, — похвалил государь.

Нащокин, пользуясь случаем, приподнялся с лавки.

— Мудр и праведен митрополит и несть мужа на Руси, кой блюл бы так ревниво благодать Христову, как он.

Густые брови Никона встревоженно насупились.

— Превыше и умственнее меня Иосиф, патриарх московский.

Никита Иванович фыркнул в кулак.

— Превыше главою, а разум, сдается, давно в вине утопил.

Алексей погрозился дядьке.

— Грех над володыками насмехаться, Никитушка!

Князь, подражая старикам, зашамкал с ужимками:

— Стар я… Токмо закину ноженьку на стол патриарший, а остатняя ноженька в могилу тянет. — И, неожиданно резко поднявшись, ткнул рукой в сторону Никона:

— Вот тебе, государь и племенник мой, истинный патриарх!

Голоса крепли, речи смелели, переходили в горячие споры. Только князь Львов угрюмо молчал и безостановочно барабанил пальцами по переплету окна. Но под конец он не выдержал:

— Покажи милость, царь, отпусти от себя.

— Аль не по мысли тебе беседы наши? — скривил губы царь.

Львов с нескрываемой ненавистью оглядел с головы до ног митрополита.

— А ведомо ли тебе, владыко, что, не учась премудростям латинским и греческим, Зосима и Савватий, по местному чину, угодили Богу и совершили многая преславная чудеса?… А и митрополиты Петр, Иона и Филипп, опричь часослова, псалтиря, октоиха да апостола ничего не читавшие, такожде преславно угодили Господу.

Он забылся и, несмотря на присутствие государя, противно чину,

многозначительно поднял руку. Его глаза, точно два серых мышонка, рассерженно бегали из стороны в сторону, как бы норовя выпрыгнуть из раскосых и узеньких своих норок.

— Уши попридержи, — прервал его Никита Иванович, — ишь, с кожею на челе, словно бы в лихоманке, трясутся.

Царь не выдержал и расхохотался.

— Не внемли ему, Симеон! Уж такой он уродился потешный. Сказывай, не серчай!

— Нечего сказывать, — буркнул князь и отошел, сопя, к двери.

— А нечего, митрополита послушаем, — повернулся Алексей к Никону.

— Короток сказ мой, царь-государь, — ответил Никон. — Не гнушался бы Симеон Петрович мудрых советников-книг, ведал бы, что давно зреет нужда великая вернуться Руси к тому целительному источнику, откель обрела она веру Христову. Ибо великие потребы церковные лежат в обрядах. А наши учителя, по темноте своей, те обряды по-своему повели да тем изрядное допустили искажение в книгах. — Он перекрестился с глубокою верою и твердым, не допускающим возражения голосом, прогудел: — Настал час, в кой повелевает Господь исправить веру, к обрядам чистым и непорочным греческим повернув ее сызнов.

— Чуешь, Симеон? — спросил Алексей.

Львов взялся за ручку двери.

— Освободи, государь!… Не можно мне по роду-отечеству, с мордовскими людишками на одной лавке сидючи, беседу беседовать. Привычны бо мы от дедов наших не глаголом, но батогами внушать смердам, что добро, а что есть лихо.

Алексей освирепел.,

— Прочь!… С очей наших прочь!

* * *

Янина стала реже бывать в Кремле, так как благоволившая к ней вначале царевна заметно изменила свои отношения к худшему. Но

полонянка не особенно кручинилась. С тех пор, как Корепин, по челобитной постельничего, был отдан ей в холопы, она отдалась новому, захватившему ее целиком, делу: сам польский посол через близких своих одобрил затеи Янины и посулил выдать ей большую награду, если она сумеет связаться с смутьянами и с разбойными российскими ватагами, чтобы должным образом влиять на них.

Тадеуш, почуяв в Савинке соперника, возненавидел его с первого дня и старался ни на минуту не оставлять его наедине с Яниной. Она пригрозила было выслать дворецкого в Арзамасское имение господаря, но Тадеуш только нагло расхохотался в ответ и больно шлепнул ее по спине — нарочито громко, чтоб слышно было в сенях, объявил:

— Я в Арзамас, а ты на дыбу, красавица, коль не любо тебе в языках у короля нашего хаживать!

— Примолкни! — зажала ему рукой рот Янина. — Ополоумел? — и обиженно отошла к оконцу: — Я от чистой души к нему, а он сразу же и браниться!

— А от чистой души, и мы не из свиней русских. Добро ведаем, как с панночками держать молвь достойную, — расшаркался Тадеуш.

Поняв, что Янина испугалась его угроз, он с каждым днем стал распускаться все более и более. Он издевался над полькой, вымогал у нее деньги и золото, заставлял по ночам приходить к нему в чулан и дошел до того, что по малейшему поводу избивал ее чуть ли не на глазах у челяди.

Все драгоценности Тадеуш сносил в Басманную слободу к своей возлюбленной. Он сам рассказывал об этом полонянке и хвастал, что скоро надежные люди помогут ему уйти за рубеж.

Это вначале обрадовало Янину — она даже предложила ему помощь.

— Погодишь, не таково просто от нас избавиться, — ответил Тадеуш, ехидно ухмыляясь, и Янина поняла, что дворецкий никогда

не уедет, а будет до последней возможности держать ее в своих руках.

Однажды ночью, пользуясь отсутствием Федора, она сама пришла к Тадеушу.

— Отдыхаешь?

— А ты допреж того, как войти, на колени бы стала да лбом бы об дверь стукнулась.

— Пожелаешь, не токмо стукнусь, расшибусь… Токмо об едином кручина моя…

— Чего еще, токмо?

— Токмо не выдай меня, — шепнула Янина и, захлебываясь, упала к нему на грудь: — Покажи милость, пожалуй в господареву опочивальню. Не гоже тебе, соколу ясному, в каморе лежать!

Удивленный Тадеуш недоверчиво отстранился.

— Уж не козни ли замышляешь?

Она воздела к небесам руки.

Выслушав поток обетовании, произнесенных на чисто польском языке, дворецкий сдался. В опочивальне они уселись за круглым столиком подле окна.

— Аи попотчую я коханого своего! — похвалилась Янина, доставая из короба бутылку заморского вина.

Тадеуш выхватил из ее рук бутылку и подозрительно оглядел сургуч. Убедившись, что все в порядке, он сам откупорил бутылку.

— На добро здоровье, пан Тадеуш! — поклонилась Янина и первая пригубила чарку.

Когда дворецкий поднес ко рту кубок, она обвилась рукой вокруг его шеи и жарко поцеловала в щеку.

— Покажи милость, дай испить из кубка твоего, хоть единый глоточек.

Тадеуш опорожнил почти весь кубок и милостиво передал его полонянке.

Янина поднесла ему свою чарку.

— Гоже ли вино?

— Гоже.

— Так и пей на добро здоровье.

Он выпил чарку и поднялся.

— Нешто полежать маненько?

— Твоя воля, пан, — смиренно вымолвила Янина и растегнула кофточку.

Тадеуш сделал шаг к постели и вдруг схватился рукою за грудь.

— Эко хмельное вино!

— А ты полежи… полежи, пан мой ласковый, — просительно говорила Янина и лицо ее перекосилось в звериной усмешке. — Показал бы милость, хоть на малый час полюбил бы меня!

Страшная догадка помутила рассудок Тадеуша.

— Ты пошто смеешься так?… Пошто глазеешь так на меня? Или зельем меня опоила?

От каменеющих его ног к животу и груди тяжело полз смертельный холод… Жуткая усмешка, полная издевки, не сходила с лица полонянки.

— Полюби меня хоть на малый час допреж того, как отправишься в приказ да об Янинке обскажешь дьякам!

Тадеуш замахнулся бутылкой, но тут же немеющие пальцы выронили ее.

— Змея! Зм…мея под…кол…одная!

— Жалуй!… Жалуй же, пан мой коханый! — хохотала Янина. — Не то, как поволокут тебя в преисподнюю, не поспеешь!

Дворецкий сделал последнее усилие, чтобы устоять на ногах, и замертво рухнул на постель.

— Добрый путь, пан, — склонилась над ним женщина.

Убедившись, что дворецкий мертв, она спокойно убрала со стола чарки, вытерла ковриком пролитое на пол вино, выволокла труп в сени и побежала в каморку, отведенную для Корепина.

Савинка сладко похрапывал, разметавшись на войлоке, Матовые

лучи полумесяца чуть серебрили его голову, ложились на запрокинутое лицо призрачной, тающей кисеей.

Янина провела рукой по груди холопа.

— Боязно мне… Чуешь, Савинка?

Корепин полураскрыл губы и радостно улыбнулся.

— Ты не бойся, Танюша… Иди, да иди же ко мне, не бойся…

Услышав незнакомое имя, полонянка злобно ткнула Савинку кулаком.

— Восстань!… Токмо бы дрыхнуть им, псам.

Савинка открыл глаза и, увидев перед собой польку, вскочил.

— Аль утро пришло?

— Кое там утро, — заломила руки полонянка, — лихо пришло, а не утро! Дворецкий без живота в сенях лежит.

Она выбежала на двор и громким криком подняла на нога всю усадьбу.

Приведенные по ее приказу поп и ведун весь остаток ночи тщетно читали над покойником молитвы и заклинания. Янина была вне себя. Она сама окропила Тадеуша святой водой, причитала над ним и умоляла людей спасти "верного господарева хлупа". Однако никакие заговоры не помогли. Ведуну и священнику пришлось покориться судьбе. Сунув за пазуху серебро, полученное за труды, они простились с Яниной и, уходя, смиренно утешили ее.

— Что Богом положено, того не одюжить людишкам.

Полонянка два дня держала строгий пост и никого не пускала к себе, кроме Федора и нового дворецкого — Савинки.

— Добрый холоп был, пуще живота любил тебя, господарь, — неутешно причитала Янина. — А и словно чуяла я беду. Среди ночи пробудилась. Выхожу, ан грех какой… лежит… лежжжит!

На третий день Тадеуша похоронили, справили по нем богатые поминки, и жизнь в усадьбе Ртищева потекла своим чередом.

* * *

Как— то в праздник к Федору пришел в гости коломенский

епископ Павел.

— Слыхивал я, женка, будто ты, православную веру приняв, твердо блюдешь уставы древлие, — обратился он к Янине, благословив ее.

Ртищев трусливо выглянул в дверь.

— Страха мирского страшишься, — пожурил его Павел и печально покачал головой. — В стране христианской про Христа не можно стало сказывать без опаски… Вре-ме-на!

Ртищев развел руками и уставился на образа.

— Измаялся я в думках, владыко. Покель Никона слышу, сдается, будто у Никона истина. А с ревнителями древлего благочестия побеседую, и будто истина истинная — у них.

Чтобы избежать пугавшего его разговора, он вдруг засуетился.

— Батюшка! Да мне срок к государю идти!

И поклонился в пояс епископу.

— Не взыщи, владыко, Нинушка тут тебя попотчует, а я пойду.

В трапезной прислуживал Корепин. Павел заметил, с каким усердием слушает его речи холоп, и торжественно изрек:

— А и апостолы были не горазды в граматичном учении, но познали Христа и с великою славою посеяли на земле всехвальное учение его. Дерзай же, чадо мое, борись за древлее благочестие, и будешь ты мужем, достойным вышних селений Господних!

Савинка отвесил земной поклон и поцеловал край епископской рясы. Перед расставаньем епископ взял обет с него и с Янины бороться с Никоном, погубившим веру Христову и, благословив их, ушел, довольный собой.

Весь остаток дня полонянка провела с Корепиным в угловом терему. Савинку поразила начитанность польки и знакомство ее с жизнью "еуропейцев". Он забрасывал ее бесконечными вопросами и на все получал обстоятельные и точные ответы. Однако, когда полонянка предложила ему учиться по-латыни, "чтобы свободиться от свиного российского духу и быть подобным „еуропейцу“,

Корепин, задетый за живое, поднялся с лавки и шагнул к двери.

— Российские людишки хоть и темны, да дух человечий имут, а не свиной! То от лютой жизни стали на себя непохожи людишки!

Янина восхищенно притянула к себе дворецкого.

— Да нешто в хулу я?… Тем и любы мне молодцы, кои не покоряются, но противоборствуют, как ты в соборе противоборствовал, обидам да господаревым кривдам.

Она сдавила руками виски и понурилась.

— И сама-то я, ох, нахлебалась кручинушки!

Разжалобившийся Савинка дружелюбно обнял ее. Янина тесно прижалась к нему и смолкла.

Приближался вечер. По небу бродили стада свинцовых туч. Терем тонул в мягком, чуть колеблющемся, полусумраке. В пазах бревенчатых стен потрескивали, точно баюкая притомившийся день, невидимые сверчки. Из щелки подполья подозрительно высунулся мышонок, поглядел на мигающий глазок лампады, скользнул неслышно к красному углу и растаял в палевых складках густеющей тени.

Полонянка вложила свою руку в руку дворецкого и замурлыкала какую-то песенку. "Токмо бы приворожить тебя, молодца, — думала она в то же время, — токмо бы отведал ты ласки моей". Ее воображение разыгрывалось и рисовало заманчивые картины будущего. Перед затуманенным взором вставали объятые огнем восстаний российские города, заброшенные нивы и пастбища, трупы, заполонившие дороги, бегущие в страхе перед гордою шляхетскою ратью царевы полки и впереди рати — король, на белом коне скачущий в Кремль. Увлекаясь, она трепетно тянулась навстречу видению. "То я, круль Казимир! То я уготовала тебе дорогу к столу Московскому. Я!…"

ГЛАВА XVIII

Добившись патриаршего стола, Никон еще ревностней принялся за

исправление церковных книг.

Низшее духовенство, смотревшее вначале сквозь пальцы на затеи патриарха, встретившись лицом к лицу с новшествами, подняло бурю негодования. И в самом деле — большинству священников, не знавших грамоты и научившихся службе по слуху, было над чем негодовать, так как после исправления книг им пришлось бы либо переучиваться вновь, либо расстричься.

Первыми дали знать о себе монахи Соловецкого монастыря, отправившие на Москву послов для объяснения с Никоном.

Патриарх продержал послов на своем дворе три дня, не допуская их к себе и запретив келарю выдавать им прокорм. Возмущенные монахи решили идти с челобитной к царю. Но, едва они собрались покинуть подворье, их окружили вооруженные послушники и, загнав в амбар, жестоко избили.

На четвертый день Никон сжалился над послами и приказал вывести их на двор.

— Печалуетесь, отцы-иеромонахи? — спросил он насмешливо и замахнулся вдруг посохом:— На колени, еретики!

Послы, не сдерживая гнева, вплотную обступили крыльцо.

— Не в унижение, а в честь доселе нам было кланятися московскому патриарху. Токмо и патриархи встречали нас допреж не дрекольем, а благословением да хлеб-солью!

Никон поманил к себе стражу и спокойным голосом объявил послам:

— Либо на колени, либо под батоги. Не повелеваю, но даю вам вольную волю самим решити.

Поняв, что иного исхода нет, выборные, скрепя сердце, опустились на колени.

— Печалуйтесь, покель досуг мне слушати вас, — молвил Никон.

Монахи о чем-то зашептались между собой.

— Не краше ли и не починать? — уже громче, так, чтобы дошло до Никона, произнес один из послов.

— А пришли, так выкладывай, брат Иннокентий, — ответил другой. — Не по своему делу прибыли на Москву, а ради для всей церкви страждущей.

Патриарх нетерпеливо передернул плечами.

— Либо печалуйтесь, а либо — вон!

Иннокентий вздохнул, провел двумя пальцами снизу вверх по ястребиному своему носу и, нехотя перекрестившись, поднялся с колен.

— Стар я и немощен. Не взыщи. Не можно мне на коленях стояти.

— Добро! Сказывай, стоючи, — разрешил патриарх.

— А сказ невелик наш тебе, святейший… Токмо внемли, не злобствуя, но с усердием, патриарха достойным.

Никон прищурился и сложил руки на животе.

— То ли с челобитного ко мне вы пожаловали, то ли поущать меня вздумали!

Иннокентий выпрямил сутулую спину и ударил себя в грудь кулаком.

— А будет воля Господня, и от поущения не отречемся! — крикнул он дерзко в лицо патриарху. — А покель внемли!… А которые мы священницы и диаконы маломочны и грамоте не навычены, то новым книгам нам колико не учитца, а не навыкнуть.

Патриарх желчно усмехнулся.

— То-то вы и привержены к старине, что червю слепому свет Божий пуще лютые огни!… Не сдается ли вам, отцы соловецкие, что у сего иеромонаха смиренного замест главы — колпак скомороший на ослиное копыто посажен?

Взбешенные издевательствами, монахи вскочили с колен.

— Будет! Не дано тебе над духовными мужами смеятися. Самому царю челом ударим на богохульника!

— Гоните их в шею! — крикнул Никон и, сбросив с крыльца Иннокентия, скрылся в покоях.

Прямо с патриаршего подворья послы отправились к епископу Павлу Коломенскому.

По изможденным лицам гостей и потрепанному их виду Павел понял, какой прием оказал им Никон. Выслушав монахов, он наскоро покормил их и приказал собираться к царю.

Послы растерянно переглянулись.

— Возможно ль в рясах, изодранных послушниками патриаршими, перед царевы очи предстать?

— Возможно! — злобно ответил Павел. — Пущай поглазеет государь православный, како встречают на Москве учителей и наставников христианских.

Алексей был в Думе, когда ему доложили о приходе монахов. Робко оглянувшись на Никиту Ивановича и Морозова, он встал с кресла и перекрестился.

— И все-то не так, как ищет сердце наше! Все-то смута и свара серед людишек наших.

Никита Иванович кивнул стоявшему у двери дьяку:

— Веди их!

Запрокинув величественно голову и чванно поджав губы, Павел первым вошел в Думу. За ним, на четвереньках, усердно колотясь лбами о проплеванный пол, вползли монахи.

Ордын— Нащокин преградил дорогу епископу.

— Иль не гнется спина, что дерзаешь не поклониться государю всея Руси?

Послы испуганно насторожились, готовые при первом окрике царевых советников броситься наутек. Но Павел, оттолкнув Нащокина, подошел вплотную к царю.

— По твоему ли соизволению, государь, стали ныне промеж тобою и епископами православными человеки мирские?

Алексей покраснел и потупился.

— Любы нам все наши сиротины, — расплывчато ответил он.

— Все ли? — ткнул епископ посохом в сторону Ртищева. — А

либо токмо те богомерзостные, кои навычены еллинским книгам да прочей ереси?… Все ли, а либо любезней сердцу твоему вороны, гнездящиеся при Андреевском монастыре?

Федор попытался вступить в пререкания, но, встретившись со взглядом епископа, растерялся и махнул безнадежно рукой.

Медленно раскачиваясь у окна, князь Никита вполголоса напевал иноземную песенку.

Царь предложил Павлу присесть.

Епископ несколько успокоился и уж тише продолжал:

— Ведомо ли тебе, государь, что верующий ежечас подвержен поддаться диаволу и впасть в богомерзкую ересь? Иль негоже стали глаголы премудрые ныне: люби простоту паче мудрости, не изыскуй того, что выше тебя, а какое дано тебе от Бога учение, то и держи.

Алексей неопределенно покачал головой и поочередно поглядел и на епископа, и на сторонников новшества, и на поборников старины.

Полдня ушло на страстные споры о Никоне, о его преобразовательских деяниях. Наконец, Павел, охрипший от крика, покинул Думу, так ни до чего и не договорившись с царем.

На улице епископа встретила толпа единомышленников.

— Зрите, христиане, како творят ныне с монахи на патриаршем дворе! — завопил Иннокентий, потрясая полами изорванной рясы. — Три дни морили нас гладом еретики! Три дни потчевали нас батожьем и кнутьем!

Павла окружили ученики Андреевского монастыря — Голосов, Засецкий и Алябьев.

— Очисти, владыко, от ереси книжной! — заломили они в отчаянии руки. — Избави нас от злых козней Ртищева и Нащокина.

Епископ тотчас же приступил к очистительной молитве. Толпа благоговейно опустилась на колени.

Получив отпуск, ученики Андреевского монастыря поклонились в

пояс Павлу и возбужденно обратились к толпе:

— Ныне нас очистил владыко, а кто порукой тому, что завтра нас да иных христиан сызнов не погонят поганиться ересями? А не быть на Москве гнезду вельзевулову? Огнем спалить тое гнездо!

— Огнем спалить! — подхватила угрожающе улица.

— Да и пепел развеять!

Невесть откуда в руках людей появилось дреколье, ножи и камни. Толпа, предводительствуемая монахами, хлынула в сторону Андреевского монастыря.

В Кремль, нещадно нахлестывая нагайкой взмыленного коня, мчался окольничий.

— Бунт! — молнией пролетело по всем уголкам Москвы и поразило громовым раскатом палаты царя.

Алексей, выслушав окольничего, бессильно повалился на лавку.

— Вот тебе и философия на европейский лад! Вот тебе и исправление богослужебных книг!

Рокот толпы долетел и до усадьбы постельничего. Савинка, узнав, в чем дело, бросился было на улицу, но у самого крыльца его остановила Янина.

— Куда?

— Аль оглохла, не чуешь разве, как загомонили людишки?

— Не ходи! Не срок тебе дьяков дразнить!… И то гневается царь на нашего господаря, — умоляюще заговорила Янина и, неожиданно загоревшись злобой, погрозилась в пространство:— Будет час, сама я впереди черных людишек пойду великою ратью противу царевых воров!

Где— то ухнул пищальный залп.

Корепин распахнул дверь и вырвался из рук вцепившейся в него польки.

— Пусти!

— Ан не пущу! — властно крикнула Янина. — Не пущу зря помирать! То не на радости, а на кручины черным людишкам.

Она догнала его у ворот и загородила дорогу.

— А меня не слушаешь, послушайся Танина гласу!

Савинка недоуменно остановился.

— Нешто ты про Таню ведаешь?

— Коли сказываю, выходит, ведаю. А уйдешь — не зреть тебе боле ни воли, ни девки!

Пользуясь замешательством Корепина, она увела его в хоромы. Савинка сел на лавку и закрыл руками лицо.

— Серчаешь? — тихо, упавшим голосом, спросила полонянка.

— Уйди! — неприязненно передернулся Корепин. — Не серчаю, а, одначе, уйди.

Но полька не послушалась, присела рядом с ним. Она долго с горячностью доказывала Савинке, что не должен он рисковать понапрасну и под конец таинственным шёпотом рассказала ему о людях, которые исподволь готовят восстание во всей стране.

— Кто сии люди? — сразу загорелся Корепин.

— Пообживемся с тобой, все обскажу. Тайну сию не можно мне, не спросясь у атамана нашего, ни единому человеку открыть.

Она помолчала и так поглядела на дворецкого, будто хотела проникнуть в самые сокровенные его помыслы.

— Даешь ли обетование верой и правдой служити людишкам страждущим?

Корепин вскочил с лавки и клятвенно поднял руку.

— Пущай душа моя отойдет в геенну огненную, коли помыслю токмо Иуде сподобиться!

— А коли так, — улыбнулась Янина, — для началу испытанье тебе. Держи!

Достав из-под кофточки запечатанную сургучом цидулу, она сунула ее за пазуху ему и принялась подробно объяснять, куда нужно отнести бумагу.

— Гоже ли? — усомнился Савинка. — Как я перед людьми тому ляху цидулу отдам?… А ненароком ошибка выйдет, да языка замест

своего приму человека?

Янина снова во всех подробностях описала ему внешность поляка и перекрестила его на дорогу.

— Да благословит тебя Бог на правое дело. А повыгонит царь послов Хмельницкого из Москвы, как погнал Вешняка, в те поры все и почнется. Поднимется в те поры казачество, соединится с холопями нашими и великою ратью пойдет на царевых воров.

Дворецкий невольно залюбовался Яниной. "Прямо тебе ни дать, ни взять матерь Божья, что на фряжских лубках", — подумал он умиленно и чуть коснулся ее руки.

— Ну, я пойду.

— Иди, мой коханый, — ласково ответила Янина и, точно покорившись горькой судьбе, прибавила:— А оттель к Тане зайди… Поди, истомилась без тебя, горемычная. Колико время на воле ты, а по блажи господаря ни единожды со двора не хаживал никуда.

В воротах Корепин встретился со стариком богомольцем, частым гостем Янины, и почтительно поклонился старцу.

— Не к нам ли ковыляешь, человек Божий?

— К вам, чадушко, к вам, — едва внятно просипел богомолец и зябко натянул на уши ворот тулупа. — На дворе благорастворение воздухов, а мне все студено, голубок… Видно, время в могиле погреться.

Янина, увидев гостя через окно, выбежала ему навстречу. Старец остановился посередине двора и, широко расставив руки, зашатался из стороны в сторону. К нему на помощь подскочил холоп.

— Аль ноженьки не носят, молитвенничек?

— Стар я стал, немощен. Ростом да видимостью дуб ядреный, а в нутро поглазеть — опричь дупла да плесени, ни чего не засталось.

С огромным трудом он подошел к крыльцу и низко поклонился Янине.

— Спаси Боже рабу Божию, Нину!

— Гряди с миром, старче, в нашу обитель.

В каморке, примыкавшей к опочивальне Федора, гость, покряхтывая и творя молитву, уселся на лавку.

Янина выглянула в дверь. Холоп, проводивший богомольца до порога опочивальни, вытянулся перед полонянкой.

— Мне идти, а либо занадоблюсь?

Полька звонко ударила его по лицу.

— Колико раз я наказывала не поганить духом смердящим хором! Коли занадобится, неужто не кликну!

Старец покачал головой и хихикнул. "А и лукава, блудная тварь! Ей бы не во образе по земле шествовать, а змием на брюхе ползать".

Обойдя хоромы и убедившись, что никого нет, Янина закрыла на засов входную дверь и вернулась в каморку.

— Сбрось ты, Василий, тулуп свой да в сени снеси. Вся каморка смердит.

Старец зажал ей ладонью рот.

— Ополоумела? Старцем величай, а имени не реки. Не ровен час, учует кто.

Полька уверенно тряхнула кудрями.

— Опричь нас да мышей во всех хороминах духа нету живого.

* * *

Корепин встретился с поляком в тайной корчме, и, обменявшись с ним цидулами, тотчас же ушел.

По дороге к Тане он встретил Григория, ковылявшего в церковь.

— А девка-то вся вышла, — собрал гончар желтые губы в сочувственную улыбку. — На деревню, милок, подалась, подкормиться маненько.

На пригорке показалась приземистая фигура приходского священника. Заметив его со звонницы, пономарь ударил во все колокола, и Григорий, сняв шапку, набожно перекрестившись, пошел своей дорогой.

Корепин неохотно поплелся домой. У ворот господарской усадьбы

холопы предупредили его, что Янина заперла входную дверь и не велела никому подходить близко к хоромам. Савинка обошел усадьбу и, выбрав местечко поудобней, прилег на траву отдохнуть.

Время шло, а старец, очевидно, не собирался уходить из усадьбы. "И об чем толковать без краю с человечишком древним?" — недовольно думал дворецкий, ежась от предвечерней прохлады. Он подождал еще немного и решил пробраться в свою каморку. Чтобы не тревожить Янину, он отволочил оконце в чулане и неслышно пробрался в сени. Из опочивальни слышался сдержанный голос полонянки. Савинка невольно остановился и прислушался.

— А посол нашего короля сулит пожаловать тебя тремя тыщами злотых да крестом изумрудным, ежели ты подобьешь царя выгнать вон из Москвы послов гетманских — Кондратия Бырляя и Мужиловского Силуана.

"Эко, глаголы какие со богомольцем", — удивился Корепин и подкрался к двери каморки. Старец, должно быть, в сильном возбуждении, тяжело шагал по каморке.

— Выгони, попытайся, коли нынче вся сила у Никона… Нешто слыхано, чтобы я, первый советник царев, не хаживал боле без дозволения к государю? Да об чем толковать!… Всюду языки за мной шествуют. К Федору не можно стало хаживать в своем образе.

Савинка припал ухом к щели.

Шаги стихли. Старец зевнул и, должно быть, уселся — в каморке скрипнула лавка.

— А кичатся послы Хмельницкого тем,-донесся до слуха Савинки его хриплый голос, — что-де, после того, как казаки разбили ваших ляхов на Буге у Батоги, сам турский султан и хан крымский кличут казачество себе в подданство да сулят за то богатые выгоды и милости.

Голос падал, переходил в невнятный шелест… Затем, после томительно-долгого молчания, Савинка услышал наконец голос

Янины.

— А коли лихо учуем, уйдем за рубеж. Токмо бы допреж того добиться, чтобы воров гетмановых из Москвы вон погнали.

Богомолец присвистнул.

— Погнать-то, авось, и погонят, да еще недостатно сего, чтобы Сигизмунду на стол сести Московский.

У Корепина помутилось в глазах: "Что же сие, Господи Боже! Да то ж не печальники холопьи, а языки польского короля!" — Он торопливо отполз к оконцу и, выпрыгнув на двор, притаился в кустарнике.

Вскоре Василий ушел из усадьбы. Болезненно перебирая ногами, часто останавливаясь, чтобы перевести дух, он направился к роще. Савинка неотступно шагал за ним. У рощи старец остановился, пристально, огляделся по сторонам, и, не заметив припавшего к земле Корепина, бодрой походкой здорового молодого человека пошел к сосняку

Дворецкий полз за ним на животе.

— Да тож Васька Босой! — всплеснул он руками, когда старец снял накладную бороду и копну седых волос с головы.

Не раздумывая, гонимый чувством негодования, Корепин прямым путем отправился в Тайный Приказ.

ГЛАВА XIX

Федор изогнулся, до отказа запрокинул подрагивающую голову и с таким ужасом уставился на рот дьяка, точно исходили оттуда не человеческие слова, а падали всесокрушающие огненные колесницы всех семи Божьих небес

— …А Бырляя Кондратия и Мужиловского Силуана немедля вон. Поелику же невозможно сие через Веди Буки…

Дьяк причмокнул с наслаждением и мягко, как кот на полузадушенную мышь, поглядел на Ртищева.

— Веди-то Василий выходит, а Буки — Босой… Еще толмач с

ляцкого цидулу не перекладывал, а и ляха изловленного не разыскивали, а я слухом учуял: Веди не инако-де, как Васька прозорливец.

И снова уткнулся в бумагу.

— Поелику же невозможно сие через Веди Буки учинить, обворожи поумелей господаря своего. Однако не сейчас, а перегодя, под остатнее время сохранив сие по той пригоде, что умишком трухляв он и дело загубить может…

В цидуле подробно указывалось, что должна предпринять Янина для разрыва Москвы с Украиной и под конец торжественно подтверждалось, что в случае успеха полонная женка будет вывезена в Польшу, в пожалованное ей королем поместье.

— Так-то, Федор Михайлович, — игриво прищелкнул языком дьяк. — А ты еще ухмылку на лике держал, когда я впервой о богомерзостях сих обсказывал.

Постельничий бессмысленно огляделся, подался к двери, но тотчас же вернулся назад.

— Скажи! — заломил он руки, совсем, казалось, готовый упасть на колени перед дьяком. — Христа для, пропятого, скажи…

— Все. Ни вот столько не утаил от тебя. Ведаю, что сказы сказываю не с худородною шельмою, а по делу богопротивному с царевым постельничим совет держу.

— Выходит, все тобою реченное — истина? — с тоской в голосе спросил Федор. — Да сказывай, не щерь рыла ехидной бесовской.

Его охватил звериный гнев. Он подпрыгнул и повис на плече дьяка:

— Мир не видывал еще казни, коей тебя буду казнить, ежели обыщется, что облыжно возвел ты на женку полонную!… Сам перстами своими удушу, а прознаю, за истину ты ратоборствуешь или выслуги ищешь перед государем.

Дьяк легким движением стряхнул с себя тщедушное тело постельничего и повернулся к образу.

— Прости духом смущенного раба твоего, дерзнувшего черное дело противу царя всея Руси потварью обозвать.

Гнев Ртищева рассеялся так же неожиданно, как и возник, уступив место смутному чувству страха.

— Не потварь… Не так уразумел ты меня. А и о том поразмыслил бы, каково душе моей? Ведь тут не токмо грех непрощеный перед государем, тут честь моя… В моих ведь хоромінах то черное дело родилося!

Он опустил голову на руки. Смешно и жалко задвигались еще больше сузившиеся плечики. Дьяк приоткрыл дверь, что-то шепнул стрельцу и окликнул постельничего:

— Сейчас изловленного ляха приволокут. Разыскивать буду…

— Я буду… Я разыскивать буду! — объявил Федор и, когда ввели скованного по рукам и по вые поляка, визгливо крикнул:— Чинить застенок! Калить гвозди железные, дыбу готовить.

Дьяк жестом пригласил Ртищева за собою. В застенке уже возился у огня кат, раскаливающий прутья, щипцы и иглы.

— Что носом водишь? — повернулся дьяк к замершему у входа колоднику. — Аль говядинкой жареной отдает?

Пинком под спину он отбросил поляка к дыбе. Ртищев воздел к небу руки:

— Сподоби мя. Господи Боже сил, со славою послужити царю моему.

И выхватил из огня добела раскаленный железный прут.

* * *

Корепин вернулся домой на рассвете, когда усадьба еще спала. Обменявшись приветствиями со сторожами и узнав, что господарь еще не приезжал, он прошел в свою каморку, не раздеваясь, прилег на охапку сена. Однако, несмотря на все старания, ему не удавалось заснуть. Перед глазами неотступно стоял образ допрашивавшего его дьяка и вызывал тревогу, недобрые предчувствия.

Где— то близко послышались чьи-то крадущиеся шаги. Дворецкий, приподняв голову, уставился в заволоченное оконце "Бежать,- родилось в мозгу и заставило вскочить на ноги. — Бежать, покель вдругойцы не попал к дьяку на расспрос".

В чуть приоткрытую дверь просунулась голова Янины. Савинка сразу притих и, почувствовав острую неловкость, по-детски, виновато потупился.

Полонная женка по-своему поняла его

— Уж и не чаяла я узреть тебя, — прошептала она, входя в каморку. — То ли вольно тебе с душою бабьею, словно с тварью бессловесною тешиться?

Корепин еще больше смутился. В словах полонянки ему почудился намек. Он искоса взглянул на женщину и вытащил из-за пазухи цидулу.

Янина словно неохотно приняла бумагу, спрятала у себя на груди и укоризненно вздохнула.

— Лукавишь ты, Савинка… Ведаешь, что не о цидуле ночку кручинилась, а об том тугой изошла, что с Таней милуясь, меня не позабыл ли.

У дворецкого отлегло от сердца.

— А об том не тужи, — сказал он. — Быль молодцу не в укор. Где бы орел ни летывал, лишь бы ко гнезду, к орлице обернулся целехонек… Про Таню же сказ не велик: на деревню ушла.

Янина подозрительно подняла брови.

— На деревню? А ты же где ночь ночевал?

Сообразив, что сказал неладное, Савинка постарался выпутаться и перевести разговор на другое.

— С родителем ее, с Григорием-гончаром, про долю нашу все сказы держал. Покель то да се — и ночка приспела. А ночью, да при цидуле эдакой, сама разумеешь, какое тут странствие. Неровен час, на дозор набредешь… Вот и застался…

Прижавшись щекой к теплому, пахнущему иноземными

благовониями плечу женщины, он сладко зевнул.

— Отдохнуть бы маненько.

Янина заботливо взбила сено, помогла Савинке улечься и, трижды перекрестив его, ушла.

У Корепина смежались глаза. Мысли работали спокойней. Пробудившееся было чувство раскаяния в содеянном сменялось вновь — как и в первую минуту, когда он понял, что связался не с "ратоборствующими за убогих черных людишек", а с польскими языками, замыслившими погубить землю родную, — сознанием правоты своего поступка. Даже образ ехидно щурящегося дьяка уже не пугал. "Не можно верить тому, что меня, российского человека, за добро железами отдарят", — подумал он и потянулся всем телом, уютнее ткнулся лицом в душистое сено.

Откуда— то издалека доносились неясные шумы. А может быть, и не шумы, а песенка дремы, такая же тихая и ласковая, как глаза Тани… И доподлинно, вон идет она, кивает. Улыбается мягкой своей улыбкой.

— Танюша. А, Таня… То я кличу тебя, Савинка…

Он сделал движение рукой, чтобы обнять склонившуюся над ним девушку, и заснул.

А шумы не утихали. У растворенных настежь ворот суетилась челядь, бегала вокруг топтана, встречая господаря.

Широко перекрестившись, Федор Михайлович засеменил к фигурному крыльцу хоромин.

В сенях его встретила Янина:

— Дай Бог здравия хозяину доброму.

Она поклонилась в пояс и, не дождавшись обычного ответа, пристально взглянула на господаря. Заставив себя улыбнуться, Ртищев, покачиваясь, прошел в опочивальню. "Не инако, приневолили гнидушку мою хмельного испить, — подумала Янина, уходя к себе. — Авось, хоть с хмеля от челомканья свободит, от ласки своей плюгавой".

Федор Михайлович плотно прикрыл за собой дверь и без сил повалился на постель.

— Аминь. Край остатний! — вырвалось у него почти вслух и острой тоской отозвалось в груди.

Он знал, что никакая сила не может повернуть, остановить всего того, что так неожиданно содеялось в его доме. Да и сам он не мог представить, чтобы измена осталась неразысканной и неотомщенной. Так велось при родителях, при дедах и прадедах. И покроет ли он бесчестием род свой, вступившись за воров, замышляющих противу помазанника Божия? Посмеет ли вступить в противоборство с Богом, заступником царя христианского?… Нет, нет!…

"Нет", — лязгал зубами Ртищев и с наслаждением чувствовал, что закипает в нем, такой нужный в эту минуту, гнев. И он нарочито распалял себя, вызывал в воображении картины, одну ужаснее другой: видел поверженного в прах перед ляцким королем государя и себя в изодранной хламиде перед боярами, и патриарха, предающего его со всеми родичами и потомками анафеме…

О, если бы не в его усадьбе и не через нее, Янину, сотворилось черное дело! Он показал бы всей Руси, как постельничий государев ведет расправу с крамолою и воровскими людьми. Но — она, Янина… его Янина замешана здесь!

Федор широко раскрыл рот, давясь, с огромным усилием, глотнул спертый воздух опочивальни и, собрав все силы свои, бросился к двери.

Янина, заслышав его шаги, гадливо передернулась. "Не миновать, лобызаться с ним, — подумала она и на всякий случай изобразила на лице приветливую улыбку. — Погоди ужо, дай срок, в скоморохи и то не пожалую тебя, когда на Польше жить буду…"

Постояв у двери, Федор нерешительно отступил. Он не верил в себя, боялся, что не устоит перед Яниной и не сумеет выполнить порученное ему. Пуще же всего пугали ее слезы. Что, если теперь,

как и раньше, он размякнет перед этой плачущей маленькой женщиной и вместо того, чтобы убедить ее выдать всех своих споручников, сам станет ее помощником и поможет ей бежать?… Он терялся все больше и больше. На мгновение в мозгу зажигалась страшная мысль: "А что, если уйти, навсегда? Не знать, не чувствовать, не видеть ничего больше. Затянуть кушачок вокруг горла…"

А время не ждало. После обеда надо было ехать с докладом в Кремль к государю. За то, что в своих хороминах он пестовал лютого врага и не догадывался об этом, на него возложено было бремя прознать во что бы то ни стало всю подноготную заговора, обыскать все допряма и тем искупить невольное свое прегрешение.

И Федор решился. Отвесив земной поклон архангелу Михаилу, он откашлялся, одернул на себе кафтан и тяжелым шагом, подражая дьяку, пошел в каморку.

Янина с трудом стряхнула дремоту и расцвела в улыбке:

— Коханый мой!… Недобрый ты мой! Измаялась я всю-то долгую ноченьку, тебя сдожидаючись.

Ртищев отвратил взор, зашептал про себя молитву.

— Аль тяжко с похмелья? — приподнялась на локотке Янина и уже наставительно прибавила:— Неужто не можно откланяться, коли не приемлет душа зелья хмельного?… То-то вот не в меру ты мягок, всех ублажаешь.

— Доподлинно не в меру я мягок, — насупился Федор, — всех ублажаю: и друга, и вора.

Он сдавил пальцами запрыгавший вдруг непослушно колючий свой подбородок и примолк.

Янина уселась на постели, поджав под себя ноги, и ткнула пальцем в ямочку на своей щеке:

— О сем месте хворью хвораю. Исцели…

Ртищев молчал, упорно творя про себя "да воскреснет". Наконец он решился, рванув на себе застежки кафтана, стремительно сунул

за пазуху руку и вытащил скомканную бумагу.

— Чти!

Едва взглянув на цидулу, Янина возмущенно отшвырнула ее от себя.

— Потварь.

Ее глаза горели негодованием, как от непереносимой обиды, от тяжкого незаслуженного оскорбления, а ледяной озноб уже полз по спине, сковывая оконечности, и каждое мгновение грозил ужасом исказить лицо.

Постельничий, позабыв обо всем, зачарованно глядел на Янину. Он никогда еще не видел такой величественной красоты: перед ним стоял новый человек, единым взглядом способный заставить самое солнце преклониться ему.

Не раздумывая, одно только чувствуя — что Янина не виновата, охваченный страстным желанием оправдаться, Федор, захлебываясь, прокричал:

— Всех приведу — и ляха Владислава, и женку ляцкую Леокадию, и Янека-толмача, и Ваську Босого… Пускай все ведают, что в моих хоромінах…,

И вдруг оборвался, перепуганный почерневшим лицом Янины.

— Так вот как, — пропустила она сквозь стиснутые зубы, — по первому же глаголу покаялись, заячьи души… Дыбы испугались российской…

Она кое— как овладела собой и прибавила:

— А коли все передали иуды, веди в тайный приказ. Не тебе над шляхетскою кровью, над панной польскою, надо мною, Яниною, издевою издеваться!

Высоко подняв голову, она встретилась взглядом с постельничим и сразу поняла, что выдала себя. Уничтоженный вид Федора, его обалдевшие глаза, приоткрытый удивленный рот — объяснили ей все. В ней загорелась надежда. Она решила бороться. По углам губ зазмеились едва уловимые извивы улыбки.

— Эвона каково потешилась я над тобою!… А то за веру твою в потварь черную… Да пожалуй же улыбкою!

Но было уже поздно. Ртищеву стало ясно, что Янина сказала правду. Самому ему непонятное спокойствие охватило его.

— Садись, — указал он на лавку подле окна.

Янина послушно присела и через окно взглянула на двор. Вдоль высокого забора разгуливали какие-то незнакомые люди, одетые смердами. Однако по тяжелой их поступи и по тому, как держались они, без труда можно было признать в них стрельцов.

Ртищев присел на край постели.

— Все простил бы тебе, — начал он, — и за соперника, коли прознал бы, и казну ежели бы мою воровскою рукою повыкрала… Все бы простил! Но в хоромінах царева постельничего измену порожденную — николи не прощу!

Он вздернул плечиками и, напыжившись, встал:

— Ни-ко-ли!

Понемногу он увлекся, начинал чувствовать себя, как на уроке с холопями. Но Янина не слушала его — уронив на грудь голову, она думала о своем. Темные тени на лице, отрывистое и тяжкое, как стон, дыхание, глубокие морщины на лбу — отражали невеселые эти думы.

Время близилось к полудню, когда постельничий вспомнил о главной цели своей и приступил к делу.

— А в чем же порука, что ежели я без утайки поведаю, меня помилуют да и за рубеж отпустят? — спросила Янина, выслушав его.

Федор показал рукой в сторону Кремля.

— В том порукой не я, не дьяки, не бояре, а слово государя Алексея Михайловича.

Выхода не было. Янина отлично понимала, что ее ожидает. Запирательство грозило жесточайшими пытками и позорною казнью, полное же признание могло принести облегчение участи, а может

быть, при содействии Федора, и освобождение. "Бывало же так, — насильно старалась убедить себя она, — жаловали же волей покаявшихся"…

И она согласилась на предложение Федора.

* * *

Вот уже третий день, как Янина одна правит усадьбой. Ртищев уехал по царевым делам к оружейникам в Тулу и оставил полонную женку полновластной хозяйкой.

В воскресенье, в обед, к Янине прибыли гости, ляхи и иноземцы из Немецкой слободы.

За столом прислуживал Савинка. Янина, в присутствии челяди, объявила, что с православною верою она приняла и обычаи православные, а потому потчевать будет гостей по-московски.

От трапезной до поварни вытянулся долгий холопий черед. Пошли из рук в руки тяжелые ведра, лохани и блюда. Задымились на резном столе куры во щах да в лапше с лимоном, папорок лебедин под шафранным взваром, утки с огурцами, гуси с пшеном сарацинским, петухи рассольные с имбирем, перепеча крупичатая, пироги с бараниною, кислые с сыром, рассольные, жареные и подовые, блины, караван… А травников, пива ягодного, медов — вишневого, можжевелого, смородинного, черемухового и малинового — да романеи и мушкателя столько выпито было, что челядь и счет потеряла жбанам, корцам и мушермам.

Хотя, наперекор древним обычаям, женщина столом заправляла, а не господарь, гости не кручинились и отменно соединили в себе обычаи Московии со своими, иноземными: потчевались до отвалу и наперебой воспевали достоинства радушной хозяйки.

Вино развязывало языки. Янина предусмотрительно выпроводила холопов и Савинку, а один из гостей вышел в сени и стал там на дозоре.

Тонкий, и бледный, как дымок угасающего кадила, поляк, с серовато-бледными кудрями и выцветшими глазами, пересел с

хозяйкой в угол и передал ей пакет.

— Хоть ты и через меру меня торопила, но все сделано во всяком порядке, — ухмыльнулся он.

Янина, спрятав пакет, подошла к столу.

— Паны шляхтичи, — поклонилась она. — Вместно зараз у нас, серед самых верных людей, совет держать, кому Бырляя извести, часом не удастся сотворить сие Ваське Босому.

— К чему така ласка Бырляю? — спросил кто-то и расхохотался.

— А к тому, что на Украине наши люди пустят молву: "Эвон-де, как послов ваших примолвляют. Коли Бырляя смертию извели, то что уж с рядовым казачеством сотворят?"

Худой высокий поляк прибавил:

— А Мужиловского, как станет ведомо о кончине Бырляя, мы у себя сокроем, будто от напастей москальских. И о том ведомо станет зараз на Украине.

Теснее усевшись, заговорщики принялись за подробное обсуждение дела.

Вскоре пришел переряженный прозорливец.

Янина встретила его с радостью.

— Возвеселись! Не долог час, воссядет король наш на стол Московский.

Василий внимательно оглядел гостей и, признав их, развязно потрепал Янину по спине.

— Три тысячи злотых, добро… А не худо бы его королевскому величеству за то, что без утайки я обсказывал вам, паны шляхтичи, все про Польшу реченное в сокровенных беседах государя со ближние, еще пожаловать меня поместьишком в ляцкой земле.

— Твое за тобой останется, — обнадеживающе улыбнулся седой поляк. — Не запамятует наш король добрых деяний.

Вдруг что-то затрещало в подполье и тотчас же с шумом отскочила к стене крышка западни… Вихрем налетели на гостей

стрельцы и после короткой борьбы перевязали их.

* * *

Янину трижды разыскивали на дыбе. Каждый раз она повторяла одно и тоже:

— Как перед Богом, как перед матерью Божьею, все обсказала. Ничего больше не ведаю.

В последнюю ночь дьяк пришел к ней, торжественный и счастливый.

— Молись Богу, жена. Исполнил государь обетование свое — жалует тебя волею.

Янина с криком рванулась с желез, пытаясь упасть на колени.

— Боже, спаси царя!

Дьяк перекрестился и приблизил лицо свое к сияющему лицу колодницы:

— Токмо допрежь обскажи, кто на Украине в набольших ходит над ляцкими языками.

— Не ведаю!… Разорви душу мою все силы нечистые, ничего не ведаю боле.

В подземелье, осунувшийся, высохший, вошел Федор Михайлович.

— Не таи, — протянул он к Янине руки и, точно слепой, поискал скрюченными пальцами в воздухе, — Обскажи все, себе во спасение и мне перед царем в оправдание.

— Ради для любви былой твоей ко мне, поверь, господарь!… Все, что ведомо было мне, все до пряма обсказала.

Постельничий вдруг окрысился.

— Не смей про любовь поминать! Нету ее, с сердцем вытравил из себя. Змея!

Он замахнулся, будто хотел ударить ее, но рука бессильно упала, коснувшись железа.

— Змея… Вечор еще Янек на дыбе показывал, что ты да Казимир только и ведаете про набольшого на Украине.

— Слухом не слыхивала… Поверь! Слухом не слыхивала!

Кат поднес к груди Янины зажженную свечу.

Ртищев присмирел, отодвинулся и, взглянув на искаженное лицо Янины, приник вдруг головой к стене, забился в рыданиях.

* * *

Было три часа ночи, когда в подземелье, где сидела Янина, снова явился озаренный факелом дьяк.

— А видать, съела ты у Бога теленка, — изрек он с важностью.

Янина, измученная пытками, почти с полным безразличием повернула голову к двери.

— Тебе говорю… Молись. Воля тебе от государя.

Она с ненавистью поглядела на вошедшего.

— Потопил ты в крови человеческой душу живую. Уйди… Или убей. Сразу убей!

— А баба, баба и есть. Ты ее хоть в землю зарой, а язык все будет болтаться да людей бранить. Сказываю — воля и нишкни, покель батога не отведала.

Только тогда поверила своему счастью Янина, когда кат сбил с нее железы.

Дьяк ободряюще взял колодницу за руку.

— Благодари государя, а наипаче Федору Михайловичу в ноженьки поклонись. То он вымолил прощенье тебе.

Он пропустил Янину в дверь. На женку повеяло свежим воздухом, и она неожиданно почувствовала такой прилив сил, что сразу позабыла о всем пережитом, стрелой полетела по узеньким сенцам.

Вдруг она оступилась, разбросала в стороны руки и провалилась в яму.

Дьяк разжег факел.

Янина неподвижно лежала на распластавшемся внизу теле Васьки Босого.

— Добро ли ворам на волюшке? — расхохотался дьяк, хватаясь руками за вздымающийся в хохоте живот.

Упершись руками в грудь Босого, Янина привстала.

— А цар…рево… обе…тов…вание…

— Хороните! — крикнул дьяк.

Каты деловито засучили рукава и, поплевав на руки, принялись зарывать могилу.

ГЛАВА XX

На украинах свирепствовали татарские орды, а внутри Руси все чаще вспыхивали восстания черных людишек, толпами уходивших в леса, к разбойным ватагам.

Царь, придавленный недобрыми вестями, осунулся, перестал тешиться охотой; каждый пустяк раздражал его. Все свои помыслы он направил на то, чтобы в первую очередь расправиться с приверженцами старой веры, которых считал единственными виновниками всех бед.

Алексей не жалел казны для войск, отправлявшихся на подавление бунта, и жертвовал большие суммы на молебствования во всех церквах страны, но ни порох, ни молебны не приносили желанного успокоения. Едва стрельцы рассеивали мятежников в одном конце, бунты вспыхивали в десятках новых мест

Нужно было немедленно найти какой-либо выход, который отвлек бы народ от внутренних распрей и смуты.

Никон, Ртищев, Морозов и другие ближние люди видели спасение в скорейшем присоединении Украины. Их прельщало богатство края, обилие хлебных запасов, плодородие и отвага запорожского войска.

— Да с такими орлами степовыми мы не токмо успокоим разбойных людишек, а и для всей Европы будем словно бы мечом булатным, к ихней вые прилаженным.

Алексей, после долгих колебаний, поддался уговорам советников и разрешил объявить послам Богдана Хмельницкого, Бырляю и Мужиловскому, что государь всея Руси принимает под свою высокую руку запорожское войско с христолюбивой Украиной.

Никон заготовил "великое послание ко всем православным

христианам", в котором печаловался на ляхов, притеснявших казачество, и призывал, забыв распри "восстать всем сиротам государевым на защиту братьев по вере".

Послание очень понравилось государю. Однако он запретил оглашать его до тех пор, пока из Польши не возвратятся князья-бояре Репнин и Волконский с дьяком Алмазом Ивановым.

Бырляя и Мужиловского поселили в Кремле, окружили княжескими почестями. Алексей часто беседовал с ними и сулил великие милости Украине.

— Пожалуем мы казачество полною волею управляться на Украине, как сами восхотят, а ни в чем не станем помехи чинить. Ни добра, ни казны вашей нам не надобно, в нужде подмогнем сами от достатков наших! Токмо имам надежду едину повелит Господь в брань выступить противу басурманы — и вы всем молодечеством с нами выступите

Никон при послах горячо поддерживал государя, оставаясь же наедине с Алексеем, довольно потирал руки, ухмылялся:

— Токмо бы ляхов тех одолеть, в те поры поглазеем, застанется ли Украина вольницей, а либо в полную вотчину твою отойдет.

И оба предавались мечтам о благодатной солнечной стороне, выкладывали в уме, сколько богатых корыстей принесет им великий торг с "богомерзким некрещеным Востоком".

* * *

Московские послы вернулись из Польши ни с чем. Их предложение принять Хмельницкого в подданство по Зборовскому договору и православной веры не теснить было отвергнуто.

Царь сумрачно слушал послов. Им снова овладевали сомнения. Нарушение вечного мира, на которое он недавно решился, показалось вдруг опрометчивым шагом, сулящим неисчислимые бедствия.

Алмаз Иванов, низко согнувшись, читал ответ Польши московскому государю:

— А ежели Хмельницкий булаву положит и не будет гетманом, казаки все оружие перед королем положат и станут просить милосердия, тогда король для царского величества покажет им милость…

— Узрят ужо басурманы казацкое милосердие! — возмущенно воскликнул Ртищев. — Покажем мы им гетманову булаву!

Алексей прикрикнул на него:

— Нишкни!… Покажем!… Особливо ты покажешь, витязь из потешного моего короба.

Дьяк дочитал до того места, в котором указывалось на вину начальных польских людей, нарочито допустивших в своих грамотах пропуски в государевом титуле, и замялся.

— Чти! — приказал Алексей, но вдруг покраснел и опустил голову — Аль не винятся?

Волынский и Репнин заскрежетали зубами.

— Не только не винятся, великий государь, а издевою издеваются!

Молчавший до того Никон вскочил с лавки, гневно пристукнул палицей.

— Доколе же терпети нам, Господи… Не краше ли головами своими помереть, нежели слышати, как помазанника Господня богомерзкие ляхи поносят?

Терем задрожал, наполнился выкриками, руганью, угрозами, и это общее возмущение придало государю бодрости. После недолгих колебаний он решительно поднялся, трижды перекрестясь, чванно подбоченился.

— Волим мы спослать к Богдану Хмельницкому стольника своего, гораздо навыченного в запорожских делах, Ладыженского А и пущай возвестит он гетману и всей Украине христолюбивой о милостях наших, изволил-де принять вас государь царь под свою высокую руку, да не будете ворогам Христа в притчу и поношение. А ратные люди нами-де собираются.

* * *

На Москву со всех концов Руси прибыли выборные от всяких чинов. В Покров день тысяча шестьсот пятьдесят третьего года в Грановитой Палате открылись сидения Собора. У крыльца палаты государь был торжественно встречен Никоном и сербским митрополитом Михаилом. После молебствования Собор приступил к делам. Выборные, стойко превозмогая сон, выслушали долгую речь Репнина о неправдах короля Казимира и пространное слово Никона, густо пересыпанное ссылками на священное писание и апокалипсис, — о том, что для благодеяния Руси нужна война с "богопротивными кичливыми ляхами". После этого царь предложил Собору высказать "без утайки" свои суждения. Выборные помялись, зашептались между собой и нестройным хором ответили:

— А что ты, государь, удумал со ближние, тому и мы не супротивны. Твори, как воля твоя.

Ртищев, испросив благословения у Никона, отвесил земной поклон государю.

— Дозволь молвить, царь.

— Молви, постельничий.

— А во многих грамотах королевских и порубежных городов воевод, — визгливо перечислял Федор, — и кастелянов, и старост, и державцев к воеводам в государевы порубежные города, именования их и титула писаны не по вечному миру, со многими пременениями!…

Он повернулся к царю и бухнулся ему в ноги.

— Не попустят сироты твои издевы над государем своим! Костьми ляжем за честь государеву… Костьми ляжем за русскую землю!

Выборные повскакали с лавок.

— Костьми ляжем за честь государеву! — заревели они, потрясая кулаками и неистово топая ногами, — Ни попустим издевы над государем своим!

Алексей, потупившись, одной рукой поглаживал пышную свою

бороду, а другой — вытирал украдкой проступавшие слезы.

Ртищев весь горел бранным задором. Он, как ошалелый, бегал от царева кресла к лавкам для выборных и кричал, ударяя кулачком в грудь:

— А иные злодеи во многих листах писали с великим бесчестием и укоризной!… А и в книгах их пропечатаны злые бесчестия, и укоризны, и хулы, чего не токмо великим государем христианским, а простому человеку слышати невозможно, и мыслити страшно…

Львов подтолкнул локтем князя Хованского.

— Эк, распинается, шельма. А все, змий лукавый, из-за великого труса, как бы не попасть в опалу, за то, что в хоромах своих свил гнездо языков ляцких с женкою Яниной!

* * *

Москва завихрилась в хмельных перезвонах колоколов, в пирах боярских, в песнях стрелецких отрядов и неистовых перекликах ратников, вещавших народу государеву и Соборную волю:

— Припадем ныне, люди православные, со рыданием и молитвою к Господним стопам! Идет бо ратью царь-государь во славу сиротин на извечных ворогов — ляхов!

К польской слободе, подбиваемые дьяками, двигались толпы бродяг и выпущенных на волю разбойных людишек. Чуя погром, иноземцы побросали дома и убежали с семьями в лес…

Свинцовое небо подернулось багровыми отблесками пожарища.

— Бей басурманов богопротивных во славу Бога живого!

* * *

Ртищев вернулся домой около полуночи. Его удивило обилие всадников, оцепивших усадьбу.

Завидя постельничего, стрелецкий полуголова спрыгнул с коня и почтительно поклонился.

— А изловили наши языки ляха. Да на дыбе сказывал лях тот — дворецкий-де твой не единожды, но многократно хаживал к ляхам с цидулами от схороненной женки Янины.

При упоминании о полонянке у Федора упало сердце.

— Огнем бы спалить усадьбу сию, — воскликнул он, — чтобы не было! Чтобы ничего не засталось! Творите как сами ведаете… Ежели по доскам все хоромины разнесете да с землею сровняете, и на то ни единым дыханием не попечалуюсь.

Хватаясь за стены, он пробрался в опочивальню и, опустившись на четвереньки, крадучись, вполз в каморку.

— Янина! — вырвался из груди его полный смертельной кручины крик. — Солнышко мое красное.

Достав из короба холщовую косыночку, покрывавшую курчавую голову полонянки в тот день, когда, избитая и униженная, впервые пришла она в усадьбу, Федор прижался к ней пылающим лицом.

— Все!… Все, что засталось от лапушки моей ненаглядной.

Ратники перерыли все уголки двора, тщетно разыскивая дворецкого. Но Савинка давно уже шагал по темному лесу, забираясь все дальше, все глубже, в знакомые дебри.

— Здорово, нечисть лесная! — зычно крикнул он, остановившись наконец перед покинутой медвежьей берлогой. — Здорово, лесной государь! Авось, ты сохранишь от государя Московского убогого российского человечишку!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Царь устал от походов. Захватив с собой Ордын-Нащокина и Ртищева, он вернулся на Москву. В Кремле, в самый разгар пира, устроенного в честь победы, Алексей сам подошел к Нащокину и при всех боярах и патриархе Никоне троекратно поцеловал его из щеки в щеку.

— Роду ты невеликого, Афанасий, а на рубеже Ливонии с Литвою такие творил чудеса, что впору поучиться от тебя многим высокородным воеводам российским.

Афанасий Лаврентьевич упал ниц, стукнулся лбом об пол.

— Не умишком своим добро творю, но неизреченною любовью ко государю во всяком деле преуспеваю!

Привстав на колено, он поглядел исподлобья на нахмурившихся бояр.

— А еще преуспеваю по той пригоде, что не кичусь доброму навыкать и от чужих, будь они други мне, а либо вороги.

Трубецкой, Хованский, Голицын, Львов и другие князья вскочили с лавок.

— Так неужто же не побрезгуешь и у басурманов духу еретичного набраться, коли помыслишь, что то добро для крещеной нашей земли?

Князь Никита Иванович вызывающе стал перед Хованским.

— Коли то Руси в лихву, кой же дурень побрезгует?

И, подняв Нащокина, указал ему на место подле государя.

— Ты, Афанасий, ошую, а я одесную Алексей выразительно поглядел на дядьку.

— Ты бы хоть пира для прикусил вострый язык свой

Бояре попятились к двери. Хованский взялся за скобу

— Освободи, государь, от пира такого. Не гоже нам Ордыновы ереси слушати!

Алексей, не ожидавший такого исхода, растерянно огляделся. Его выручил патриарх — стукнув властно палицей об пол, перекрестился и возгласил:

— За пиром упамятовали мы часы отслужить. На колени!

После молитвы государь натруженно опустился в кресло и полузакрыл глаза.

— Садитесь и вы, мои ближние. — вымолвил он, стараясь придать своему голосу побольше мягкости

Бояре, скрепя сердце, заняли свои места

Посидев немного и допив мед, Алексей протяжно зевнул

— А сейчас можно по-доброму со Господом жаловать и по домам.

Оставшись с патриархом. Никитой Ивановичем, Ртищевым и

Нащокиным, государь с улыбкой кивнул на дверь

— Смутят бояре!. Не любо им, что набираетесь вы европейского духу.

Ордын— Нащокин вытер рукавом сухие глаза.

— Особливо я им не люб, государь… Перед всеми людьми за твое государево дело никто так не возненавижен, как я.

* * *

С каждым днем Афанасий Лаврентьевич все больше входил в доверие Алексея. Государев двор исподволь стал заполняться незнатными земляками Нащокина.

Спесивые вельможи, почуяв опасность, повели себя так. словно ничего не замечали, но в то же время ждали случая, чтобы вступить в открытый бой с ненавистным Афанасием Лаврентьевичем. Они попытались привлечь на свою сторону Ртищева, но вскоре отказались от этой затеи, так как Федор откровенно заявил, что потерял всякую охоту заниматься государственностью.

И действительно — постельничий все время свое отдавал наукам. Он то просиживал с утра до ночи за латынью, то ревностно вдруг принимался обучать грамоте челядь свою, то проводил время за страстными спорами с монахами Андреевского монастыря.

Поздно ночью, усталый и разбитый, ложился он в постель, но, оставшись без дела, сразу чувствовал, что охватывает его тревога, ноющая тоска. Закрыв глаза, он старался ни о чем не думать и хоть ненадолго забыться.

Проходили часы. Стрельчатое оконце заволакивали сизые клубы предутреннего тумана, где-то хрипло перекликались петухи — а постельничий все еще беспокойно ворочался под покрывалом, полный тяжелых воспоминаний и безрадостных дум. Ни молитвы, ни заклинания не помогли: "она" не уходила из опочивальни. И чем горячей взывал Ртищев к Богу, тем настойчивей крепло наваждение.

— Ты мой… Ты мой, господарик, — жутко хихикала заживо

похороненная и холодными синими пальцами щекотала перехваченное спазмами горло постельничего. — Ты мой… мой ты!… Господарик!

Федор в ужасе соскальзывал на пол, отползал к красному углу. Янина сдерживала смех. Страшно зияли черные провалы ее глаз. Искривив в жуткую маску лицо, она неслышно присаживалась рядом. Федор истово крестился, призывал на помощь все силы небесные, но сам, не замечая того, шептал:

— Янина, лапушка моя ненаглядная!

Полька резко вырывалась из его объятий.

— Спасите!… Спасите!… Спасите! — кричала она и слова эти точно орлиным клювом проклевывали череп. — Спасите!… Спасите!

А из каморки показывался кто-то спокойный и бесстрашный, в кумачовой рубахе, с раскаленными щипцами в руке, входил в опочивальню. Федор пытался вскочить, чтобы выгнать вон незваного гостя, но одеревеневшие ноги не повиновались ему. Кат кланялся в пояс, с убийственной медлительностью крестился на образа и зажимал щипцами грудь полонянки.

— Не кручинься, Федор Михайлович. Сейчас на славу схороним мы женку твою…

Кое— как отдышавшись, Ртищев подкрадывался к постели и. юркнув под покрывало, замирал, не смея открыть глаза. Нараставшие вопли пытаемой шли уже не из угла, а откуда-то из глубин его собственного существа.

— Спасите! — дико вскрикивал тогда Федор и ногтями впивался в восковое лицо свое. — Спасите!… Спасите!

Всполошенный дворецкий, заслышав крик, стремглав бежал в опочивальню.

— Опамятуйся, господарь!

Ртищев стихал, прислушивался в ужасе и, едва живой, приоткрывал глаза.

— Ты? — вздыхал он полной грудью, готовый разрыдаться от

счастья, что видит живого человека.

— Я, господарь, — мягко отвечал дворецкий и глядел на Федора так, как глядит мать на смертельно больного ребенка.

Убаюкав Ртищева, он неслышно присаживался на полу.

— Кто тут? — неожиданно поднимал голову постельничий, и, увидев холопа, зло показывал ему на дверь. — Изыди!…

Едва дворецкий выходил в сени, Федор тщательно подсовывал под бока покрывало и вытаращенными глазами впивался в сумрак.

— Господи, избави мя от наваждения! — беззвучно молился он, а сам трепетно, с настойчивостью сумасшедшего, вновь вызывал в воображении образ Янины…

Только засветло, когда оживала усадьба и пробуждался на улице утренний гомон, обессиленный Ртищев забывался недолгим бредовым сном.

Никто, кроме дворецкого, не знал о его жестоких страданиях, да никто и не интересовался ими. Только царевна Анна как будто подозревала что-то. Она изредка приглашала постельничего к себе, расспрашивала его о здоровье, снабжала целебными снадобьями и между слов давала понять, что догадывается о его горе и сочувствует ему.

Боярышня Марфа во время этих бесед тихонько сидела у ног царевны и, прерывисто дыша, точно от сдерживаемых через силу слез, с преданной нежностью глядела на Ртищева.

Федора глубоко трогало отношение к нему девушек, и пребывание в светлице царевны незаметно сделалось для него единственною усладою и утешением в жизни.

Алексей, при встречах с постельничим неодобрительно покачивал головой.

— А и поизвелся ты, Федька, иноземным премудростям навычаючись. Обернись-ко на лик свой, в гроб краше кладут.

Федор виновато отводил взгляд в сторону и не отвечал.

Однажды государь, заметив, что постельничий особенно грустен,

ласково потрепал его по щеке.

— Удумал я, Федька!… Чтобы не убиваться тебе, Аристотеля да Платона одолеваючи, жалую я тебя старостой над умельцами, хоромы ставящими для нас в Коломенском.

Ртищев с радостью согласился и весь отдался новому делу.

* * *

Когда дворец в Коломенском был готов, царь на радостях два дня разъезжал по Москве, щедро оделяя милостыней нищих и богомольцев.

На третий день он отправился в потешное село. У околицы его встретили ученые монахи Андреевского монастыря во главе с Ртищевым и Симеоном Полоцким. Лицо Симеона сияло.

— Доподлинно, государь, володеешь ты великим даром творить пречудную красоту, — с неподдельным восторгом обратился он к Алексею.

После торжественного молебствования царь пожелал потешиться медведем и иными потехами.

На широкую поляну вышел вожак с медведем и помощником — мальчиком, изображавшим козу. Алексей развалился в кресле, установленном на высоком помосте, и подал платочком знак. Вожак поклонился на все четыре стороны, потрогал кольцо, продетое сквозь ноздри зверя, оглушительно заколотил в барабан.

— Ну-тко, Мишенька, поклонись государю да покажи науку свою.

При каждом подергивании цепи медведь пофыркивал и послушно выполнял все, что требовал хозяин.

Довольный действом, государь хохотал до слез. В лад ему скалили зубы, угодливо ухмыляясь, ближние.

— А как красные девицы белятся, покажи-ко, Михайло Иванович, — ломаясь, выкрикивал вожак.

Медведь садился на землю, тер лапой морду и зло поглядывал по сторонам маленькими, налитыми кровью глазами.

— Козою потешь! — хватаясь за тучный живот, гоготал Алексей.

Мальчик торопливо накинул на голову мешок, сквозь который продета была палка с козлиной головой и рогами. Вожак, приплясывая, выбивал барабанную дробь. Коза и медведь обнялись и покатились по земле.

Вдруг медведь вскочил, поднявшись на задние лапы, угрожающе зарычал на хохочущего царя. Алексей сразу оборвал смех и подозвал к себе вожака.

— Аль и тому животину навычал, чтоб на государя пеной брызгал?

Вожак с силой рванул цепь. Медведь, еще пуще освирепев, бросился на Алексея. Раздался залп, и смертельно раненный зверь повалился наземь.

— А сего смерда в железа! — топнул ногой царь и неожиданно смолк: со стороны дворца раздался громовый раскат.

В мгновение ока вся полуденная часть села заволоклась тяжелыми клубами пыли.

— Лихо, царь! — хватаясь за голову, упал на колени прибежавший розмысл.

Не помня себя от гнева, Алексей рванулся к дворцу.

На месте хором он увидел гору камня и бревен. Хоромы, выстроенные наспех, рухнули прежде, чем успели обсохнуть в них краска и позолота.

Из— под развалин неслись крики задавленных.

— Никак, людишек похоронило? — упавшим голосом спросил государь.

Ордын— Нащокин умоляюще поглядел на него:

— Пожаловал бы ты отсюда, от кручины прочь… Иные поставим палаты, во сто крат краше сих, государь.

Тяжело сопя, Алексей ушел в старый дворец.

ГЛАВА II

Каждый день во всех церквах Московии служили торжественные

молебствования "о ниспослании мира и покорении под нози царя всякого врага и супостата", — а поляки и шведы собирались тем временем с силами, чтобы нанести Руси смертельный удар.

Никон убеждал Алексея как можно скорее двинуться в поход на Ригу.

— Егда узрят рати лицо твое, государь, — говорил он, — великою воспалятся они силой духовной и многии славные сотворят чудеса… А о делах государственности не кручинься. Покель дарует мне Господь здравие, верой и правдой буду блюсти и стол твой, и честь твою.

Царь поддался настойчивым уговорам патриарха. Через несколько дней, трогательно простившись с ближними, он выступил из Москвы.

* * *

Жизнь в царском лагере протекала по строгому монастырскому чину. Алексей вставал задолго до рассвета и, наскоро умывшись, начинал утомительно долгую службу в походной церкви. После обедни, похлебав постных щей, он открывал сидение с воеводами. Если близко от лагеря проходили войска, государь, окруженный телохранителями, выезжал на аргамаке навстречу им и произносил напутственное слово. Мимо него нескончаемой вереницей проходили стрельцы, а он мягко, почти заискивающе, вглядывался в хмурые, заросшие грязью лица, точно не ему дано было вдохновлять людей на бранные подвиги, а сам он ждал от них сочувствия и поддержки.

Дорога пустела. Государь сиротливо склонял голову и, точно в забытьи, крестил воздух.

— Сподоби их, Господи, со славою костьми лечь за нашу государеву честь.

В грудь закрадывалась тревога. Без всякой причины становилось вдруг жаль не этих вооруженных рабов, только что прошедших перед ним, а самого себя. Он беспомощно оглядывался по

сторонам, точно искал защиты у окружающих.

— Великое множество сиротин под пятой у меня, а поразмышлишь — и един я во всем мире, как перст… И никого-то ближнего у меня нету, опричь Господа Бога.

Попы и ближние, как бы в жестокой обиде, всплескивали Руками.

— Не гневи Господа, царь! И нас не кручинь глаголом горьким своим!… Иль не зришь, что вся Русь крещеная за един волос с твоей головы с великою радостью смертью умрет?

Царь взбирался на аргамака и понуро возвращался в лагерь.

* * *

Вскоре с Двины пришли добрые вести — с минуты на минуту ожидалось падение Кокенгаузена.

Алексей выслушал послов, прискакавших с этой вестью, так, будто знал уже все и до них.

— А мы и имя крещеное граду тому нарекли, — многозначительно улыбнулся он.

Послы удивленно уставились на царя.

— Аль до нас кто посмел прискакать к тебе без ведома воеводы?

Царь встал с кресла и чванно разгладил бороду.

— А и доподлинно так! Были у нас в ночи послы… Были послы! — вещим голосом повторил он. — Яко зори вешние, предстали пред нами страстотерпцы Борис и Глеб.

Помолчав немного, он вышел на двор, собрав все население лагеря, воздел к небу руки:

— Внемлите!… А вы, послы любезные, разнесите ту весть нашей рати многострадальной.

Все, точно по невидимому знаку, упали ниц перед царем.

— Творил я вечор молитву на сон грядущий, — перекрестился царь, — а и не ведаю, по пригоде какой, смежились невзначай очи мои. И тотчас разверзлись душевные очи и узрел я страстотерпцев Бориса и Глеба. И услышали мы глас херувимский: "Ликуй! Внял молениям твоим Отец Небесный, жалует тебя

Кокенгаузеном". И еще рекли: "Наречешь ты град Кокенгаузен — Царевича Дмитрия градом. И поставишь в нем храм каменный на все времена во славу христолюбивого российского воинства".

Слух о чудесном видении быстрокрылою птицей облетел войска. "Победа! Бог даровал нам победу через молитвенника нашего и владыку государя-царя!" — радостно возвещали глашатаи.

В станах, невесть откуда, появились монахи и странники-богомольцы с целыми тюками образков Бориса и Глеба.

— Сим победиши! — торжественно объявляли они и щедро наделяли воинов наспех намалеванными иконками.

Надежда на помощь святых подняла дух у измученной долгими переходами и вечным недоеданием рати.

— Вперед!… Страха не страшимся, смерти не боимся, ляжем за царя, за Русь! — ревели начальные люди и гнали войска под вражий огонь, на приступ.

А государь, перед сном запершись в опочивальне, опустился на колени перед образом Спаса и виновато склонил голову на плечо:

— Ты многомилостив и даешь отпущение грешникам… Отпусти и мой грех! Не в хулу, а во славу твою думали мы с протопопом укрепить дух рати нашей неправою выдумкою о видении страстотерпцев.

* * *

Узнав о взятии Кокенгаузена, Алексей спешно собрался в завоеванный город.

Два дня работали многочисленные смены стрельцов, убирая с пути, по которому должен был проехать царь, убитых и раненых русских воинов. На окраине города полоненные рыли могилы. Священники, облачившись в черные рясы, служили панихиды по убиенным.

Из груды трупов, брошенных в ямы, то и дело неслись стоны и крики о помощи. Но головам и полуголовам недосуг было разбираться, кто жив и кто мертв: нужно было спешить к встрече

царя. И полонянники, полуживые от ужаса, безмолвно засыпали могилы землей.

Тем временем, рейтарыподтаскивали к дороге раненых и убитых иноземцев. Кое-где рядом с ними, для видимости, клали и русских стрельцов.

Все улицы города были украшены зеленью, шелком и объярью. На перекрестках неумолчно били в накры и оглушительно трубили глашатаи. Оставшихся в живых жителей согнали к заставе и там учили, как отвечать государю, если он обратится к ним с вопросом.

Вскоре в Кокенгаузен прибыл гонец.

— Царь жалует утресь! — объявил он воеводе. — Все ли готово ко встрече?

— Все, — хвастливо тряхнул головой воевода. — Не впервой нам государей встречать!

На следующий день за город высыпали войска во главе с духовенством. Алексей, далеко за заставой, вышел из колымаги и, сняв шапку, трижды перекрестился.

— Боже мой, колико кручины и крови…

Он направился к дороге, заваленной трупами и телами раненых. С каждым шагом лицо его, искаженное ужасом и отвращением, менялось, а глаза с недоверчивым удивлением устремлялись на ближних.

— Так неужто же наши сиротины все живот сохранили?… Сдается нам, не видать и ни российских рейтаров, и ни стрельцов? — остановился он наконец перед воеводой.

— Не все, государь, — сокрушенно вздохнул воевода. — А токмо, Божьей милостью, многое множество сохранилось от погибели людишек твоих.

Отойдя в сторону, он за плечи приподнял с земли мертвеца.

— Един наш стрелец, а ворогов подле него край непочатый. Не рать у тебя, государь, а орлы!

Алексей отвернулся и закрыл руками лицо.

— Убери!… Сейчас же убери! Не можно нам без смертной туги на погибели наших людишек глазети.

Воевода бережно опустил труп на землю и закрыл ему остекленевшие глаза.

— Не рать, а орлы, — повторил он, вдохновенно приложив руку к груди. — Железами не сдержишь! Так и рвутся в бой за государево дело.

Привыкнув немного к страшному зрелищу, царь уже спокойней и деловитей обходил ратное поле, то и дело склоняясь над мертвецами.

— А не инако, жив? — остановился он перед раненым и сочувственно улыбнулся. — А жив ли ты, басурман?

Раненый со стоном приподнял голову, показал рукой на свои запекшиеся губы и что-то по-своему забормотал.

— Аль испить просит? — повернулся Алексей к воеводе. — Оно хоть и не нашей веры человек, а тоже разумеет, жалуется. Ты попотчуй-ка его водичкою, не скупись…

У самого входа в город Алексей присел отдохнуть в приготовленное для него мягкое кресло. Глубоко вздохнув, он сморщился гадливо и сплюнул.

— Добро, одначе, смердят басурманы!

— Смердят, государь! — подхватили ближние. — Показал бы ты им милость да пожаловал их могилами.

— И то, — согласился государь. — Схоронить!…

Воевода испуганно подбежал к Алексею и что-то шепнул ему.

— А и то гоже удумано. Дай-ко-ся поглазеть, — поинтересовался Алексей и с видом знатока пощупал поднесенный ему иноземный мундир. — Гораздо добра одежа у басурманов.

Он подумал немного и решительно объявил

— Мертвые сраму не имут. Хоронить убиенных нагими, одежонку же отписать в обоз.

Отслушав благодарственный молебен и потрапезовав. Алексей отправился искать место для закладки церкви. Когда выбрана была подходящая площадь перед ратушей, он приказал немедленно приступить к работе и сам, помолясь на восход, вырыл первую лопату земли.

ГЛАВА III

Украина, так недавно праздновавшая присоединение свое к Московии, настороженно притаилась и сжала готовый к сопротивлению кулак.

— Набрехал нам москаль, — все чаще передавалось из уст в уста. — Сулил нам полную волю, а сам, видать по всему, Украину в вотчину норовит описать. А не будет!. А не дастся молодечество в пасть москалю.

Действительно — пользуясь удачной для него войной с Польшей. Алексей решил, что настало время покончить с украинскими вольностями. Чтобы закрепить за собой надежных сторонников, он стал щедрою рукою раздавать "великие маетности" начальным людям.

Вскоре Запорожье было лишено права что бы то ни было предпринимать без разрешения государя. Даже самому гетману запретили переписываться и вести самостоятельные переговоры с иноземными государствами.

В украинских городах появились царевы урядники, которые должны были собирать подати на царя и передавать их непосредственно людям, приезжающим из Москвы. Часть таких податей, по положению, предназначалась и на содержание запорожского войска. Однако урядники и полковники, налагавшие в иных местах по три золотых со двора, почти все деньги присваивали себе.

Не раз запорожцы ходили с челобитного к гетману, грозили бунтом. Больной Хмельницкий беспомощно разводил руками, клялся

в преданности казачеству и обещал потребовать объяснения от Москвы. Но время шло, а умирающий гетман не принимал никаких мер к ограждению Украины от насилий и неправды царевых людей.

Только — ближайший сподвижник гетмана, писарь Иван Выговский, не мог примириться с обманом и решил вернуть Украине утраченную волю.

В июле Богдан Хмельницкий скончался.

Выговский решил воспользоваться удобным для его замысла случаем и в тот же день, 27 июля, написал путивльскому воеводе Зюзину смиренную цидулу:

" Если хочешь знать, кто теперь выбран в гетманы, то, я думаю, ты знаешь, как еще при жизни покойного гетмана вся старшина избрала сына его, пана Юрия, который и теперь гетманом пребывает, а вперед как будет, — не знаю. А я после таких трудов великих рад бы отдохнуть и никакого урядничества и начальства не желаю."

— Ось, бери от нас, простесеньких хлопцев, писульку, — сказал он сотскому. — Та и на який бис нам их булава… Да не треба нам той булавы, да не того… не треба нам и царя московского!

В Чигирин, на раду, прибыл посол Зюзина, подьячий Тюлькин. Выговский принял посла в курене.

— Сидай, пан мой дражайший.

Подьячий недовольно пробормотал сквозь зубы.

— Раду, выходит, у вас собирают, пан?

— Та выходит, будто и раду, — безразлично ответил Выговский, выколачивая о каблук сафьянового сапога пепел из люльки. — Геть! — прикрикнул он тут же на дремавшего у двери сотского и, будто про себя, прибавил со вздохом:— Ось яки человики теперь пошли… Не могут самого пана подьячего от який-нибудь стервы отличить. Так и прут в курень, не подумавши.

Сотский спокойно повернул голову, но не двинулся с места.

— Ну, что вы зробите з ним! — прикидываясь возмущенным,

стукнул писарь о стол кулаком. — Та кому ж я кажу — геть, голопупая дура!

Он повернулся в сторону подьячего и распустил губы в улыбке.

— То не ты голопупая дура, а он голопупый!… То я не на тебя брешу, а на того сучьего сына, пан ласковый!

Заметив, что посол начинает понимать его отношение к себе, Выговский вскочил с лавки.

— А воеводе так и кажи: царскому величеству я верен во всем, служу великому государю и войско запорожское держу в крепости.

Он обсосал усы и елейным голоском продолжал:

— Как гетмана похороним, то у нас будет и рада о новом гетмане, и мне Богдан Хмельницкий перед кончиною, нехай ему на тим свити легенько икнется, приказывал опекуном быть над хлопцем его, пан Юрием. А я приказ его помню и сироту не спокину.

Подьячий просидел у писаря до позднего вечера. Хозяин усердно потчевал его локшиной, варениками и настоенной на тютюне горилкою, но на расспросы о том, кого казаки склонны избрать гетманом, отделывался шутками.

Посол пил много, однако почти не хмелел. Только когда Выговский, рассердившись, подсыпал в горилку горсть перцу и пороху, подьячий обалдел и свалился под лавку.

— Тьфу! — плюнул Выговский в лицо послу— Весь курень опоганил духом москальским!

И, раскурив люльку, вышел из куреня.

* * *

Со всех концов Запорожья потянулось казачество в Субботово хоронить Богдана Хмельницкого.

Сторонники Выговского использовали удобный случай и всюду, где только можно было, собирали летучие сходки. Гневно потрясая кулаками, они, не стесняясь, проклинали тот час, когда Хмельницкий отдался под московского царя и слезно молили

казаков одуматься и избрать гетманом Выговского, который только и может освободить их от москальского ига.

— Только пан писарь и остался верным вольнице запорожской! Только под ним славное низовое товарищество пошлет к бисову батькови москальских бояр с ихним кобылячьим царем.

Великой радостью входили проникновенные эти слова в казацкие души.

— Выговского!… Геть царевых воров-урядников с вольной Украины!

Торжественно и с большими почестями похоронили казаки Хмельницкого, но на поминках не задержались — нужно было торопиться в Чигирин на раду.

Выговский долго отказывался принять гетманскую булаву и сдался лишь после того, как казаки объявили, что, кроме него, никого не изберут.

Выплюнув на ладонь люльку, Выговский низко поклонился раде.

— А так — так и так, будь по-вашему, паны-молодцы! Да помните же… Булава моя будет добрым на ласку, а злым на каранье.

И, будто без умысла, повернувшись в сторону московской дороги, угрожающе потряс булавой.

Воинственный гул толпы воодушевил его.

— А не сгибла родная Украина!

— А не сгибла!… Слава батькови-гетману!… Слава молодечеству низовому! — ураганом пронеслось над площадью и рассыпалось по широкой степи…

* * *

Вскоре, однако, казаки стали замечать, что Выговский через меру якшается с поляками, дает им многие льготы и даже приглашает к себе на службу советниками и полковниками. Больше всего не нравилось запорожцам, что гетман держится с поляками не как с басурманами, а как с равными.

Ко всему этому, вскоре на Украине прошел слух, будто польский

король сулит пожаловать Выговского сенатором и наградить многими землями, если он перейдет с войском запорожским в подданство Польше.

Первым выступил против гетмана полковник Григорий Лесницкий. Он собрал на своем полковницком дворе в Миргороде великую раду сотников и атаманов и без долгих рассуждений обратился к ним:

— Имеете ли вы веру ко мне, православному запорожцу?

— Имеем! — дружно ответила рада.

Тогда полковник, стерев пятерней пот с пылающего лица, прерывисто прокричал:

— А Иван Выговский не Иван, а Иоганн-басурман!

И, не дав опомниться собравшимся, чувствуя в себе приток бешеной злобы, стукнул в грудь кулаком.

— Перенял гетман католическую богомерзкую веру! Обетовал королю обасурманить нас всех, христиан православных… А чуяли вы измену такую, панове казаки?

Осатаневшая толпа потрясла воздух отчаянным воплем.

— Смерть изменнику! Смерть христопродавцу!…

Полковник властно топнул ногой.

— А и прислал еще к нам московский царь воеводу своего, Трубецкого, с наказом, чтобы войска запорожского было только десять тысяч, да и те должны быть в Запорожье. — Он пытливо оглядел сразу пришибленно замолчавших людей. — Чуете ль молвь мою, панове?

— Бей по головушке, бей до краю, пан-полковник, бей до краю, пан-полковник, бей без утайки! — ответил один из атаманов.

— И по-моему без утайки, — подхватил Лесницкий, неожиданно смягчаясь и снижая голос до шёпота. — Так слухайте.

Он похлопал себя по карману и перекрестился.

— Получили мы писульку от крымского хана. А пишет хан дюже ласково нам, чтобы ему поддались, а лучше поддаться, пишет, крымскому хану. Московский царь всех вас невольниками вечными

сделает, в кандалы закует, жен и детей ваших в лаптях лычных водить станет, — а хан крымский в атласе, аксамите и сапогах турских будет водить.

Рада терпеливо выслушала полковника и, точно сговорившись, без слов, пошла прочь с полковницкого двора.

Только с улицы уже какой-то атаман крикнул с ненавистью:

— Лучше сойтись всем добрым молодцам-запорожцам к батьке Днепру, да и утопнуть, чем некрещеным татарам поддаться!

* * *

Великая смута пошла среди запорожцев. Не стало на Украине из начальных людей никого, кому могло бы довериться казачество.

Затосковали казаки, стали уходить по одному в широкие степи, собирались в диком поле, и, отдав последнее целование родной земле, двигались к Волге, к волжским казацким ватагам.

А Выговский, узнав о том, что говорил на раде Лесницкий, приехал в Корсунь, отдал полковникам булаву

— Берите!… Не хочу быть у вас гетманом. Царь прежние вольности у нас отнимает, и я в неволе быть не хочу.

Полковники, посовещавшись, вернули гетману булаву.

— За вольности будем вместе стоять, на то и челобитную нынче же отправим царю.

Выговский гадливо сплюнул через плечо.

— Вы, полковники, должны мне присягать, а я государю не присягал, присягал Хмельницкий.

Из толпы, пробивая локтями дорогу, выступил полтавский полковник Мартын Пушкарь. Вперив взор в гетмана, он вызывающе бросил ему:

— Все войско запорожское присягало великому государю, а ты чему присягал? Сабле? Пищали?

Толпа зашумела, и из общего шума вырвался чей-то насмешливый голос:

— Ты лучше сбрехни, Мартын, много ль золотых отвалили тебе

москали за то, что прихвостнем у них служишь?

Воспользовавшись этими словами, Выговский достал из кармана горсть московских денег и бросил их в лицо Пушкарю.

— Хочет нам царь московский платить жалованье, а то разве гроши?… То харкотина, а не гроши.

Мартын простер руки к иконе, стоявшей рядом на столе.

— Боже, прости гетмана нашего, посмевшего царские деньги облаять харкотиной.

И с великой кручиной оглядел собравшихся.

— Паны! Как перед Богом, кажу вам: хотя бы государь изволил бумажных денег нарезать и прислать, а на них будет преславное государево имя, то я рад его государево жалованье приним…

Он не успел договорить — мощный удар гетманова кулака сшиб его с ног

— Так вот почему ты, прихвостень царский, золотые, что урядники с казацких дворов пособрали, схарцизил!

Со всех концов Корсуни сбегались люди к полковничьему двору. Все смешалось в бешеных криках, в проклятьях и драке. Гетман сидел верхом на Пушкаре и, захватив в кулак его оселедец, жестоко колотил его по затылку. Мартын извивался и пронзительно выл.

— Ляхам продался! — вопили сторонники Лесницкого, наседая на гетмана.

— Брешешь, спидница татарская, — надрывались друзья Выговского.

— Бей их, христопродавцев!

Сверкнули выхваченные из ножен сабли.

— От-то ж вам за ляхов!

— Держи за татарина!

ГЛАВА IV

Пока Алексей был в походе, всеми делами государства

самодержавно правил Никон, именовавший себя с недавних пор "великим государем, патриархом Московским и всея Руси".

Раз в неделю Никон принимал вельмож. Они дожидались его долгими часами на дворе, ничем не решаясь напомнить о себе, так как знали, что малейший ропот неминуемо повлечет за собой опалу. Все, что приказывал владыко, почиталось законом для начальных людей. Ослушание каралось ссылкой в дальние города.

Униженные вельможи молчали, дожидаясь нетерпеливо возвращения государя и защиты от зазнавшегося "мордовского сына".

С каждым днем все заметней углублялась и пропасть между Никоном и подчиненным ему духовенством. Число недовольных угрожающе росло. Находились уже отдельные люди, которые открыто поднимали свой голос против патриарха. Когда же Арсений Грек, с благословения Никона, приступил к исправлению церковных и богослужебных книг, на сторону недовольных стали переходить огромные толпы.

В одно из воскресений патриарх во время службы в соборе объявил, что, по внушению свыше, должен предать анафеме двоеперстников.

После литургии он вышел на амвон и, приказав молящимся стать на колени, приступил к церемонии проклятия.

Затем иеромонах подал ему икону негреческого письма и длинный гвоздь. Размахнувшись, Никон пырнул гвоздем в глаза образа Богородицы.

— Изничтожим мы творение бесовское!

Толпа, на мгновение оцепеневшая от суеверного ужаса, вскочила с колен и бросилась к выходу. Однако патриарх предусмотрительно распорядился закрыть на замок выходную дверь и этим отрезал молящимся дорогу на двор.

— А ни один не изыдет из храма, покель не очистим мы места пресвятого сего от нечисти трипроклятой! — крикнул Никон и швырнул икону под ноги иеромонаху. — Топчиее, басурманку!

* * *

Князь Григорий Черкасский проведал, что многие крестьяне его близко связаны с разбойной ватагой, хозяйничающей в округе.

Распаленный гневом, он согнал заподозренных к себе на двор и приказал им рыть могилу. Вызванные с погоста поп и дьячок должны были по полному чину служить отходную.

Священник облачился с большой неохотою, с нарочитой медлительностью.

— Аль занемог, отец Поликарп? — подозрительно уставился на него господарь. — Не подсобить ли тебе копытцем, отец?

Поп едва успел отскочить в сторону вздыбившийся княжеский аргамак ударил копытом по аналою и наземь посыпались требники, иконка, крест и Евангелие.

— Не кощунствуй, боярин! — вскрикнул отец Поликарп, с трудом наклоняясь к земле.

Дьячок опередил попа, собрав оброненное и протерев полою подрясничка образок, троектратно приложился к лику Христа.

— Челомкай и ты! — ощерился на Черкасского священник.

Князь слез с коня и охотно поцеловал икону.

Землю окутывал вечер. Темнело, и уже с трудом можно было различать лица людей.

Приговоренные молча рыли могилу. Связанные путами ноги мешали их движениям, а трясущиеся от страха руки то и дело роняли лопаты. Спекулатари, сосредоточенные и деловитые, показывали, как нужно копать, и почти каждое слово свое скрепляли жестокими ударами батогов.

— Готово ль? — нетерпеливо передернул плечами князь и вдруг в страхе воскликнул:— Звезда хвостатая в небеси!

Запрокинув головы, люди уставились в небо. Среди темных, зловещих туч, наползавших с запада, горела и туманно переливалась никогда не виданная звезда.

— Погибаем! — прорезал тьму чей-то сдавленный вопль.

Усадьба заметалась в суеверном страхе. Со всех сторон бежали ошалевшие люди. Приговоренные побросали лопаты и на брюхе, как развороченное гнездо черных чудовищных змей, расползлись по двору.

Пораженный ужасом князь упал наземь, позабыв о казнимых.

— Епитрахилью накрой!… Накрой же! — кричал он, протягивая руки к священнику.

Но отец Поликарп не слышал его.

— Зрите, православные христиане! Зрите знамение гнева Господня! — пророчески воскликнул он, истово крестясь, и, выхватив из рук спекулатаря нож, подбежал к приговоренным.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аз, грешный иерей, властию, данною мне от Бога, разрешаю вас от лютые смерти!

Переходя от одного крестьянина к другому, он ножом перерезал веревки.

Багрово завихрились огни появившихся откуда-то факелов.

— Епитрахиль! — униженно кричал князь. — Покрой епитрахилью своей!

И, дрожа от внутреннего озноба, подполз к ногам священника.

— Внемлите! — воскликнул отец Поликарп, отставив два пальца для креста. — Внемлите, люди! Излия бо всевышний фиал ярости своея грех ради наших.

Дьячок, прилипший к аналою, набравшись смелости, повернул голову к князю.

— Внемли, господарь… Истину бо речет иерей.

Черкасский с опаской приоткрыл глаза, но тотчас же снова зажмурился. Он понял, что пришел час кончины мира "Коли и смерды шапки не ломят передо мной, всему конец!" — подумал он со страхом.

Священник с каждым словом распалялся все более и более.

— А по то всеблагий творец род человеческий наказует, что многие пошли по стопам врага Божия, волка Никона!

Дерзкие эти слова точно пробудили Черкасского от страшного сна.

— Правду ли токо сказывает Поликарпишко, аль послышалось нам?

Он вскочил с земли и схватил священника за ворот.

— Вправду! — бросил кто-то в лицо ему. — По то наказует Бог род человеческий, что многие пошли по стопам волка Никона и споручника его — царя Алексея Михайловича!

— В батоги его!… В яму! Живьем! — не помня себя, заревел Черкасский.

— И то, брателки… Живьем его, в яму! — рванулось в толпе, и прежде, чем князь успел опомниться, его сбили с ног и скрутили веревками.

Спекулатари и дворецкий, чуя беду, отползли за яму и ринулись в тьму.

Боярин наддал плечом.

— Слободи! Иль…

Глумливый хохот заглушил его голос.

— Иль не поспеешь без креста подохнуть, князь?

Рыжая бороденка факела переплелась с черною княжескою бородою.

Вдруг глаза Черкасского остекленело уставились на склонившегося к нему мужика.

— Ты?

— Я, господарик… Как есть я, Корепин Савинка! Пришел еще единожды с тобой поборотися.

Языки огня лизнули лицо Черкасского. Священник сорвал с себя епитрахиль и накинул ее на князя.

— Не Божье то дело — огнем жечь господарей. Придет час, погреется он всласть в преисподней.

— Развяжите! Иль всех на дыбу, — исступленно ревел Черкасский. — Добром прошу, развяжите!

И смахнув с лица епитрахиль, лязгнул в волчьей злобе зубами.

Савинка, заложив два пальца в рот, пронзительно свистнул. Тотчас же со всех концов раздался ответный свист.

— Притомился я, — шлепнул Савинка господаря по животу и грузно уселся на его лицо. — А ты зубки-то, князюшко, не тупи об меня. Авось занадобится еще уголья в пекле грызть.

К усадьбе, озаренные факелами, бежали какие-то люди. Корепин вскочил.

— Будет тешиться. Время за дело!… Встречай, князь, ватагу разбойную.

Ватага, весело перекликаясь, ввалилась на двор и окружила Черкасского.

— Здорово, князь аргамачий!

Савинка вцепился в ноги связанного и снял шапку.

— А пожалуешь ли сам в могилушку, господарь, аль достойней сволочить тебя к ней?

В стороне, высоко подняв голову, молился отец Поликарп. Подле него неуверенно переминалась с ноги на ногу часть людишек, не знавшая, куда примкнуть.

Неожиданно священник выронил из рук образок и бросился к боярину.

— Не попущу издевы над князь-боярами! Не за тем служу я Христу, чтобы потакать расправам богопротивным.

Корепин дружески потрепал попа по плечу.

— Изыди, батько, с миром, покель я коленом тебя в тое могилу за князюшком не спровадил.

Священник испуганно огляделся, ища сочувствия, на, поняв по лицам людей, что ждать добра неоткуда, простер к небу руки.

— Прости им, Отче, не ведят бо, что творят.

— Ан ведаем, врешь! — свирепо оскалился Савинка. — Ты-то ведаешь ли, отец, что творишь?

Собрав последние силы, Черкасский подполз к ногам священника.

— Заступи!… Не дай погибнуть.

Отец Поликарп негодующе поглядел на Черкасского.

— Ни им, зло затеявшим, я не потатчик, ни тебе, еретик, не заступник.

Черкасский глухо завыл и приник к земле обгорелым лицом.

— А коли так, не молитвенник ты, а Иуда. Христопродавец!

Священник богобоязненно поглядел на небо.

— Зришь ли ты, богохульник, сие знамение Божье?

— Зрю, христопродавец, холопий поп, и верую: на погибели царевым ворогам отослал Бог знамение сие!

Савинка раскатисто захохотал.

— Нуте-ко, брателки, покажем господарику, кому на погибели знаменье.

И сбросил князя в могилу.

— Хорони!

Священник, перекрестившись, тяжко вздохнув, пошел прочь из усадьбы. За ним, крепко прижимая к груди требники, заковылял дьячок.

— Каешься ли, князь? — склонился над ямой Савинка.

Крестьяне, точно боясь, что Корепин помилует Черкасского, усердно заработали лопатами.

Вскоре на могиле, в которую зарыли Черкасского, вырос высокий холм. Кто-то из ватаги взобрался на вершину холма и вбил в нее кол.

— Псу псиная честь!

До рассвета правили людишки тризну по Черкасском. На дороге, чередуясь, стояли с дозором верные люди Корепина. У сторожевой вышки торопились спасенные от казни, готовые по первой тревоге ринуться в бой за своего освободителя. Бабы, дети и старики, здоровые и больные — все сбежались на княжеский двор помянуть чаркой боярского вина "в бозе почившего" господаря. Все до единого позабыли о страшной хвостатой звезде, ходившей недавно по небу. Да и какое чудо могло сравниться с чудом внезапного

освобождения от князя!

На рассвете, когда рассеялся туман над рекою и засверкал росным бисером лес, на дальней дороге показался стрелецкий отряд.

— Не уберегли языков… Предали, печенеги! — ударил обземь шапкой дозорный и помчался к усадьбе.

— Стрельцы жалуют, атаман! — задыхаясь крикнул он Савинке и бросился к сполошному колоколу.

Спокойно, как будто ничего не случилось, отдавал Корепин последние распоряжения охмелевшим крестьянам.

— Кто в лес, отходи! — тряхнул он головой, когда навьюченные боярским добром людишки вышли из хором.

Часть мужиков и баб поклонились атаману до земли.

— Колико жить нам засталось, поминать тебя будем в молитвах за добро твое превеликое. А уходить нам от землишки своей некуда. Не взыщи.

Примкнувшие к вольнице крестьяне вскочили на выведенных из конюшен княжеских аргамаков.

— С Богом! К третьей берлоге, — скомандовал Корепин и поскакал впереди в сторону леса.

Из окон трапезной повалили густые клубы едкого дыма. Занимался пожар.

ГЛАВА V

После смерти шведского короля, Карла X Густава, шведы заключили в Оливе с поляками мир, по которому обязались друг перед другом вести совместную борьбу против Руси. В то же время в Белорусии и на Украине поднялась новая волна мятежей. Положение Москвы заметно ухудшилось. Добрые вести о победах все чаще сменялись донесениями о тяжелых поражениях.

Алексей взволновался.

— Я сказывал, сказывал я, — топал он ногами на ближних, —

колико раз сказывал, что не верую в великие завоевания! Все вы с Никоном государя во искушение вводите, суки! Отродье сучье!

Но Никон, Милославский и другие твердо стояли на своем. Переждав, пока царь извергнет весь запас гневных слов, они принимались доказывать необходимость продолжения войны.

— А казна?… Казну где сдобудете? — слезливо уже спрашивал царь.

— Сдобудем… Не кручинься, преславный, все сдобудем тебе, — упрямо отвечал патриарх. — А что до людишек, гораздо живучи людишки, всяческие напасти повынесут. Вынослив, гораздо вынослив российский смерд.

Милославский подсовывал царю кипы приказов о новых тяготах и мытах. Алексей с глубоким вздохом, не читая, подписывал бумаги. Чувствовали себя отменно одни лишь торговые люди, забрасывавшие царя богатыми дарами и на всех перекрестках превозносившие его мудрость и доброту. И, действительно, жилось им отлично — война, обрекшая страну на голодный мор и разорение, была для них желанным праздником.

Милославский отдал торговым гостям все кабацкие откупа и подряды на поставку для войск. Но важнейший торг, приносивший огромные барыши, Алексей объявил царской монополией. Торговлей льном, щетиной, конским волосом, медом, воском и всем, что вывозилось за рубеж, распоряжался исключительно царь, предоставивший богатые льготы "аглицким немцам".

Точно паутиной, опутали англичане всю Московию сетью торговых приказов.

Зато в безвыходном положении очутились мелкие торговые люди. Они не только не могли продавать свои товары по той же цене, как иноземцы, но вынуждены были закрывать лари и спускать за бесценок все свое добро, чтобы только как-нибудь выплатить мыту.

* * *

Приказные изо дня в день обходили избы мелких торговых

людишек и ремесленников со сбором податей.

Отец Тани, обезмоченный тяглом и голодом, давно распустил работных и забросил свое гончарное дело. Однако подьячие не оставляли его, донимая непосильными придирками.

Настойчивей всех был приказный Туляк. Он отобрал все, что было у Григория, и грозился продать за недоимки избу, и старика забить на правеже.

Григорий слушал, смиренно сложив руки на высохшей груди, и шамкал в ответ одно и то же.

— Твоя сила… Как поведешь, таково и содеется… А мы что? Мы — немочны…

Как— то Туляк пришел к гончару поздно вечером. Заслышав его шаги, Таня юркнула в закуток и с головой зарылась в солому.

— Здоров ли, хозяин? — потрепал подьячий Григория по плечу.

Старик покорно уставился на икону.

— Здоров… Прогневал я Господа. Маюсь-маюсь на земли, а все не жалует смертушка.

Туляк снял шапку, расчесал пятерней реденькую щетинку на голове и присел на лавку.

— Чего таращишься? Аль не признал? — улыбнулся он, скаля изъеденные тычки зубов.

От неровного света лампады рябое, с провалившимся носом лицо приказного казалось еще более страшным, чем обычно.

— Мы что же… Мы рады, — смиренно ответил старик.

Забрав в рот полинявшие усы, приказный хитро покосился на закуток.

— Что за пригода — в кой час не приди, а все ты один?

Гончар вздрогнул, испуганно поглядел на гостя.

— Кому же и быть в избе?… Девка, так ту нешто удержишь? Почитай, и не зрю ее. Все прокорм ищет, — он, тяжко вздохнув, перекрестился. — Где уж нам прокормить ее. Самому впору ноги с гладу-холоду протянуть.

Туляк порылся за пазухой и вытащил узелок.

— Чать и мы крещеные, не татары какие… Для ради дружбы нашей попотчую я тебя пирогом с кашею да чарочкой.

"Не иначе, к Таньке моей подбирается, карпатый дьявол", — подумал гончар, бледнея, но сдержавшись, отвесил земной поклон:

— За милость, за честь спаси тебя Бог.

Достав с полочки глиняный черепок, он протер его начисто рушником и подал гостю. Туляк налил в черепок вина.

— Кушай на добро здоровье.

Гончар испуганно замахал руками.

— Куда уж! Стары мы стали… Прошла наша пора хмельное лакать.

— Пей! — стукнул Туляк кулаком по столу.

Гончар послушно проглотил вино. Горячая волна обдала его грудь, быстро откатилась к ногам и жгучим потоком хлынула к закружившейся голове. Он зашатался и, ухватившись за край стола, разразился удушливым кашлем.

— Не приемлет душа, — выдохнул он, отдышавшись немного. — Стар я и отощамши.

Туляк усадил старика подле себя.

— Присаживайся. Не из тех я, чтобы кичиться с черными рядышком сиживати! — Он выпрямил грудь и многозначительно причмокнул:— А был бы ты, Григорий, посмышленей, не ведать бы тебе ни кручины, ни горюшка.

С вожделением поглядев на пирог, Григорий неуверенно потянулся к нему. Вдруг он вскочил из-за стола и всплеснул руками.

— Господи, я-то потчеваюсь, а Танька с утра не жрамши!

Он просунул голову в закуток и крикнул:

— Танька! Иди пирога отведать приказного.

Туляк фыркнул.

— Ну, вот, потеря-то и нашлась.

Старик опомнился-повернулся к приказному с ребячьей улыбкою.

— Нашлась?… Да где ж она?

Он бессмысленно засеменил по избе и, открыв ногой дверь, трескуче прокричал в темноту:

— Танька!… А, Танька!

Туляк встал из-за стола и тяжело опустил руку на плечо гончара.

— Хитер ты, старик, да не хитрей меня!

Стараясь изобразить на лице разочарование, гончар опустился на лавку.

— А я и впрямь в думку взял, вернулась-де Танька. Ан нету.

Приказный склонился к уху хозяина:

— Коли по правде, дщерь твоя, хоть годами давно быть ей в женках надобно, а куда как солодка еще. Так бы за подол и держался…

Он шагнул в закуток и, в темноте нащупав под соломой Таню, втащил ее в избу.

— Смерд!… Так-то ты правду сказываешь царевым людям?

Таня вырвалась из рук Туляка, подбежала к отцу. Ее исхудалое лицо залилось багровым румянцем, тонкие извивы бровей собрались в одну вздрагивающую, точно ползущую на врага, змейку; жесткие морщинки пролегли на лбу и у углов рта, а глаза засветились граничащей с безумием злобой.

Туляк понял, что ничего силой не сделать, и решился на хитрость. Нахлобучив на глаза шапку, он тщательно завернул в тряпицу остаток недоеденного пирога, сунул в карман флягу и безразличным голосом объявил:

— Обряжайся, красавица, да, благословись у родителя, иди на двор тюремный.

Григорий упал в ноги ему:

— Меня казни, а девку помилуй!

— Не ты с разбойником Савинкой в языках ляцких служил, не тебе и ответ держать. — ответил приказный и резко повернулся к девушке:

— Кому я сказывал? Обряжайся!

Григорий подполз к дочери, припал к ее коленям.

— Поддайся!… Отца для, поддайся! Лутче в блуде с ним жить, чем сгинуть в узилище без покаяния.

Туляк удивленно оглядел старика и разразился самодовольным смешком.

— Вот то умственные глаголы! Чуешь, бабонька. — великоумственно родитель сказывает.

Таня решительно накинула на себя епанчу и, поклонившись отцу, взялась за ручку двери.

— Краше на дыбе Богу душу отдать, нежели с катом сим безносым хоть малый час миловаться. Тьфу, рыло карпатое!

— Примолкни! — взревел приказный и, отшвырнув ногой старика, выскочил за Таней на улицу. — Я вот, ужо, тебя!… Не накланяешься еще карпатому.

Таня не ответила и зашагала быстрей.

У Земляного города она подозрительно остановилась.

— Куда ведешь?

— Куда? Вестимо, в застенок.

— А в застенок, так не кружи вороном, веди прямою дорогою.

Из— за переулка вышел дозорный стрелец. Туляк обрадованно окликнул его и, приказав Тане не двигаться с места, пошел к нему навстречу.

Таня, пригнув голову, напряженно прислушивалась к шепоту, но, кроме ехидного смешка, ничего не могла разобрать.

Рассказав все. что нужно было, стрельцу, Туляк передал ему узелок и, переждав немного, неохотно полез в карман за флягой.

— Мшелом жалует — догадалась Таня и почувствовала, как понемногу вползает в нее страх.

— Гайда! — прикрикнул стрелец и больно ударил девушку кулаком по спине.

Они долго кружили по окраинам, пока не остановились наконец

подле тайной корчмы.

Из избы глухо доносились песни, хохот, хмельная брань. Приказный трижды раздельно постучал в дверь и, отойдя к оконцу, отсчитал еще пять торопливых ударов.

Притихшая было изба вновь ожила, признав условные стуки. Щелкнула щеколда, и в дверях показалась встрепанная голова старухи.

— Кого Бог дает в полуночи?

Стрелец, втолкнув Таню в сени, тотчас же исчез.

Таня бросилась к выходу, но кто-то упал ей под ноги, и она шлепнулась на пол.

В избе стоял дым коромыслом. Хмельные приказные и служилые люди, увидев Туляка, бросились встречать его. Навалившиеся на Таню мужики скрутили ей руки и втащили в горницу. Сквозь едкий дым и пар Таня увидела нескольких девушек, разместившихся вдоль стены на лавке.

Одна из них, по приказу хозяйки, поднесла гостье чарку вина. Таня замотала головой, мертвенно стиснула губы. Тогда старуха, перемигнувшись с Туляком, поклонилась Тане в пояс и неожиданно изо всех сил ударила кулаком по зубам. Девушка стукнулась затылком об стену. Алые струйки крови медленно поплыли по подбородку.

Туляк, не обращая внимания на свою полонянку, уселся за стол и потребовал вина.

— Неужто муж аль родитель приказному продал? — спросила Таню соседка, заботливо вытирая с лица ее кровь.

— Кривдой увел! — жестко свернула глазами девушка.

— А нас родители продали… За недоимки.

И, точно оправдываясь перед кем-то, виновато потупилась.

— Нешто одюжить людишкам немочным подать цареву?

Всю ночь бражничали приказные. Таня защищалась до последней возможности и сдалась лишь, когда потеряла сознание.

Под утро Туляк вышел как бы за своим делом на улицу. Поджидавшие на углу языки тотчас же ринулись в избу. Перепуганная хозяйка попыталась бежать через окно, но ее схватили и с силой бросили об пол.

Приказные наспех одевались, дружелюбно переговаривались с языками.

— То мы нарочито и ноченьку ночевали в вертепе сем непотребном, чтобы без обману прознать, зря ли болтают, аль впрямь тут блудные твари на искушение христианам гнездятся.

Девушек, обвиненных в блуде, вместе в хозяйкой погнали в застенок. С ними уволокли и Таню.

ГЛАВА VI

Великая сила мастеровых и мелких торговых людишек собралась после обедни на Красной площади, у храма Василия Блаженного.

— Волим к царю с челобитною!

Ближние люди царевы набросились с кулаками на стрелецких полуголов.

— Так-то блюдете вы покой государев?

Служилые виновато отступали.

— Нешто можно нам православных христиан в храм не пущати?

Алексея всполошил рокот толпы. Когда отошла служба, он, посоветовавшись с Милославским, приказал допустить к нему челобитчиков.

Точно изваянный из камня и золота, сидел на троне важный и недоступный царь. Рядом с ним, такой же величественный и строгий, восседал, опираясь на палицу, патриарх. Ниже, до отказу задрав бороды к подволоке и выпятив животы, разместились на лавке ближние бояре.

Объятые трепетом, по одному, вползали на четвереньках выборные. Колотясь головой об пол, они благоговейно лобызали царский сапог и неслышно отталкивались в сторону Когда обряд

целования окончился, Алексей разрешил челобитчикам встать.

— Сказывайте, по какой пригоде пожаловали.

Выборные переглянулись, но никто из них не решался заговорить. Тогда Никон наугад ткнул посохом в первого попавшегося старика.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, реки.

Старик, покряхтывая, опустился на колени и жалко уставился на царя

— Лихо нам, государь, горемычным сиротинам твоим!

— Лихо? — поморщился Алексей и с недоумением поглядел на патриарха.

Милославский заерзал на лавке и погрозил кулаком челобитчику.

— Лихо! —повторил выборный, не заметив угрозы Милославского. — Не дай, нам, преславный, природным своим холопам и сиротинам, от иноверцев и приказных жить в скудости и нищете.

Никон гневно поднялся.

— А ведомо ль вам, какую годину мать наша. Русь православная, переживает?

Царь остановил его мягким движением руки

— Не сбивай. Пущай печалуется да памятует что всяческая слеза сиротин моих — моя слеза.

Ободренный старик благодарно коснулся губами государева сапога.

— А бьем челом на том, государь, чтобы все были в тягле и в свободе иль в льготах равны, чтоб во всем народе мятежа и розни не было.

Милославский еле сдержался, чтобы не наброситься на смелого челобитчика. Алексей же, умиленно уставившись на образа, зашептал пухлыми губами молитву и, кончив склонился к выборному

— Восстань!

В повлажневших глазах царя сквозила скорбь.

— Воистину, тяжело испытует Господь людишек моих!

Он закрыл руками лицо и сокрушенно покачал головой:

— А то неспроста: за грехи наказует Господь За грехи плачет кручинная наша земля.

И, повернувшись неожиданно к патриарху, полным голосом крикнул:

— По делом человеков и отпускается им! Да мы не печалуемся, не ропщем!

Патриарх сурово поглядел на присмиревших челобитчиков.

— Молитеся о временах мирных. Ибо ныне, в годину брани и испытания, ропщут токмо недруги государевы.

Выборные, поклонившись царю, ушли из Кремля. На Красной площади было уже пусто: окольничий, пока послы были у царя, убедил толпу разойтись.

* * *

— Все от Никона, все от ереси его богомерзкой, — шептались по уголкам посадские и торговые люди. — Не было новой веры, мерзкой Богу, не было и лютых напастей на православных.

Чтобы избавиться от насилий царевых людей и никонианцев, "повелевающих кланяться болванам", многие побросали дома свои и ушли в леса и скиты на соединение с вольницами и на "подвиг спасения души". Но и в самой Москве, и в других городах раскольники, чувствуя за собой силу, повели открытую борьбу против Никона.

Протопоп Аввакум, вернувшийся из мезенской ссылки, куда отправил его патриарх, не только не смирился, но еще пуще осатанел. В одно из воскресений, дождавшись выхода народа из церкви, он истошным голосом крикнул:

— Молитеся, православные! Приближается бо кончина мира, и антихрист уже пришел, двурожный зверь. Един рог — царь, другой — Никон.

Площадь окружили, точно выросшие из земли, стрельцы. Голова взмахнул бердышом.

— Бей!

Но пораженные неслыханной смелостью протопопа, бесстрашно продолжавшего свою исступленную речь, стрельцы обнажили головы и не двинулись с места.

— И царь, и патриарх, и все власти поклонились антихристу! — дергаясь, выкрикивал протопоп и грозил кулаками в сторону укутанного в туман Кремля.

Потоками огненного ливня падали в сердца людей эти слова. И хотя многие, не искушенные в книжных спорах, не понимали истинного смысла речей, все они горели таким же бурным пламенем, как и сам Аввакум. Им все равно было, что послужило началом борьбы с государем, спор ли о книгах богослужебных или о двоеперстном кресте, они знали одно, понятное всем обезмоченным людишкам, — Аввакум ненавидит сегодняшние порядки, а кто восстал против порядков, с тем всякому нищему по пути.

Как очумелый, прибежал Ртищев к Никону.

— Хула на государя… и на тебя, патриарх! — выпалил он, задыхаясь от бега.

Никон по— отечески обнял постельничего.

— Не кручинься, чадо мое Ведаю про все и спослал великую силу монахов противу того Аввакума… Рейтарами переряженные, покажут они еретику, как смутой смутить!

Усадив Федора подле себя, патриарх показал ему цидулу от нижегородского воеводы.

— Корепин? — подпрыгнул от неожиданного Ртищев и широко разинул рот.

— Оный и есть!

Придя немного в себя, Федор решительно взялся за шапку.

— Куда?!

Постельничий гордо выпятил хилую грудь. Острые плечики его откинулись назад. Казалось, стоит ему взмахнуть тонкими плетями рук, и, полный порыва, оторвется он от земли, ринется в бой с

самим небом.

— Сам, своими перстами удавлю поганого смерда! — взвизгнул он. — К государю пойду!

И, не слушая увещаний едва сдерживавшего смех Никона, бросился в сени…

Алексей принял Ртищева в опочивальне.

— Не набедокурил ли сызнов?

Федор упал на колени.

— Не я, Корепин набедокурил!

Ничего не понявший царь раздраженно насупил брови.

— С коих пор повелось, чтобы царей тревожить челобитною на Корепиных неведомых? Аль повышли у господарей батоги?

Постельничий стукнул об пол лбом.

— Не с челобитную я, а с вестью недоброю. Корепин, тот самый, что в языках ляцких ходил, холоп мой беглый, разбоем ныне промышляет на Волге. Атаманом ходит!

Поднявшись с колен, он умоляюще поглядел в посеревшее лицо государя.

— Покажи милость, отпусти меня на рать противу изменника!… Дай мне, сиротине твоему, великою потехой потешиться — сими перстами изменника удавить.

Алексей пытливо уставился на постельничего.

— Нешто и он блудил с Яниной, что так распалился ты противу него?

Но, заметив, как помертвело вдруг лицо Федора, дружески улыбнулся:

— Не гневайся, Федька, то не от сердца я. С юных лет верю в чистое сердце твое… А посему благословляю тебя на рать.

* * *

Вечером царевна Анна, выпроводив от себя боярышень, мамок и шутих, осталась вдвоем с Марфой.

— Лихо! — вздохнула она, подперев рукой двойной подбородок.

Боярышня недоуменно подняла голову

— Уж не занедужила ли от ока дурного?

Царевна положила вздрагивающую руку на голову Марфы.

— Я-то здрава, что со мной содеется… А с тобой вот — лихо.

— Со мной?…

Понизив голос до шёпота, царевна приблизила губы к уху боярышни:

— Пожаловал братец мой Ртищева воеводой противу разбойных людишек.

Напуганная было таинственным видом Анны, боярышня облегченно вздохнула.

— Неужто же мне кручина сия в кручину? Лети, соколик, воронам на потребу!

— Дура! — рассердилась Анна и больно ущипнула боярышню. — Аль век задумала в девках сидеть?

* * *

Федор стал частным гостем царевны. Едва освободившись от дел, он, пользуясь правом ближнего человека царева, не испрашивая разрешения, уходил на женскую половину дворца.

Поклонившись до земли Анне, он усаживался на краешек лавки и неизменно начинал с одного и того же;

— Вечор из пищали стрелял. Ратному делу навычаюсь. Так вот — ворон, а так вот — я.

Царевна улыбалась и подсаживалась ближе к гостю.

— И каково?… Убил ворона, а либо ранил?

— Покель не поддается проклятая птица. Каркает, а чтобы помереть или раниться — ни в какую!

Марфа, не вмешиваясь в разговор, усердно занималась рукоделием. Лишь изредка она печально осматривалась по сторонам, глубоко вздыхала и, хрустнув пальцами, снова склонялась над работой.

— Об чем тужишь? — спрашивала тогда царевна и щурилась на

Федора.

Ничего не подозревавший постельничий виновато опускал голову и молчал…

Однажды Ртищев пришел в светлицу необычайно возбужденный и радостный.

— А боярышни нету? — спросил он, прикладываясь к руке царевны.

— Ишь ты, без боярышни и не дыхнет, — лукаво погрозилась Анна.

— Я не к тому… Я чтобы поклон отдать. Отъезжаю.

Царевна вздрогнула и отступила. Игравшая на ее лице приветливая улыбка исчезла.

— Все то вы, мужи, как един! Закружите, завертите девичьи сердца наши непорочные, а сами, как соколы, встряхнулись, крылами взмахнули и нету вас!… А я-то думала, Федор-де не из таковских!

Хотя Федор продолжал ничего не понимать, сравнение с соколом весьма польстило ему.

— Да оно хоть и сокол я, сдается, не клевал будто я сердца боярышни… Чтой-то не разумею.

Анна подошла вплотную к гостю и строго поглядела в его глаза.

— Лукавишь!… Иль не зрю я, что иссохлась Марфинька по тебе?

Она усадила опешившего постельничего на лавку и принялась рассказывать, как тает от любви к нему боярышня.

* * *

Ртищев ушел от царевны преображенный.

— Ну, какой я муж ратный, коли ворона убить не могу? — настойчиво спрашивал он и с наслаждением повторял слова, сказанные ему царевной:— Мое дело ученья свет возжечь в сердцах человеческих, а не из пищалей палить… Так ли?

— Так, так! — поддакивали собеседники и спешили отделаться от навязчивого постельничего.

У Троицких ворот, по дороге к царю, Федор встретился с Львовым.

— Здорово, воевода! — ядовито ухмыльнулся князь, свысока оглядывая Ртищева.

— Ну, какой я воевода, коли ворона убить не могу, — воспользовавшись случаем, остановился Федор.

— Доподлинно, — охотно подтвердил Львов, — воевода из тебя, что попу из бабьего сарафана риза.

Ртищев так был занят своими мыслями, что не понял обидной шутки.

— Вот, вот… Тоже и я реку! Еще греческие философы поущали…

Князь заткнул пальцами уши и трижды сплюнул.

— Не погань ты слуху нашего словесами языческими. За твои за философии, кол бы осиновый тебе всадить да в монастыре Андреевском на крыльце приладить на радости еретикам.

Федор растерянно попятился и обратился к дозорному стрельцу:

— Ну, обскажи хоть ты… Я ему про воеводство…

Но тотчас же осекся и почти бегом направился к царевым палатам.

Алексей, предупрежденный сестрой, встретил Ртищева с широкой, во все лицо, улыбкой.

— Едем?

— Коли воля твоя, еду, преславный…

— А может, застанемся?

Постельничий упал в ноги царю.

— Застанемся, государь! Ну какой я муж ратный, коли из пищали ворона убить не могу?

Царь помог встать Ртищеву и обнял его.

— А слыхивали мы от сестрицы, будто смутил ты сердце боярышни Марфы… Так ли?

— Так, государь! — залился гордым румянцем постельничий.

— Коли так, вместно тебе и побрачиться с нею.

— Коли воля твоя, государь…

— И добро. Быть по сему.

ГЛАВА VII

После женитьбы Ртищев забросил все свои дела и ни на минуту не разлучался с женой. Он старался предугадать каждое желание Марфы, потакал малейшей ее прихоти. В первое время молодая стойко переносила присутствие мужа. Иногда ее просто забавлял этот маленький человек, наряженный в польский жупан, вечно суетившийся и строивший самые неразумные планы преобразования государства. Но вскоре ей прискучили бесконечные ласки, слюнявая любовь и постоянная болтовня мужа.

— Ты бы, чем дома сидеть, — предложила она однажды, — творил дела какие добрые во имя Христово.

Ртищев, как всегда, увлекаясь, страстно ухватился за мысль жены. Едва дождавшись утра, он отправился к ближайшей церкви и там, склонившись перед распятием, долго и смиренно вымаливал благословения на какой-либо достойный христианина подвиг. После обедни, разомлевший и ни до чего не додумавшийся, он пробрался в алтарь и таинственно поманил к себе священника.

— Жажду подвигов христианских, отец, а за что приняться — в толк не возьму.

Поп одобрительно покачал головой.

— Похвально, чадо мое, гораздо похвально.

И с едва скрытым презрением оглядел жалкую фигуру постельничего. "В колпак бы тебя обрядить, чтоб малых чад потешал, вон оно тебе дело какое под стать", — подумал он, а вслух с чувством произнес:

— А хочешь великое добро сотворити, внеси лепту свою на храм сей и да почиет на тебе благодать дара духа свята.

Ртищев, ожидавший дельного совета, раздраженно поморщился.

— У тебя, отец, токмо и глаголов, что о лепте на храм сей да о

нуждах своих. Ты бы хоть единожды иному деянию вразумил.

Но, тотчас же раскаявшись, виновато уставился на образа:

— Прости, Христа ради, лютость мою… Ныне же внесу тебе свою лепту, токмо вразуми на подвиг.

Поп обещал подумать и дать к вечерне ответ.

Федор, томимый жаждой сделать что-либо такое, что было бы угодно Богу и пришлось бы по нраву Марфе, затрусил на своем скакунке по улицам. Несмотря на праздничный день, улицы были почти пусты. Лишь изредка попадались дозорные да, обдавая пылью, с треском и грохотом проносилась одинокая колымага.

Постельничий свернул к окраине. Порасспросив у приказных о жителях, он решил наиболее нуждающихся одарить богатой казной. Мысль показалась ему удачной. Он приободрился и повеселел.

— Всех одарю… Достойных и недостойных!

Однако чем ближе подъезжал он к заставе, тем неприятней скреблось в груди чувство какой-то странной неудовлетворенности. "Ну, пожалуешь их казной, а на долго ли умилишь тем их жизнь? — думал он. — Токмо и радости, что напьются с гладу и в сугубые грехи ввергнут души свои…" Вдруг он остановил коня и шлепнул себя ладонью по лбу.

— Эвона!… Погоди!…

И в страшном возбуждении поскакал домой.

— Надумал я, Марфинька! — воскликнул он, повисая на шее у жены. — Грядет час, в кой ни единого на Москве не застанется хмельного человечишка!

Марфа высвободилась из объятий мужа и показала ему рукой на лавку.

— Садись, а там и потолкуем.

* * *

Вскоре, испросив разрешения у государя, постельничий занялся постройкой огромного приюта для пьяниц. Он так увлекся своей новой затеей, что почти не бывал дома и совсем позабыл о

существовании Андреевского монастыря.

Марфа, предоставленная самой себе, с первых же дней заскучала. Ей нечем было заполнить свои дни, и они проходили, один за другим, долгие и безрадостные. Федор возвращался с работы ночью и заставал Марфу уже в постели. Наклонившись к жене, он с отеческой заботливостью и нежностью глядел на похудевшее лицо ее, не смея громко вздохнуть, чтобы не потревожить ее тихого сна. Но Марфа не спала, чувствовала на себе взгляд мужа. Ей становилось жалко его, хотелось привлечь его к себе, поделиться с ним своей тоской, и она готова была протянуть к нему руки, мягко-мягко окликнуть его — но еще плотней закрывала глаза и гадливо кривила губы…

Осенив крестом жену, Федор бочком уходил к себе, и помолясь, укладывался в постель. Поутру, едва потрапезовав, он садился на своего скакунка и мчался к месту постройки.

Быстро, точно из-под земли, выросли затейливые хоромы. Ртищев не жалел казны на украшение и внутреннее убранство приюта. Все терема были расписаны нарочно приглашенными для этого иноземными мастерами. В трапезной на стенах был изображен ад, в котором на раскаленных углях извивались в страшных корчах грешники, имевшие в земной жизни пристрастие к вину, а на подволоке, у престола Господня, ликовали, предаваясь обжорству и пьянству, трезвенники и постники.

В день открытия приюта сонм духовенства служил торжественное молебствование со здравицей "великому заступнику человеков противу козней лукавого, рабу Божию Феодору". Вся московская знать собралась в приют. Федор восседал в высоком кресле и, сложив руки на животе, застенчиво выслушивал поздравления.

Гости пировали и бражничали до поздней ночи. Отяжелевшие от обильных возлияний, попы неустанно перед каждой чарою хрипели хозяину многая лета, лезли к нему лобызаться. Ртищев, полный сознания своего величия, важно оттопыривал губы и почти все

время молчал.

— Пейте, кушайте на добро здоровье! — изредка, как заученный урок, повторял он.

Толпы людей загромоздили улицу, примыкавшую к приюту, давили друг друга, вступали в бой за лучшее место. Каждому хотелось хоть одним глазком взглянуть на ломившиеся от яств столы.

— Эк бы в хоромины допустили! — то и дело вслух мечтали людишки, залепившие окна трапезной. — Токмо бы погладить того пирожка да бражки нюхнуть!

Им отвечал бесшабашный смех забулдыг.

— Дурехи! Нешто не для вас хоромы поставлены?

Задирая головы, забулдыжные люди, бродяги бездомные, торжественно, в тысячный раз, повторяли:

— При-ют для пьяниц… Так и прописано; для, дескать, пьяниц!

Наконец пир окончился. Дремавшие в сенях холопы, услышав оклик дворецких, ринулись в трапезную и понесли к колымагам перепившихся до бесчувствия господарей и попов.

* * *

Ртищев завел дружину, которая с утра до ночи расхаживала по Москве, подбирая пьяных.

Приют был всегда переполнен. Каждый, кому нечего было есть или становилось невмоготу жить без крова, подбирался поближе к усадьбе постельничего и, прикинувшись пьяным, валялся наземь, оглашая воздух площадной бранью и разбойными песнями.

— Боже мой, Боже мой… Потеряли людишки человеческий образ, — заламывал Федор руки в истинной скорби и слезливо глядел на безучастную жену. — Нешто пойти?

И, не дождавшись ответа, спешил на улицу.

Остановившись над "спасаемым", он тут же, на глазах огромной толпы зевак, принимался читать заговор против запоя.

— Слышишь ли, диавол? Слышишь ли, змий зеленый? — восклицал он, обегая трижды вокруг "пьяного".

— Слышу, — следовал обыкновенно ответ, сопровождаемый отвратительными ругательствами.

Федор срывал с себя шапку и чертил над лицом мужика таинственные знаки.

— Ты, небо, слышишь, ты, небо, видишь, что хочу я сотворити над телом раба…— Он подталкивал ногой отчитываемого и кричал:— Имя?

Кто— либо из дружинников или толпы называл первое приходившее на ум имя. Тогда Ртищев продолжал:

— Тело Маерено, печень тезе. Звезды вы ясные, сойдите в чашу брачную, а в моей чаше вода от загарного студенца.

Двое дружинников прыгали на живот "пьяного" и, жестоко колотя себя в грудь, подхватывали рыкающими голосами:

— Месяц ты красный, сойди в мою клеть, а в моей клети ни дна, ни покрышки! Солнышко ты привольное, взойди на мой двор, а на моем дворе ни людей, ни зверей!

Ртищев взмахивал рукой, и вся толпа тянула проникновенно за ним:

— Звезды, уймите раба от вина; месяц, отврати раба от вина; солнышко, усмири раба от вина.

После короткого молчания постельничий поднимал высоко руку и властно изрекал, изгоняя зеленого змия:

— Слово мое крепко. Аминь.

Дружинники уносили "спасенного" в приют, разделенный, по. совету приходского попа, на три части: для хмельных, протрезвившихся и исправившихся.

Ровно в полдень, Федор, строгий и полный сознания важности творимого дела, являлся в приют. За ним, навьюченный книгами из священного писания, выкидывая ногами кренделя и строя уморительные рожи, двигался приютский староста, исцеленный по убеждению постельничего от "пагубного пристрастия к зеленому змию".

— Смердит! — брезгливо дергал носом постельничий.

Староста бросал книги на стол и, растворив окно, злобно плевался.

— Ироды не нашего Бога! Колико раз наказывал я вам подпущать благодетелю нашему вольного духу.

Ртищев восхищенно взглядывал на старосту и садился за стол.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

— Аминь! — отвечали "протрезвившиеся".

Начинался урок.

Староста стоял на коленях, лицом к слушателям, и, колотясь время от времени об пол лбом, пришептывал:

— Во!… Вот так премудрости… А и да нашинские, православные!

Наконец, перекрестившись в последний раз, Ртищев закрывал книгу и бессильно запрокидывал голову.

— Прониклись ли, люди?

— Прониклись!

Староста, зайдя за спину господаря, подмигивал кому-либо из товарищей. Лица призреваемых заметно оживлялись. К столу подползал посол.

— Благодетель, — произносил он с расстановкою, — дозволь ударить челом.

— Восстань, сиротина, ибо токмо пред Господом вместно на коленях стоять человекам, — отвечал Ртищев.

Челобитчик всхлипывал и протягивал к нему руки.

— Не восстану, покель не смилуешься над нами!

— А коли Божье дело, уважу, — милостиво изрекал постельничий.

Призреваемые срывались с мест, точно подхваченные ураганом.

— Неужли ж не Божье, коли без похмелья не миновать помереть нам без малого!

Ртищев возмущенно поднимался и отступал ближе к двери.

— Так-то вы прониклись глаголом Божьим?

Староста припадал к его руке и с чувством восклицал:

— Благодетель!… Ты ли, кладезь премудрости, не разумеешь, что пьяному без похмелья тверезым не быть? Токмо по чарке единой, задави ее брюхо ежовое!… Чтоб добежал бес из души христианской, яко бежит от лица Господа ненавидящий имя его… Токмо по чарке, брюхо ежовое!

— А не дашь, — перебивая друг друга, кричали людишки, — в Москва-реку бросимся, утопнем! На тебя смертный грех перекинем.

Перепуганный угрозами, Федор устремлял взгляд на иконы.

— Нешто по единой чарке на смерда?

И сурово поднимал к небу руку:

— Даете ли обетование в остатний раз ныне пить и закаяться до скончания живота?

— Даем, благодетель!

Пошептавшись со старостой, постельничий удрученно качал головой.

— Быть по сему. По единой отпустится вам.

Так происходило изо дня в день до тех пор, пока однажды, подожженный перепившимися призреваемыми, приют не сгорел до основания.

ГЛАВА VIII

Марфа почти не вставала с постели. Она осунулась, постарела, постоянно брюзжала. Федор боялся показаться ей на глаза и держался так, чтобы присутствие его не было заметно в хоромах. Только в большие праздники он брал на себя смелость приглашать в гости кое-кого из близких своих друзей и униженно упрашивал жену поддержать заведенный "иноземный порядок" и показаться гостям.

Марфа неохотно вставала и, набелившись, ненадолго выходила в трапезную.

Тень улыбки, малейшее оживление Марфы — наполняло истосковавшееся по ласке сердце Ртищева глубокой радостью и

надеждою. Он готов был расцеловать гостей, сумевших вывести из оцепенения его жену. Но зато всякое неосторожное слово приводило его в бешенство. Он резко останавливал каждого, чьи шутки и болтовня действовали, по его мнению, раздражающе на Марфу. С людьми же, осмелившимися сказать ей открыто грубость, он порывал навсегда.

Так случилось с раскольничьим попом Логгином. Несмотря на различные взгляды на веру, Федор относился к Логгину с большим уважением и старался поддерживать с ним дружбу. На ехидные насмешки друзей он гордо отвечал, что "всяк, кто исповедует Иисуса Христа, приходится ему братом", и ссылался на государыню, поминавшую в своих молитвах ревнителей старины.

Встретив однажды Логгина на улице, постельничий зазвал его к себе, чтобы на досуге побеседовать о делах веры. Марфа, узнав о приходе раскольника, пожелала выйти к нему.

До появления жены Ртищев был ласков с попом, почти во всем с ним соглашался и даже попросил "изъять дух недугующий в сердце рабы Божьей Марфы". Поп говорил с ним так же дружелюбно, ласково, но когда Марфа, почтительно склонившись, вошла в трапезную и сложила на груди руки в ожидании благословения, Логгин, схватив вдруг шапку, попятился к двери.

— Нету тебе благословения моего!… Гораздо ты набелена… И лика не видно!

Федор вспылил, подскочив к гостю, брызнул ему слюною в лицо.

— Ты, протопоп, белила хулишь, а без них и образа не творятся!

Логгин легким пинком далеко от себя отшвырнул постельничего.

— Пшел прочь, Никоново охвостье!… Недостоин ты про образа поминать.

Ртищев ринулся к нему, все опрокидывая на своем пути и вереща:

— Раскольник!… Ворог церкви Христовой!… Вор!

Но протопоп не слышал его — гордо запрокинув голову,

постукивая тяжелым посохом, он уже ушел со двора. Марфа с уничтожающей усмешкою поглядела на мужа.

— А кого еще удосужишься мне на потеху доставить?

Федор вобрал голову в плечи и прижался к стене. Марфа вышла из трапезной, изо всех сил хлопнув дверью.

Тогда, прокравшись в сени, Федор приказал дворецкому немедленно снарядить холопов в погоню за Логгином.

Людишки, вооруженные дрекольем, выстроились на дворе. Постельничий принял на себя командование и, пылая жаждой отмщения, пошел на врага. Однако дойдя, до ближайшего переулка, он неожиданно изменил план действий и, распустив рать, помчался с челобитного к патриарху.

* * *

Собрав на Арбатской площади огромную толпу, Логгин и другие раскольничьи пророки произносили страстные проповеди, призывая народ к борьбе с никонианами.

Уже смеркалось, когда Логгин, благословив народ, зашагал на покой в ближайшую часовенку.

В глухом переулке его вдруг окружили монахи и, связав, поволокли в застенок.

Сам патриарх чинил допрос протопопу. Присутствовавший тут же Федор, ехидно скаля зубы, тыкал в лицо Логгину кистью, смоченною белилами:

— Накось, отведай радости бабьей… Попотчуйся!

Никон с улыбкой удерживал постельничего и продолжал допрос.

Узник упрямо молчал.

— Опамятуйся, протопоп! — в последний раз предложил патриарх. — Все отпущу тебе и пожалую великими милостями, ежели отречешься от ереси.

Логгин гневно воскликнул в ответ:

— А не имат власти двурожный зверь судити христиан православных!

— В железа его! — бешено затрясся Никон. — В яму его, христопродавца!

* * *

Со всех концов страны приходили на Москву печальные донесения. На Украине волновались казаки, шведы и поляки продолжали наступление, а внутри страны все жарче разгорались огни мятежей.

Вольница Корепина выросла в войско, соединилась с другими ватагами и сеяла смерть среди помещиков и царевых людей.

На борьбу с мятежниками выступила сильная рать рейтаров. Рейтары никого не щадили, сжигали на пути своем деревни, села, нивы и пастбища.

У нижегородских лесов они соединились в один стан и вступили в бой с главными силами вольницы.

Враги безжалостно уничтожали друг друга. Горели леса. Объятые пламенем люди теряли рассудок, сгорали заживо, но не сдавались. Трупы заполонили дороги, отравив воздух удушливым смрадом. Запах мертвечины пропитал одежды, тела и души живых.

— Поддайтесь на милость царя, — предлагали рейтары, сходясь лицом к лицу с отрядами мятежников.

— Краше смерть, чем лютый глаз и неволя у царевых и никоновых воров! — ревела ватага и бросалась в смертную схватку.

Однако рейтары были вооружены с ног до головы; каждый день прибывали к ним на подмогу новые силы и у них было много обозов с прокормом. Под конец полуголодные ватаги не устояли, откатились глубже, в лесные трущобы. На Москву поскакали гонцы с вестью о "славной победе над воровскими людишками".

После трехдневного отдыха Савинка собрал сход.

Извещенные людьми из вольницы, сюда пришли окольными путями выборные от посадских, торговых и черных людишек, от городских простолюдинов, от крестьян, ремесленников и холопов.

— Как будем жить? — спросил Корепин, низко кланяясь.

— Краше в берлоге с гладу подохнуть, нежели отдаться на милость цареву и треклятых людишек его, — отвечали ему. — Ведомы нам царские милости!

До поздней ночи не унимался лес в страстных спорах людей, пока наконец не было решено вести дальше борьбу против "рогов антихриста" Алексея и Никона.

Распустив сход, Савинка ушел отдохнуть в свою берлогу.

В берлоге под грудою листьев было тепло и уютно, как в сеннике. Савинка с наслаждением потянулся и, подложив под щеку руку, дремотно закрыл глаза.

— Никак крадется кто? — приподнял вдруг голову товарищ Корепина Каплаух.

— Спи, — ответил атаман. — То не ворог, а ветер по лесу крадется.

Каплаух примолк. Хмурая мгла нависала все безрадостней и печальней. Сквозь вершины деревьев точно волчьи зрачки глядели звезды… Но вот, как стонущий звук оборванной струны, долетел до берлоги чей-то вздох. Товарищи встрепенулись и сели, прислушиваясь. Вздохи росли, множились, уже можно было разобрать слова кручинной песни.

— Должно, огненное крещение готовится, — догадался Каплаух.

До слуха отчетливо донеслось:

И учили жить в суете и вражде.
И прямое смирение отринули.
И за то на них Господь Бог разгневался:
Положил их в напасти великие,
Попустил на них скорби великие,
И срамные позоры немерные…

Стройная волна хора мягко прокатилась по лесу.

Безживотие злое, супостатные находы,
Злую немерную наготу и босоту,
И бесконечную нищету и недостатки последние.

— Пойдем, брателко? — спросил Каплаух.

Савинка мотнул головой.

— Тяжко мне там… Не по мысли.

Однако он выполз из берлоги и поплелся с товарищем на голоса.

Вдалеке вспыхнул костер.

— Так и есть!… Быть крещению, — подтвердил свою догадку Каплаух и ускорил шаги.

Песня стихала, приникала к земле, таяла:

Все смиряючи нас наказуя
И приводя нас в спасенный путь.
Тако рождение человеческое от отца и от матери.

На середине просторной поляны, у костра, стоял старик. Его белая, подернутая багровыми отблесками пламени, борода касалась ввалившегося живота, землистые космы волос на голове рассыпались по узеньким плечам.

Коленопреклоненная толпа, окончив песню, поклонилась до земли старцу.

— Благослови!

Старик отставил два пальца, трясущейся рукой перекрестил воздух и, не спеша, снял с себя епанчу.

— Братие! — заговорил он чуть слышно. — Ныне радуюсь я и веселюсь, ибо сподобил меня Господь силою некрушимою приять истинное крещение огнем и тем очиститься от мерзопакостных следов Алексеева царства.

Толпа испустила молитвенный вздох. Раздевшийся донага старик

подошел вплотную к костру.

— Простите Христа ради, православные христианы! — поклонился старик. — А сподобит Бог, буду по втором неоскверняемом крещении огнем молитвенником вашим перед алтарем Бога живого.

Воздев к небу руки, он нырнул в багряные волны огня.

Притаившийся лес сотрясся от страшного крика и воплей. В дальних кустах залилась испуганным лаем лиса. Ломая сучья, с воем скрылись в трущобах ошалевшие волки.

— Нас не остави!… Молись за нас Господу! — билась о землю толпа. — Заступи перед Господом!

— Уйдем! — хватаясь за плечи Каплауха, шепнул Савинка.

Пораженный мертвенной бледностью атамана, Каплаух поспешно увлек его в берлогу.

ГЛАВА IX

У Ордын-Нащокина завелось много новых друзей, среди которых особенно выделялся дьячий сын Артамон Сергеевич Матвеев, сумевший в короткое время собрать вокруг себя целый кружок знатных людей.

Матвеев часто устраивал вечера, на которых гости оживленно беседовали о преобразовании Руси. На один из таких вечеров вместе с Нащокиным приехал и Ртищев.

Афанасий Лаврентьевич вошел в дом, как давнишний знакомый и свой человек. Жена Матвеева, шотландка Гамильтон тотчас пригласила гостей в богатый, по-европейски убранный, терем.

Нащокин, заметив, что хозяин то и дело переглядывается с женой, не вытерпел, спросил:

— Не новые ль вести?

— А почитай что и новые, — таинственно ухмыльнулся Матвеев и перевел разговор на другое.

Вскоре из сеней донеслись громкие голоса и смех.

— Князь Никита пожаловал! — воскликнула хозяйка, торопясь

навстречу гостям. За ней вышли в сени и мужчины.

— Управителю Посольского приказа и царской большой печати и государственных великих дел оберегателю, Афанасию свет Лаврентьевичу, с низким поклоном многая лета! — рявкнул Романов и полез лобызаться с хозяином.

Позади Никиты Ивановича, широко расставив ноги, оглушительно чихал и сморкался в кулак Борис Иванович Морозов.

— И сыну дьячему, думному дворянину Артамону Матвееву со хозяйкой слава и в делах преуспеяние, — подхватил он вслед за князем.

Матвеев густо покраснел, с трудом подавив обиду, поклонился боярину:

— Родом не кичимся, да нам много и не надобно. Был бы умишко. Для нас он куда как сподручней кровей родовитых.

Гости вошли в терем. Пересыпая речь прибаутками, Романов объявил, что придумал для кружка важное дело. Заинтересованные слушатели почтительно умолкли и уставились на князя.

— Имам ли мы свое злато и сребро? — начал Никита Иванович.

Морозов добродушно улыбнулся.

— Кто и не имат, а ты по государе, первый богатей во всей Руси.

Никита Иванович шутливо отмахнулся от него:

— Словеса-то у тебя густые найдутся в кармане, за то умишко твой завсегда на татарском аркане!

И с нарочитой важностью прибавил:

— А племянник мой, государь Алексей Михайлович всея Руси еще молвит: "Делу время, а потехе час". По то я и тешусь, что ни час то по часу!…

Хозяева и гости закатились смехом.

— А в сребре по какой пригоде у нас недочет? — снова начал князь Никита и ударил по столу кулаком:— А по той пригоде, что из чужих земель добра того сдожидаемся, свое же ногами топчем!

Постельничий не вытерпел и вмешался в разговор.

— Добро сказываешь, князь Никита Иванович. Ни во век сребра медью не подменить… И то великая смута пошла серед людишек; сотворили-де медных денег, а сребро, что ни день, бежит от той меди, рукой не достанешь.

Все долго, с большим интересом обсуждали слова Романова, пока наконец не решили тут же написать грамоту, чтобы подать ее на утверждение государю.

Вооружившись лебяжьим пером, Артамон Сергеевич, пыхтя, склонился над бумагою.

" …А еще ведомо нам, холопам и сиротам твоим, государь, про Канинский Нос да Югорский Шар; а и сверх того и на Урале, а и еще в Кузнецке, да в Красноярске, да в Томском краю многое множество в земли сребра того схоронено… А и бьем тебе челом, царь-государь, на той земли рудознатцев отослать. А и обыщется сребро, великие корысти от того будут тебе, государь…"

Кто— то тревожно постучался в дверь. Матвеев оторвался от бумаги.

— Кому там не терпится?

В дверях показалось испуганное лицо дворецкого.

— Гонец прискакал!… Царь-де к тебе жалует.

Лицо Матвеева покрылось смертельной бледностью. В первое мгновение он так растерялся, что даже не мог встать с лавки.

— Встречай! — улыбнулся Нащокин и подтолкнул хозяина в спину.

Артамон Сергеевич ошалело вскочил, со всех ног бросился на улицу.

Алексей не раз уже наезжал к Матвееву, как наезжал запросто к другим любимцам своим, но дьячий сын никак не мог освоиться с этим и всегда при встрече "высокого гостя" волновался, робел и чувствовал себя, как приговоренный к смерти, за которым пришли палачи.

Незаметно пробравшаяся в терем воспитанница Матвеева, Наташа, забилась за спинку дивана, вытаращенными глазенками, точно мышонок, впервые увидевший свет из темной норки своей, следила за суматохой. Алексей едва войдя в терем, увидел ее.

— Попалась, проказница! — шагнул он к дивану и с нарочитой строгостью наклонился к пылающему личику девочки. — Ох, уж эти Нарышкины мне!… Куда ни кинься, всюду в Нарышкиных ткнешься!

Он небольно подергал Наташу за непокорный вихорок. Девочка рванулась и юркнула к двери. Ее подхватил на руки Никита Иванович.

— Стоп-стоп-стоп!… Жил-был бычок, да попался в горшок. А кто бычка того съест, тому ворох раскрасавиц-невест!

Он широко разинул рот, как бы готовый проглотить расплакавшуюся девочку.

Алексей нежно взял ее из рук дядьки и поцеловал.

— И не соромно?… Чать, двенадесятый годок пошел, а ревешь, как дите.

Он достал из кармана сердоликового пастушка. Слезы сразу высохли на глазах девочки. На круглых щечках ее заиграл румянец.

— Мне?

— Кому ж бы еще?

Поблагодарив государя за гостинец, девочка, вцепившись в руку Матвеевой, вприпрыжку ускакала из терема.

После трапезы и долгой молитвы Артамон Сергеевич благоговейно приложился к руке царя.

— Ужо и не ведаю, царь мой преславный, сказывать иль утаить?

— Сказывай, коли есть про что сказывать.

— А и прибыл к нам из дальних земель гость, государь. Муж гораздо ученый и душевности превеликой.

Алексей многозначительно подмигнул Нащокину.

— Слыхивали мы, Артамонушка, про гостя того.

Матвеев испуганно отодвинулся.

— Норовил я в тот же час, как прибыл сербин, тебе обсказать про него, да сдержал князь Никита Иванович.

— Сдержал! — чванно надулся царь. — А про то слыхивал ли, что допреж того, как помыслит о чем человек, государю ужо и ведомо все?

Но, заметив, что Матвеев в самом деле не на шутку перепугался, милостиво потрепал его рукой по щеке.

— Ладно уж, что с тебя взыщешь… Веди сербина.

Артамон Сергеевич, низко кланяясь, вышел из терема и тотчас же вернулся с гостем.

Алексей с большим любопытством поглядел на стройного, с тонкими чертами лица и с гордым взглядом больших синих глаз, иноземца. Подталкиваемый хозяином, гость подошел ближе к царю и изысканно поклонился.

— Кто ты есть таков человек? — привычным движением подставляя руку для поцелуя, спросил государь.

Иноземец шаркнул ногой, склонил русую голову и трепетно, как к величайшей святыне, приложился к кончикам липких и пропахнувших рыбой царевых пальцев.

— Юрий Крижанич… Хорват, славянин.

— Добро, — похвалил Алексей. — Гораздо добро.

Князь Никита, переглянувшись с ним, указал Юрию на место подле себя.

— Выходит. Москва тебе любезнее Рима? — дружески обнял он гостя.

Хорват молитвенно поднял к небу глаза.

— Я славянин. А славянину путь лежит не в Рим, а на Москву под сильную руку славянского государя.

Польщенный Алексей крякнул и, разгладив усы, точно невзначай поглядел на Матвееву. Хозяйка зарделась и потупилась.

Тепло встреченный царем хорват понемногу освоился с необычным

для него положением и заговорил спокойнее:

— А будет воля твоя, все обскажу без утайки.

Алексей охотно вместе с креслом придвинулся поближе к гостю

— Охоч я до сказок.

Откашлявшись в кружевной платочек, Крижанич скромно сложил руки на животе и чуть наклонил голову.

— Рожден я подданным султана турского, государь. А родителей потерял в дни ранней младости.

Алексей перебил его.

— Не возьмем мы в толк, откель ты добро так нашенским российским словесам навычен?

Матвеев, вскочив с лавки, поспешил ответить за гостя:

— Велико ученый он муж, государь… С женушкой моей давеча так по-англицки лаяли, инда оторопь меня взяла.

Царь ревниво повернул голову к Гамильтон. Его голубые глаза потемнели и на лбу залегла глубокая складка.

— По мысли, выходит, тебе молодец иноземный!

Морозов и Никита Иванович сладенько переглянулись, скрыв в бородах многозначительную улыбочку. Гамильтон обиженно надула губы и нервно смяла шелковые гривы столового покрывала.

— Сказывай! — опомнившись, прикрикнул на хорвата царь.

— И увезли меня в Италию, — упавшим голосом продолжал тот. — Там много познал я премудростей и жил у итальянцев, как в родном доме.

— Какого же нечистого от житья такого потянуло тебя на Московию неумытую? — уязвил его Ордын-Нащокин.

Крижанич взволнованно ответил:

— Отечество мое объединенное славянство! По то и дорога моя туда, где живут славяне!

— А ей право, пригож ты, Юрка! — с искренним удовольствием воскликнул царь и в порыве великодушия объявил:— Быть тебе под нашей рукой в таком добре, какого у тальянцев не видывал.

Он пошептался с Нащокиным и Морозовым и торжественно встал.

— Жалую я тебя, сербин, одинадесятью копейками дневного жалованья. Живи по-боярски.

Хорват благодарно прижал руки к груди.

— Утресь же приступлю к делу своему. Настал час, когда думка всего живота моего сбывается: будет у славян для единого языка грамматика всеславянская!

* * *

Развешанные по стенам в дорогих футлярах часы пробили десять. Гости заторопились по домам. Матвеев умоляюще взглянул на царя.

— Показал бы милость, погостевал бы еще у меня. Потешил бы я тебя игрецами.

Царь согласился. Предводительствуемые хозяйкой, гости вошли в огромный терем, поддерживаемый двумя рядами мраморных колонн.

На хорах, обряженные по-скоморошьи, стояли наготове музыканты. Едва показался царь на пороге, музыканты, собрав всю силу легких, так затрубили, что в терему погасли свечи.

— Добро! — смеясь вымолвил царь.

Неистовые трубные звуки смягчались, принимали постепенно формы плавной и стройной мелодии.

Натешившись музыкой, Алексей пожелал походить по хоромам.

— Умелец ты терема убирать, — ласково обратился он к Матвееву. — Прямо тебе ни дать, ни взять, иноземец!

Артамон Сергеевич скромно потупился.

— Тут уж умелец не я, а хозяюшка.

И обратился к жене:

— Показала бы государю товар лицом, поводила бы по убогим хороминам нашим.

Матвеева, не дожидаясь повторения просьбы, увела за собой государя.

— Что невесела? — тепло прижался плечом к круглому плечику шотландки Алексей, когда они очутились в угловом терему.

Матвеева печально улыбнулась и уселась рядом с царем на широкую, обитую атласом, лавку.

— Постой, — насторожился царь. — Никак, шебуршат?

Женщина, слегка раскачиваясь, поправила пышную прическу из рыжих волос своих и, закинув нога за ногу, точно случайно подняла шуршащий шелк платья.

Алексей облизнул кончиком языка губы.

— Замолвила бы словечко доброе мне.

Она отодвинулась и закрыла руками лицо.

Царь заерзал на лавке и так засопел, как-будто нес на себе непосильную тяжесть.

— Замолви же для государя!

— Соромно мне! — вздохнула Матвеева.

— Неужто прознали? — вздрогнул Алексей и схватился рукой за грудь.

Матвеева припала губами к пухлой руке царя.

— Кто посмеет прознать!… Верный холоп, ежели и зрит, позабывает тотчас, а ворогов не страшно. Кто посмеет прознать про дела государевы?

— А об чем же туга? — сразу успокоился Алексей.

— Соромно мне, горлице твоей, ходить в женах простого думного дворянина. Неужто же краше моего боярские жены?

Алексей милостиво улыбнулся.

— Быть по сему! Жалую Артамона боярином.

ГЛАВА X

Многие люди стремились войти в кружок преобразователей. Однако Ордын-Нащокин, заправлявший всеми делами кружка, принимал новых членов с большой осторожностью и строгим выбором. Особенно подозрительно относился он к знати.

Прежде чем попасть "на сидения" к Матвееву, новички подвергались строгому испытанию. Они должны были заменить

старинный русский кафтан немецким платьем и так разгуливать в праздничные дни по улицам. Дважды в неделю они обязывались посещать Андреевский монастырь, где монахи проверяли их познания в философии. По приказу кружка — беспрекословно отправлялись на площади, чтобы вступить в спор с раскольниками. Сидели они за одним столом с иноземцами и пили с ними из одной братины. Сморкались не в кулак, а в платок, и даже подстригали коротко бороды…

Удачно выдержавшие эти и многие другие испытания торжественно провозглашались "преобразователями".

Только рудознатцы, розмыслы и живописцы освобождались от всяких испытаний и сразу входили в кружок полноправными членами. Но такие люди ненадолго задерживались на Москве: их вскоре же отправляли на окраины для отыскания золотой и серебряной руды, постройки господарских домов "по еуропейскому обычаю" и для обучения княжеских детей "живописному умельству".

Ордын— Нащокин, помимо многочисленных своих обязанностей, занялся еще и военным делом. Вместе с полковником Кемпеном он тщательно разработал и углубил все свои планы, о которых писал царю еще из Кокенгаузена.

По его настоянию были учреждены пограничные войска: вместе с наемными воинами, набиравшимися из иноземцев, на службу были приглашены чужестранные офицеры, приступившие к обучению русских военному делу на европейский лад.

Горячее участие во всех делах кружка принимала также и Гамильтон, весьма подружившаяся в последнее время с Марфой.

Ртищевой казалось, что она обрела наконец истинный смысл жизни. Федор во всем поощрял жену и очень гордился ею.

— Эвона, каково подле мужа ученого пообтесаться, — хвастал он перед друзьями, искренно веря в свои слова, — от единого духу, что стоит в усадьбе моей, даже жены неразумные и те европейской премудрости набираются.

Марфа редко бывала дома и почти совсем переселилась к Матвеевой. В старой заброшенной повалуше было устроено нечто вроде приказа, где происходили бесконечные сидения, страстные споры и рождались смелые планы. Князья Милорадовы и дьяк Шпилкин состояли постоянно советниками при Марфе и Матвеевой.

По совету Гамильтон государь разрешил построить близ Немецкой слободы заводы — стеклянный, железоплавильный и бумажный. Матвеев на радостях задал богатый пир и до бесчувствия споил всех гостей и свою многочисленную дворню.

* * *

Со всех сторон потянулись на Москву черные людишки строить заводы. Для руководства постройками из-за рубежа были выписаны специальные розмыслы и умельцы. Они же были оставлены и мастерами на заводах.

Сам государь, принимая у себя умельца, объявлял:

— Глядите ж, делайте по уговору, чтобы нашего государства люди то ремесло переняли.

И после, когда заводы уже работали, главное внимание надсмотрщиков было обращено на то, чтобы иноземцы ничего не таили от русских и добросовестно обучали их своим познаниям.

Крестьяне, холопы и простолюдины, обласканные Милорадовыми, Шпилкиным, Матвеевой и Марфой, с большим усердием принялись было за работу на заводах. Однако вскоре они поняли, что заводы построены не на радость им, а на неслыханные мучения.

Пытка начиналась задолго до зари. Голодные, невыспавшиеся, бегали под ударами батогов работные люди, таскали тяжелые чушки, задыхались, насквозь промокшие от пота, долгими часами возились у топок, падали замертво… Их выбрасывали на улицу, и там они или замерзали, или заболевали тяжкими недугами.

Поздно вечером раздавался свисток, призывавший к шабашу. Работные, еле живые, уходили из мастерских, чтобы, похлебав в бараках пустых щей и забывшись на короткие часы бредовым сном,

вновь спешить в проклятое пекло.

Когда ропот потерявших терпение людей доходил до Кремля, Гамильтон, улучив удобную минуту, запиралась с Алексеем у себя в тереме-башне и шептала:

— Будь тверд, государь. Подражай во всем Западу… Ибо на то созданы Богом смерды, чтобы господари уготовали себе через их труды достойное житие.

Царь недоверчиво качал головой.

— А сдается нам, спалят работные заводы наши… Ох, уж и ведомы нам те смерды!

Гамильтон весело улыбалась.

— А не токмо что подпалить, рта не откроют без благословения спекулатарей. Все их помыслы у нас как на ладони. Почитай, на трех смердов по языку поставили…

— И то! Не зря ты и мудростей европейских преисполнена, лебедушка моя.

— А людишек-то, государь, на наш век хватит. Их сколько ни выколачивай, а они, как блохи плодятся!

— Хе-хе-хе!… Как блохи!… И ловка же ты на словеса распотешные!

Алексей, несмотря на свое сочувствие "преобразователям", все же не хотел открыто бороться с боярами и с торговыми людьми, державшимися старины.

— Тих я, гораздо тих, не рожден для свары, — смиренно поглаживая живот, вздыхал он, когда представители кружка приставали к нему с чересчур уже смелыми планами. Но все же, не давая прямого согласия, он вел беседы так, что "преобразователи" со спокойной душой поступали; как хотели сами.

Выходило, будто во всех новшествах повинен не государь, а вельможи его.

Беседуя с боярами, верными старине, Алексей заламывал вдруг руки, падал на колени перед образом и срывающимся голосом

молил Бога помиловать его и снять бремя царствования.

— Повсюду кривды, лукавство и себялюбие! Ты, Господи, веси, каково нам с тихою нашею душою терпети свары… Избави мя, свободи от стола государева! Сподоби мя, одинокого, приять смиренное иночество.

Бояре сокрушенно вздыхали и молча, по одному, уходили, унося в сердце своем тяжелый, туго переплетенный клубок сочувствия, недовольства, подозрения и веры в правдивость царя.

* * *

Боярская дума давно уже не была участницей верховной власти. Однако думные сидения время от времени еще происходили, хотя и заканчивались почти всегда сварой и озлоблением.

Родовитое боярство цепко держалось за призрак былого могущества своего и не хотело мириться с тем, что рядом с ним, а то и выше, восседают и забирают большую силу какие-то безвестные людишки, "дьяковские дети". Родовитые придирались к каждой мелочи, чтобы задеть, оскорбить и уничтожить новых любимцев царя. Ни одно предложение худородных, даже если оно вызывалось необходимостью, не получало у них поддержки и одобрения. Поэтому царь собирал думу все реже и реже — причем, каждый раз на сидение, будто случайно, попадали многие сторонники новшеств.

В день, когда в думе был проведен закон "сделочных крепостей" на крестьян, князь Хованский, дождавшись Нащокина, набросился на него чуть ли не с кулаками.

— Ты ли господарь высокородный, коему с древних времен положено Богом дела крестьянские рядить?

Ордын надменно оглядел князя и, словно нехотя, процедил сквозь зубы:

— А сидел я в думе не по своему хотению, но по государевой воле.

Хованский взмахнул кулаком перед носом Афанасия Лаврентьевича.

— А не бывать тому, чтобы ворону превыше орла летати!

Дрожа от лютого гнева, он хрипел, выкрикивал, надрываясь:

— А ныне бояре и окольничие, коих род идет от Володимира равноапостола, в ту думу и ни для каких дел не ходят!… То вы, безродные псы, царя сему наущаете. Вы!

И, пригнув голову, неожиданно ударил в грудь Ордына.

— Накось, откушай, посольских дел управитель смердящий!

Нащокин, не ответив ни слова, почти бегом пустился с челобитной к царю.

Алексей принял управителя в трапезной.

— Не лихо ль какое?

— Лихо, царь! Не можно мне больше быти у дел государственных.

Униженно ползая на коленях и без меры привирая, Нащокин рассказал о стычке своей с Хованским. Государь гневно хлопнул в ладоши:

— Подать нам Хованского! — крикнул он вбежавшему дьяку — На аркане приволочить, коль упрется!

Едва князь вошел в трапезную, царь рванул его за ворот и стукнул изо всех сил затылком об дверь.

— А запамятовал ты, князь Иван, что взыскал тебя на высокие службы я, великий государь, а то тебя всяк обзывал дураком!… За Афоньку всему роду твоему быть разорену!

Он покосился на Ордына, наслаждавшегося позором Хованского, и, успокоившись, приказал дьяку Заборовскому принести Уложение и прочитать первую статью из третьей главы.

— Внемли! — щелкнул он пальцем по низкому лбу Хованского, когда дьяк вернулся со сводом:— Авось, поумнеешь маненько!

Дьяк стал посреди трапезной и, перекрестясь, загудел.

Будет кто при царском величестве в его государевом дворе и в его государьских палатах, не опасаючи чести царского величества, кого обесчестит словом, а тот, кого он обесчестит, учнет на него государю бита челом о управе, и сыщется про то допряма, что тот

на кого он бьет челом, его обесчестил: и по сыску за честь государева двора того, кто на государеве дворе кого обесчестит, посадите в тюрьму на две недели, чтобы на то смотря иным неповадно было вперед так делати.

Окончив, Заборовский благоговейно закрыл Уложение и, подняв его высоко над головой, как Евангелие на выходе из алтаря, направился в сени.

— Слышал ли? — важно поглаживая бороду, спросил Алексей.

Хованский отвесил низкий поклон.

— А противу Уложения мы не смутьяны. Како положено, тако и сотвори.

Он пожевал губами и, обдав Нащокина ненавидящим взглядом, громко прибавил:

— Токмо от того, что меня в узилище ввергнут, Афоньке высокородней не стать.

— Молчи! — крикнул на него царь. — За дерзость твою еще двумя неделями жалую от себя, рыло телячье!

* * *

Долго, точно в дальний путь, собирался Хованский в тюрьму. Со двора своего он выехал в богато убранной колымаге, сопровождаемый толпой холопей и обозом.

У ворот тюрьмы князя Ивана встретили дьяк и стрелецкий полуголова.

— Добро пожаловать, князь! — приветствовал дьяк, помогая Хованскому выйти из колымаги.

Устроившись на груде подушек, князь спокойно ждал, пока для него уберут помещение. Когда все было готово, холопы ввели господаря в каморку и уложили на пуховики.

— Удобно ли, князюшко? — подобострастно скаля зубы, спросил полуголова.

Князь важно поглядел на служивого.

— Отбуду срок, всех одарю!… По-княжески. Чать, не псы мы

худородные.

И, потянувшись, точно про себя произнес:

— Измаешься тут… Девку бы, что ли?…

Полуголова услужливо засуетился.

— Как без девки в одиночестве да в туте! Чай, и девки те истомились в темнице без ласки…

Он выбежал из каморки. Хованский остался один, уютней устроился на пышной постели и натянул на глаза покрывало, попытался заснуть.

Вдруг ему почудилось, будто кто-то скребется в углу Он приподнялся и испуганно вытаращил глаза.

— Ай!… Крысы!

На крик прибежали и стрелец, и холоп.

— Изловить!… Изничтожить! — ревел побелевший от страха князь, не спуская глаз с двух огромных, ростом с кутенка, пасюков.

Стрелец ловким броском загородил поленом вход в нору. Спокойные до того, привыкшие к людям, крысы, почуяв опасность, разъяренно ощерились.

— Упади на них… Брюхом, баба!… Не трусь! — увлеченно командовал князь. — Лавкою по башке!… Лавкой же, смерды!

Наконец крысы были убиты. Хованский оглядел все углы и, убедившись, что ничто больше не угрожает его покою, выслал из каморки своей искусанных в кровь крысоловов.

Смеркалось. Откуда-то едва слышно доносился благовест.

— Во имя Отца и Сына, — молитвенно уставился князь в подволоку, но тут же умолк и прислушался.

— Никак идут?

Чуть приоткрылась дубовая дверь.

— Бодрствуешь, князюшко?

— А что?

В каморку, испуганно озираясь по сторонам и ежась от сырости, вошла полунагая, растрепанная девушка. Князь Иван причмокнул от

удовольствия.

— Ишь, востроносенькая!… Ну-кось, потешь господарика.

Девушка покорно ждала приказания.

— За что в узилище ввергнута?

— За недоимки. Подьячий споначалу к себе отписал, а погодя, будто за блуд, на двор тюремный пригнал.

— Так-так, — сочувственно вздохнул князь. — Понакручинилась, горемычная… Ну, да уж за то тотчас потехою потешишься: ползай ты по земле, аки крыса, а я ловить тебя буду.

И спрыгнув с постели, погнался за опустившейся на четвереньки девушкой.

За дверью послышался сдержанный хохоток потрафившего князю полуголовы.

ГЛАВА XI

Юрия Крижанича поселили в отдельной усадебке и не тревожили до тех пор, пока он сам не заявил, что окончил первую часть своей работы.

Пользуясь полной свободой, хорват проводил досуг в прогулках по Москве в изучении обычаев и нравов русских людей. То, что он увидел в короткое время, крайне поразило его. Он начинал чувствовать, что пламенная вера его в Русь и в то, будто только она способна открыть миру новые, неизведанные человеческие пути к совершенству, гаснет, тускнеет, сменяется тревогою… Однако, он не мог так просто, сразу, отказаться от своей страстной мечты о всеславянском государстве и искусственно разжигал в себе слабеющие силы.

В тот день, когда Крижанич должен был прочитать свой труд, у Артамона Сергеевича собрался весь кружок. Юрий старался не выдать своих сомнений и держался так, как будто ничего не произошло с ним. Но перемена слишком резко бросалась в глаза, чтобы ее не заметить.

Шпилкин первый проявил сочувствие к хорвату и ласково коснулся его руки.

— А сдал ты, сербин… Как из решета задор-то твой весь просыпался.

Князь Никита расхохотался.

— А хлебнет еще маненько духу российского, так обславянится, что хоть святых вон выноси.

Хорват вспыхнул.

— Я духу тяжелого не страшусь. На то мы и живы, чтобы очистить от тьмы души людишек российских.

Ртищев с видом победителя шагнул к хорвату и постучал пальцем по его груди.

— Ну, вот и сказ весь! И выходит, что без Европы никак славянам не обойтись. Потому, вся навыченность наша от Запада.

Крижанич болезненно вздохнул.

— Доподлинно, темна Россия, точно в гроб тесен заколочена да камнем придавлена.

Глаза его зажглись непоколебимым упрямством.

— А и от Запада возьмем, что на потребу славянам!… От того, поди, нас не убудет. Тесто наше, а сдоба европейская. А замешавши, таку диковинку выпечем…

Он пощелкал пальцами, подыскивая подходящее слово и не найдя его, вытащил из кармана тетрадку

— А будет ваша милость послушать, все доподлинно уразумеете.

Кружок с большой охотой и любопытством приготовился слушать. Хорват раскрыл тетрадку и близко поднес ее к глазам:

" Адда и нам треба учиться яко под честитым царя Алексея Михайловича владением мочь хочем…"

Матвеев удивленно пожал плечами.

— Сие не по-нашенски, а по-тарабарски. Нешто уразуметь русскому человеку таку премудрость, прости, царица небесная…

Хорват остановил его строгим движением руки и продолжал:

" Мочь хочем древние дивячины плесень стереть, уметелей ся научить, похвальней общения начин приять и блаженно его стана дочекать."

— А ни вот столько, — показал на кончик своего ногтя смущенный постельничий.

Остальные глядели на хорвата, как на юродивого, и молчали.

Юрий снисходительно улыбнулся.

— Покель латыни не превзошли такожде, небось, дивовались?… А славянам не латынь вместна, а всеславянский язык.

И, не торопясь, перевел прочитанное:

" Значит, и нам надобно учиться, чтобы под властью Московского царя стереть с себя плесень застарелой дикости; надобно обучиться наукам, начать жить более пристойным животом и добиться более благополучного состояния."

Все оживленно заговорили. Сразу появились ярые сторонники и враги нового языка.

Юрий настолько увлекся, стараясь показать правоту и важность своей затеи, что выпалил, позабыв осторожность.

— А и кардинал, когда я, будучи пастором в Риме…

Он тут же осекся, испуганно уставился на опешивших собеседников. Но было уже поздно.

— Пастором? — процедил с омерзением сквозь зубы пришедший под конец чтения дворянин Толстой.

— Па-сто-ром? — хором повторили за ним остальные и, точно сговорясь, трижды истово перекрестились.

Ртищев брезгливо отодвинулся от Крижанича, сунув за ворот руку, дрожащими пальцами стиснул нательный крест.

— Да воскреснет Бог и расточатся врази его!…

Если бы не подоспевшие вовремя Марфа и Гамильтон, дело окончилось бы печально для хорвата.

Гамильтон с презрением оглядела "преобразователей":

— Так вот она вся навыченность ваша российская!

Артамон Сергеевич смутился, не зная, как повести себя, чтоб не показаться дикарем перед женой и не вызвать недовольства гостей.

Марфа тем временем поманила к себе мужа:

— Ты бы хоть, соколик, угомонил их… Поди, всех ты ученей.

Постельничий, польщенный словами Марфы, сразу почувствовал себя убежденным сторонником хорвата.

— А был пастором, да ныне отрекся! — крикнул он. — И неча про старое поминать.

Заслышав приближающиеся шаги, Гамильтон выглянула в дверь.

— А вот и Федор Петрович Обернибесов. Как есть к вечере пожаловал, — обрадованно объявила она и, подарив гостя ласковой улыбкой, рассказала ему о происшедшем, стараясь каждым словом показать свое презрение к кружку и веру только в него одного.

Обернибесов, ни с кем не поздоровавшись, подошел к Юрию.

— Не кручинься и веруй в превеликую дружбу нашу. Ибо ведомо нам, что хоть и хаживал ты в пасторах, а душу имал в себе славянскую.

И повернулся к Романову.

— Так ли я сказываю, князь Никита Иванович?

— Так, — великодушно согласился князь. — Будь по глаголу постельничего: что было — прошло, быльем поросло.

Не смея возражать дядьке царя, кружок примирился с новостью и обещался не выдавать тайны хорвата, которому в случае, если бы узнали, что он был пастором, грозило изгнание из Руси.

Гамильтон пригласила гостей в трапезную. За вечерней, в противовес русским обычаям, не было ни вина, ни обилия яств. Зато, наперекор старине, нарочито велась оживленная беседа.

— Обмыть да причесать надобно московитянина, — склонив голову в сторону женщин, вкрадчивым голосом произнес успокоившийся немного Крижанич.

Марфа невесело усмехнулась.

— Где уж! Нешто нашим свиньям вдолбишь…

— Обсказать бы про все за рубежом, руками бы замахали, — подхватила Матвеева, — веры не дали бы словесам. Эки, ведь, свиньи! От воров деньги в рот прячут, горшков не моют… Подает мужик гостю полную братину и оба-два пальца в ней окунул. А дух… Ничем не смыть духа того!

Она передернулась с отвращением и замолчала.

Вскоре после трапезы часть гостей разошлась по домам. Остались Ртищев с женой, Ордын-Нащокин, хорват и Толстой.

Крижанича увели в угловой терем-башню.

— Можно ли? — шёпотом спросил Юрий, когда Гамильтон, убедившись, что никого в сенях нет, заперла на засов дверь и присела на диван.

— Начинай, — с такой же таинственностью шепнул Нащокин и приготовился слушать.

Бледный, с нахмуренным лицом, стоял посредине терема Юрий, устремив куда-то ввысь горящий взгляд. Точно зачарованная, любовалась им Марфа; она не знала еще, о чем будет говорить этот странный, так непохожий на русских, чужеземец, но твердо верила, что пойдет за ним на какой угодно его призыв.

Ртищев, нахохлившись, исподтишка следил за женой. Охваченный беспокойством, он не выдержал и потянулся губами к ее уху.

— Марфенька…

Марфа вздрогнула и с ненавистью откинула голову.

— Ну?

По глазам мужа она поняла, что тот хочет сказать, и через силу выдавила на лице улыбку.

— Диву даюсь я, как будто и пригож сербин, а все нету в нем закваски твердой, как у российских людей, как у тебя, мой соколик.

Федор гулко вздохнул. "Экой я, право! И как мог я усумниться в чистой голубице своей!" — подумал он с укором самому себе и блаженно уставился на Крижанича.

— Чти, что ли, грамоту, — заторопил Юрия Толстой.

Юрий мялся и продолжал молчать.

— Аль боязно? — строго насупился Ордин и встал. — И то, дело такое, что без крестного целования начинати не можно.

Он первый подошел к образу. Выслушав данную всеми присутствовавшими в терему клятву, Крижанич уже безбоязненно достал из подкладки кафтана сложенный вчетверо лист бумаги.

— Починать?

— Починай, — кивнула Гамильтон.

Склонив голову и подавшись туловищем вперед, Юрий вполголоса начал:

" Какая должна быть власть в государстве Российском? Всем людям на потребу поущение от честной коллегии народолюбцев, во имя Отца и Сына и Святого Духа: 1) Просвещение, наука, книга — мертвые, но мудрые и правдивые советники. 2) В Христианском государстве несть места жестокости в управлении, обременения народа непосильными поборами и мшелом…"

Толстой недовольно крякнул и с ненавистью поглядел. на Крижанича, но тотчас же опомнился, весь обратился в слух. Хорват продолжал:

" А посему надобны слободины, права народу и сословное самоуправство. Торговые люди да выбирают себе старост с сословным судом, ремесленников гоже соединить в цеха, а всем промышленным людям надобно волю дать, бить челом государю и начальным людям о своих нуждах, а и оборонять их от областных управителей. Крестьянам же дозволить вольно трудиться и от крепости к земле свободить…"

— Эгей, постой-ко! — приподнял брови Нащокин. — Такого уговору у нас с тобой не было про крестьян.

— А и про мшел зря помянул, — вставил Матвеев. — Токмо умам брожение!

Подбодренный взглядом жены, Ртищев покрыл все голоса резким

своим верещанием:

— А по-божьи коли, не можно в крепости держать людишек! Чай, крест на них тож православный, как и у господарей.

Крижанич виновато шаркнул ногой.

— Коль не любо коллегии, я попримолкну.

— Чти! — раздраженно махнула рукой Матвеева. — А кончишь, там порядим.

Юрий снова поднес к глазам лист:

" и от крепости к земле свободить, поколику противно то заповедям господа Исуса Христа. И еще по всем градам поставить школы, в коих бы умельствам разным народ обучать: золотарному, рудознатному и иному заводскому. И еще для женского полу учинить рукодельные школы, где бы и хозяйственной премудрости навыкали. А женихам наказать строго у невест грамоты испрашивать, чему обучалась. И еще дать волю холопям, обучившимся мастерству. И еще неустанно переводить на российский язык немецкие книги о ремеслах и торговлях. И еще призвать из-за рубежа иноземных немецких мастеров и богатых людей, которые обучали бы московитян мастерству и торговле."

Страстно, до самой полуночи, обсуждал кружок каждую строку хорватской грамоты. Под конец, внеся в нее кое-какие изменения и поправки, все присутствующие единодушно решили переписать грамоту и распространить тайно по Руси.

Толстой и Крижанич с большой охотой взяли на себя труд выполнить волю кружка. Первый принял на себя Москву, а второй — Поволжье и остальную часть государства.

— Баба та, что дадена нам в холопы со двора тюремного, Татиана, гораздо охоча будет нам подсобить.

Дома Юрий, позабыв про сон, полный новых сил и надежд, уселся за переписку "воровского письма" и очнулся лишь утром, когда постучалась к нему Таня.

Испуганно оторвавшись от бумаги, он шагнул к двери.

— Кой человек?

— Не разбудила ли я тебя, господарь?

Узнав голос Тани, Крижанич сразу успокоился и открыл дверь.

ГЛАВА XII

В тот же день, на дворе, в присутствии холопей, Таня бросилась Крижаничу в ноги и попросила отпустить ее на побывку в деревню к умирающей тетке.

Юрий долго упирался, ссылаясь на то, что все дороги кишат разбойными людишками, которые могут убить ее.

— А ты бы, господарь, испросил для меня двух стрельцов. Авось, уберегут меня те стрельцы от напасти.

Хорват оскорбительно засмеялся.

— Да эдак, ежели каждую блудную бабу со двора тюремного свитой жаловать, и стрельцов не наберешься.

Холоп схватил Таню за волосы, готовый по первому знаку господаря избить ее. Но Юрий резким окриком остановил холопа и задумчиво уставился на небо.

— Нешто по пути володимирскому воеводе цидулу отдать, — произнес он, будто рассуждая с самим собой и испытующе поглядел на женщину.

Таня встрепенулась.

— Живота решусь, а цидулу доставлю.

— А коли так, — уже твердо объявил Крижанич, — собирайся со Господом в путь.

Покончив с домашними делами, Юрий отправился к Толстому с сообщением, что все готово для отъезда Тани.

Толстой обещал исхлопотать двух стрельцов и по-братски облобызался с хорватом.

— Дал бы Бог бабе вдобре до Савинки того добраться, ужо усердно тогда московских людишек я образую! От века до века памятовать будут наставника и благодетеля своего, сербина Юрия!

Крижанич, по уши обласканный хозяином, ушел домой. Едва гость скрылся за переулочком, Толстой вскочил на коня и помчался на Арбат в усадьбу Стрешнева, где в тот день гостил государь.

Узнав о приезде дворянина, Алексей немедленно принял его.

Толстой на коленях подполз к царю, приложился к краю кафтана и опасливо повернулся к Стрешневу.

— Нету ль подслуха тут?

Стрешнев успокоил гостя.

Толстой не решался выдать всех членов кружка, так как знал их силу и влияние на царя, а потому, чтобы не подвергать себя их гневу, все валил на Крижанича. Сжав кулаки, царь весь обратился в слух и не спускал глаз с дворянина.

— А откель тебе все ведомо стало? — спросил он вдруг. — А и пошто до сего дни молчал?

Толстой встал с колен и гордо выпрямился.

— С первого часу сдавалось мне, будто не с добрыми думками пришел тот сербин на Русь. А посему в холопи ему пожаловал я трех языков да одну бабу, которая якшается с разбойным человечишкой. А до сего дни не сказывал, чтобы на деле познать, правду ли рекут все языки, про то, что снюхался сербин с ворогами твоими, смутьянами.

Алексей ткнул свою руку в губы Толстого.

— Иди и памятуй: за Богом молитва, а за царем служба не пропадает.

* * *

Поутру, в колымаге, нагруженной двумя тяжелыми сундуками, Таня выехала из Москвы. Ее сопровождали два стрельца, приставленные для "охраны цидулы от знатного иноземного гостя сербина Юрия ко володимирскому воеводе".

Едва лошадь свернула в лес, из-за дерева выскочили какие-то оборванцы.

— Стой! — повелительно крикнули они и бросились к колымаге.

Один из стрельцов стремительно юркнул в кусты и исчез. Разбойники навалились на второго стрельца:

— Вяжи остатного ушкана!

Дозорившие у лесной рогатки стрельцы, заслышав крики, подняли тревогу и обступили лес.

После недолгой борьбы нападавшие сдались. Стрельцы подошли к Тане, окруженной стражей, и недоуменно разинули рты.

— Откель такое великое множество цидул у холопки?

Старший взял из вороха одну из листовок и, прочитав первую строчку, изо всех сил ударил женщину кулаком по лицу.

— Да то воровское письмо!… Да то измена нашему государю!

Связанную и избитую Таню увезли в Разбойный приказ.

План Толстого удался на славу. Все вышло так, как он задумал. Языки, изображавшие в лесу разбойных людишек, по всем улицам трезвонили о том, что случайно наткнулись на колымагу и, заподозрив недоброе, вскрыли сундуки, в которых оказались воровские письма. Никому и в голову не приходило, что Таню предали; так все, что произошло, было просто и правдоподобно.

Испробовав все пытки и ничего не добившись, дьяк, допрашивавший Таню, с отрядом рейтаров отправился в Андреевский монастырь, где ничего еще не подозревавшие Юрий и Ртищев мирно вели с монахами ученые беседы. Ворвавшись в покои, стрельцы набросились на хорвата и связали его.

— Все баба про тебя обсказала! — ошарашил дьяк иноземца.

Однако Крижанич не поддался обману и прямо поглядел в глаза дьяку.

— Не пожаловал бы ты и меня, дьяк, не обсказал бы, что баба та лаяла про меня?

Постельничий, едва живой от испуга, прижался к стене и стоял так, не смея ни вздохнуть, ни пошевелиться. Его бил озноб. Он попытался было взять себя в руки и заговорить с дьяком, но прикусил до крови высунутый язык и только беспомощно затряс

головой.

Обыскав хорвата, стрельцы выволокли его на двор и бросили в колымагу.

Кое— как оправившийся Ртищев вышел, пошатываясь, за дьяком, глядя куда-то в сторону, погрозил пальцем.

— А и не соромно тебе, Юрко, за хлеб за соль за царские черною изменою воздавать?!

Но, почувствовав, как лицо заливает жгучий румянец стыда, съежился и жалко бочком двинулся к воротам. "Схватят ведь псы и меня! — думал он, исподлобья поглядывая на ратников. — Прощай, Марфенька со чадами моими малыми! Како жительствовать будете без меня?" Однако рейтары почтительно раступились и пропустили постельничего на улицу.

Очутившись на воле, Ртищев почувствовал такой приступ радости, что позабыл обо всем и, как мальчишка, помчался в поле…

Вечером усталый и разбитый, вновь полный тревоги, Федор пришел к Толстому.

— Слыхивал?

— Слыхивал, Федор Михайлович.

— И каково?

— Каково Бог положит, — вздохнул Толстой.

Неожиданно озлобившись, он больно сдавил руку постельничего.

— А не скулить ныне вместно, но думку думати, как бы нас не выдал сербин. Сам утопнет и наши головушки сиротские за собой в омут потянет.

Посовещавшись, они решили безотлагательно собрать всех членов кружка, чтобы сообща придумать, как спасти хорвата от неминуемой смерти.

* * *

Прямо из церкви, после всенощной, государь отправился в застенок. Он не узнал Юрия, до того обезображено было пыткой его лицо. Но слишком кипело еще негодование царя, "страшные"

слова воровского письма еще прыгали огненными кругами перед глазами и чрезмерна была еще обида на хорвата, чтобы в груди нашелся хоть крохотный уголок для жалости и снисхождения.

— Вор! — исступленно выкрикнул Алексей, впиваясь ногтями в горло полубесчувственного узника. — Язык европейский!… Христопродавец!

Дьяки подхватили его и, усадив на лавку, подали ковш студеного кваса.

— Не трудись, государь! Дозволь нам, сиротинам, чинить допрос.

Алексей опорожнил ковш, обсосал усы и шумно задышал.

Рядом с Крижаничем повисла привязанная к столбу Таня. Тело ее представляло собой сплошной кровоподтек. На боках и бедрах висели окровавленные лоскуты кожи и мяса. Из черных провалов жутко впились в пространство невидящие, отравленные безумием, болью и ненавистью, глаза.

Государь ткнул Таню посохом.

— Спокаялась ли?

Она не ответила.

— Не дразни! — снова рассвирипел государь. — Добром обскажи, кому письма воровские везла!

Сморщив лоб и сжав кулаки, Таня из всех угасающих сил своих пыталась побороть тяжелый мрак, окутавший ее мозг.

— Руси… Туда везла… Руси… Казни!… Всю Русь казни! — выкрикнула она и потеряла сознание.

* * *

Крижанича и Таню приговорили к казни.

Царь долго даже и слушать не хотел о помиловании, но в конце концов сдался на слезные моления Матвеевой и заменил хорвату смертную казнь ссылкой в студеные земли, а Таню повелел заточить до конца живота в подземелье.

На Ртищева так подействовали события последних дней, что он слег в постель и прохворал до осени. Марфа не отходила ни на

шаг от больного, с жертвенным терпением выполняла все капризы его. Чтобы сделать приятное постельничему, кружок перенес свои сидения в его усадьбу.

Федор, несмотря на слабость, принимал участие во всех спорах, касающихся "приобщения России к еуропейской учености". Но больше всего его интересовало преуспевание заводского дела.

Поправившись, он прежде всего отправился на железоплавильный завод.

Работа кипела вовсю. Десятки заросших дымом, грязью и копотью людей, не передыхая ни на одно мгновение, метались по двору, подобно развороченному муравейнику.

Была суббота. Вместе с церковным благовестом раздался наконец долгожданный свисток, возвещающий конец трудовому дню. Работные торопливо вышли на двор и построились долгою чередою по трое в ряд.

У ворот, за столиком, сидела Марфа и двое приказных. На земле, охраняемый стрельцом, стоял сундучок с медными деньгами.

Ртищев довольно улыбнулся и поиграл медяками.

— А добро, Марфенька, Милославский надумал медью серебро подменить.

Работные исподлобья оглядели постельничего и о чем-то горячо зашептались между собой. Один из приказных, прислушавшись, схватил со столика плеть и хлестнул по голове стоящего в первом ряду человека.

— Цыц!

Федор вырвал из рук приказного плеть.

— Не моги забижать!… То на роби иное дело, а после шабаша — не моги!

Ободренные заступничеством, работные придвинулись к столику.

— Покажи милость, господарь, не вели им медью нас потчевать.

Федор, не ожидавший такой просьбы, смущенно отошел за спину стрельца.

— Нешто не те же деньги ходячие медь?

— Те же, аль не те, не нам разбирать. То дело ваше, начальных людей… А ты выдь-ко на рынок, поглазей, в какой чести на рынке том медь!

— Выдь!… — пронеслось по рядам, смешавшимся в одну бурливую толпу. — Выдь! На серебро хлеб продают, а на медь веревки не сдобудешь, чтоб удавиться.

Ртищев сунулся к приказному.

— Так ли?

— Так, Федор Михайлович!

Постельничий пришибленно поглядел на жену, ища в ней поддержки, но ничего не дождавшись, растерянно повернулся к толпе.

— Я в недуге лежал, по то и не ведаю, что медные деньги словно бы ныне не деньги.

— Жрали бы их замест хлеба! —крикнул кто-то, покрывая все голоса.

Приказный затрясся от гнева.

— Кто дерзит? Выходи!

— Ого-го-го-го-го! —заклокотало в ответ. — Сам выдь-ко на нас!

Работные напирали к столику. Десятки рук потянулись к сундуку, подбросили его высоко и опрокинули на голову приказному. Сшибленный с ног стрелец упал на Марфу, увлекая ее за собой.

— Идем, Марфенька! — взмолился Ртищев, поднимая жену.

Марфа отказалась ехать с мужем и, под охраной спекулатарей, пошла к Гамильтон.

Федор приказал вознице везти его в Приказ.

Из Приказа он отправился домой. На пути его обогнал сильный отряд рейтаров. Постельничий любовным взглядом оглядел всадников и перекрестился.

— Токмо бы дал Господь без смертоубийства людишек угомонить.

Надевая шапку, он сокрушенно подумал: "До чего же прытки

смердушки наши! Ну, никоторой выучки и тонкости европейской… Все бы им смуты смутить". Прерывая его мысли, ухнул залп. За ним другой…

У самого дома Ртищева нагнала Марфа.

— Якшался со смердами!… Спалили они завод, — перекосила она лицо и впилась ногтями в руку мужа. — Все ты! Ты!… Европеец из капустной квашни.

Постельничий выпрыгнул из колымаги.

— А не можешь противу Богом данного мужа глас поднимать. Коли так, и в хоромины не пойду!

Марфа опомнилась, испуганно поглядела на Федора.

— Ты не гневайся, Федор Михайлович. То с кручины я… Противу закона Божьего не иду, и мужа своего почитаю.

Сгорбившись, готовый разрыдаться, безвольный и жалкий, поплелся Федор за женой в хоромы.

ГЛАВА XIII

Никон, опьяненный властью, перестал считаться с законами, касавшимися церковного и монастырского управления, и действовал так, как хотелось ему.

Неприступность, ореол царского величия, которым он окружил себя, крайне не нравились даже ближайшим друзьям его, не знавшим в конце концов, какому государю служить: Алексею Михайловичу или патриарху.

Время, когда Алексей уезжал из Москвы, было для вельмож самой жестокой порой, полною унижения и издевательств. Бояре, начальники приказов, окольничие, воеводы, вся московская знать долгими часами простаивали без шапок на патриаршем дворе, дожидаясь приема.

— Все спуталось нонече, неведомо стало, кто государь, — жаловались они друг другу, с ненавистью поглядывая на покои, — Богом ли помазанный Алексей Михайлович, а либо охвостье

мордовское, Никон.

Не выдержав унижения, бояре, набравшись наконец смелости, пошли к царице искать защиты против всесильного временщика.

Добившись приема, челобитчики распростерлись ниц перед Марьей Ильиничной. Окольничий, князь Петр Волконский, поднял над головой зажатую в два пальца цидулу.

— Горе нам, матушка, наша царица, — срывающимся голосом выкрикнул он. — Наступили бо последние дни. Безродные людишки именуются государевым именем!

Царица приказала челобитчику встать и, приняв от него бумагу, по слогам прочитала:

От великого государя, святейшего Никона, патриарха Московского и всея Руси, на Вологду, воеводе, князю Ухтомскому. Указал государь — царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси и мы, великий государь…

Боярин Михайло Салтыков, стоявший безмолвно на коленях у порога, схватился за голову.

— Вот, вот… Чуяла, матушка — "и мы, великий государь"… Ах, охальник!

Марья Ильинична с негодованием швырнула цидулу на стол.

— Доподлинно, велико дерзок сей мних!

Хованский подполз к государыне и звучно поцеловал соболью опушку на ее платье.

— А мы, князь-бояре, нонече те токмо ниже мнихов безродных, но и паче смердов почитаемся у патриарха.

— Токмо женкам да девкам и праздник нонче, — подхватил Волконский, — токмо оне во всяко время невозбранно ходят к благословению. Тем нонече время, и челобитные принимает от них патриарх невозбранно, и грехи им отпущает, удалясь от людских очей в опочивальню.

Царица, с большим участием выслушав челобитчиков, приказала немедленно вызвать Никона.

Патриарх выслал к послам своего келаря.

— Волим иметь беседу лик к лику с патриархом, — объявили послы.

Узнав о дерзости царицыных людей, Никон сам вышел на крыльцо.

— Како рекли? — тонкой сверлящей струей попустил он сквозь зубы и сдвинул брови.

— Волю государыни царицы мы со смирением выполняем, — ответили послы с поклоном.

И в один голос, едва скрывая злорадную усмешку, передали приказ царицы.

Никон выпрямился и поднял к небу руку.

— Изыдите и памятуйте: священство превыше царствования!

И, повернувшись к двери, ушел в покои. С того дня Марья Ильинична, и ранее недолюбливавшая патриарха за введенные им новшества, окончательно возненавидела его. Она ничего не сказала мужу, а начала действовать исподволь, через своего отца. Милославский, в свою очередь, осторожно, пользуясь каждым случаем, натравливал государя против Никона.

Алексей медленно, но неуклонно, поддавался наушничанью, все чаще решал дела по совету врагов Никона и тем, сам того не замечая, освобождался от влияния патриарха и охладевал к нему.

Уловив перемену в царе, Никон нарочито перестал с ним встречаться и заперся в своих покоях.

— Сам пожалует к нам. Не обойтись ему без мудрости нашей, — уверенно говорил он келарю, — где ему, духом слабому, Россией без нас управлять. А я не пойду, священство превыше царствования… Пущай сам первый пожалует!

Слова эти какими-то путями дошли до Милославского. Он тотчас же отправился с доносом к царю, прихватив с собой заодно челобитную духовенства на патриарха.

— И не токмо вельможи, священицы и мнихи ропщут на Никона,

— едва войдя в терем и приложившись к царевой руке, выпалил Илья Данилович.

Алексей взял челобитую у тестя и передал ее дьяку.

— Чти!

Дьяк перекрестился и, свернув трубочкой губы, начал:

"Прежние пошлины с духовенства за рукоположение брать он не велел, токмо новый порядок установил: ставленникам велел привозить отписки от десятников и от поповских старост, где кто в какой десятине живет; за такою отпискою пройдет недели по две и по четыре да харчу станет рубль и два; придет с отпискою к Москве и живет здесь недель по пятнадцать и по тридцать, и становится поповство рублев по пяти и по шести, окромя своего харчу…"

Царь слушал, закрыв глаза и покачиваясь из стороны в сторону.

— Эк, над меньшой братией глумится! — сплюнул он, когда дьяк окончил.

Милославский изобразил на лице своем величайшее страдание:

— И эдакий жестокосердный и недостойный дерзает именем государевым именоваться!

Подзадоренный царь засучил рукава.

— А и отпишу ж я ему!… Так глаголом письменным зашибу, до века не опамятуется.

Усевшись за стол, он принялся строчить гневную цидулу патриарху.

* * *

На Москву прибыл грузинский царевич Теймураз.

Улицы, по которым должен был проехать царевич, запрудили огромные толпы. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово выбился из сил, но продолжал вместе с отрядом батожников усердно размахивать немеющими руками, наделяя палочными ударами всякого, кто осмеливался слишком выдвинуться вперед.

Вдруг взгляд Хитрово упал на патриаршего дворянина. "Погоди

ужо, Никоново чадо, — сладко зажмурился он, — отменно попотчуешься", — и, улучшив удобное мгновение, ударил дворянина изо всех сил по спине:

— А не совалась бы опарушка из корытца!

Дворянин взвизгнул и повернулся к окольничему.

— Пошто бичуешь? Не простой я, чать, пришел сюда, а с делом.

Окольничий притворно удивился и отступил.

— А ты кто таков?

— То-то ж, кто я таков! — запальчиво ответил обиженный. — А патриарший я человек, да с делом посланный от государя патриарха!

Люди, стоявшие подле дворянина, со страхом попятились от него. Еще недавно и сам Хитрово, при упоминании патриаршего имени, струсил бы не меньше любого простолюдина. Но сейчас он хорошо знал, как изменились отношения государя к Никону, и потому, кроме наслаждения от стычки, он не испытывал ничего.

— От государя патриарха? — взмахнул он палкой и, крякнув, как дровосек, еще раз ударил дворянина. — А не чванься, самозваного государя холоп!

Избитый прорвался сквозь толпу и, извергая потоки проклятий, побежал к патриаршим покоям.

Нетерпеливо выслушав печалование, Никон, багровый от оскорбления, ударил по столу кулаком.

— Так и молвил "государь самозваный"?

— Так и молвил, государь патриарх!

— Погоди же, проклятый!

* * *

Поутру в Кремль пришли три архиерея — послами от Никона.

— Разыщи дело, царь-государь, — поклонились они в пояс царю. — Не попусти издевы над людьми святейшего патриарха. Сними невольное прегрешение с души своей и воздай поделом окольничему.

Алексей милостиво обошелся с послами, долго беседовал с ними, но ни одним словом не обмолвился о деле, за которым они пришли.

Только в самом конце беседы он многозначительно переглянулся с Морозовым и Милославским и, будто между прочим, обронил:

— А государили на Руси два государя, да приходились они отцом и сыном друг другу, а нам — дедом да батюшкою. Ныне же един государь царь и великий князь всея Руси мы, Алексей Михайлович!

И благодушно улыбнулся архиереям.

— Так ли, преосвященные?

Послы что-то проворчали в бороды и поспешили уйти.

* * *

В Успенском соборе, по случаю двунадесятого праздника, должно было состояться торжественное служение.

Патриарх, в ожидании государя, нарочито долго оттягивал начало обедни. Он заметно волновался. Маленькие круглые глаза его, так недавно глядевшие на весь мир, как на свою вотчину, потускнели, потеряли могущество и жалко бегали по сторонам, как будто искали защиты и участия. Шаги патриарха стали неровными, неуверенными, негнувшаяся раньше спина жалко, по-стариковски сгорбилась.

Время шло, а государь все не приезжал.

— Почнем во имя Господне, — чужим, сдавленным голосом объявил наконец священникам и иеромонахам, облаченным в сверкающие ризы, патриарх.

В дверях, ведущих в алтарь, показался князь Юрий Ромодановский.

— Благослови на вход.

— Входи!

Ромодановский шагнул к Никону.

— Не будет государь нынче во храме. Гневен царское величество на тебя. Сказывает царь, что пишешься ты великим государем, а у

нас един великий государь — царь.

Никон недоуменно пожал плечами.

— А называюсь я великим государем не сам собою, но так восхотел и повелел его царское величество. Свидетельствуют о сем грамоты, писанные его рукой.

Не глядя на князя, он разбитой походкой направился к царским вратам.

— Благослови, владыко! — раскатисто рявкнул архидиакон.

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков, — зло процедил патриарх, чувствуя, как странно забилось вдруг сердце и заломило правый висок.

Медленно и скучно тянулась обедня. Настроение Никона невольно передавалось духовенству и молящимся. Однако под конец патриарх приободрился и как будто повеселел. Приказав ключарю поставить у выхода сторожей и никого не выпускать из собора, он вышел на амвон и внятно, по слогам, отчеканил:

— Ленив я был вас учить! Не стало меня на сие, от лени я окоростовел. И вы, узрев мое к вам неучение, окоростовели от меня.

Он умолк, точно сбившийся со знакомой тропинки слепой, испуганно ощупал вздрагивающими пальцами воздух и всем туловищем подался вперед.

Сквозь щели царских врат, с затаенным дыханием наблюдали за патриархом монахи.

— От сего дни, — крикнул вдруг Никон, задыхаясь, — я больше не патриарх вам! Ежели же помыслю патриархом быть, то буду анафема!…

Монахи выбежали из алтаря.

— Братие, не попустим!… Кому он убогих нас оставляет?

Верные патриарху людишки подхватили вопли монахов и метнулись к амвону.

— Кому ты убогих нас оставляешь?… Смилуйся, государь,

патриарх!

Никон перекрестился и вытер рукавом глаза.

— Кому вам Бог даст и пресвятая Богородица изволит, к тому и прибегнете!

Он скрылся в алтаре и вскоре вернулся с мешком, в котором было припасено простое монашеское одеяние.

— Помилуй!… Не покидай нас, убогих, — стонали молящиеся.

Монахи вырвали мешок из рук патриарха.

— Не дадим! Негоже святейшему всея Руси государю патриарху в одежды мнихов простых рядиться.

Немощно опираясь на жезл, Никон поплелся в ризницу, вернулся в мантии с источниками и в черном клобуке.

— Благослови вас Бог, — низко поклонился он и, не слушая увещеваний, направился к выходу.

* * *

Больше месяца патриарх не выходил из своих покоев, тщетно дожидаясь доброй вести от государя. Но Алексей, подстрекаемый женой и ближними, не хотел и думать о примирении.

Поняв, что царь не протянет первым руки, Никон решился на последнюю хитрость — написал Алексею униженную цидулу, в которой просил пожаловать ему келью, освободив от патриаршества.

Всю ночь провел Никон без сна. Мысли о том, что сила и слава его так неожиданно рухнули и, может быть, никогда уже не вернутся, истощили его, довели до отчаяния.

— Придет! Утресь придет! — упрямо долбил он, чтобы как-нибудь заглушить в себе безрадостные предчувствия. — В собор пожалует и сызнов другом наречет своим.

Но слова пусто отдавались в мозгу, не успокаивали. Утром Никон явился в собор в простом монашеском одеянии. В алтаре его дожидался князь Алексей Трубецкой.

— Царское величество повелел тебе цидулу вернуть, — подал князь бумагу Никону, — а еще сказывал, чтобы ты патриаршество

не оставлял; келий же на патриаршем дворе великое множество.

Потемневший Никон, едва сдерживаясь, чтобы не выдать своего жестокого огорчения и разочарования, резко бросил князю в лицо:

— Уж я слова своего не переменю, да и дано у меня обетование, чтоб патриархом не быть.

И, гордо выпрямившись, пошел из собора через Красную площадь на Ильинку, к подворью построенного им Воскресенского монастыря.

ГЛАВА XIV

Войны с Польшей, Швецией, Крымом и Турцией не прекращались, пожирали толпы людей, разоряли страну.

Все помыслы царя и ближних были обращены не на стремление к заключению мира, а на то, чтобы усилить наемные иноземные войска и обучить русские рати по европейскому образцу.

Народ давно уже вместо хлеба питался серединной корой, травами и кореньями. Пустели деревни, села и города. По Руси гуляла голодная смерть. Из заколоченных изб далеко по полям и дорогам разносился жуткий запах мертвечины. Наступил неслыханный с давних лет мор. Со всех концов земли приходили страшные вести.

Алексей забросил все потехи свои и проводил время в сидениях с ближними, в посте и молитве. Он осунулся, потемнел; глубоко запали и потускнели его, всегда благодушно улыбавшиеся досель, голубые глаза, грузное тело разбухло, сделалось тяжелым и дряблым, как перекисшая опара в квашне.

Когда ему донесли, что в Руси вымерло от морового поветрия более семисот тысяч человек, а в самой Москве — до семидесяти тысяч, он наложил на Кремль строжайший трехдневный пост.

Примолкли двор и палаты кремлевские. Смыло смех и людской говор. Скоморошьи стаи и музыканты попрятались в подземелья и темные уголки, чтобы видом своим не нарушить царившей вокруг мрачной торжественности. Тоскливо, точно дубравою заглушенный вой голодных волков, припадали к земле великопостные перезвоны.

Страстно прижимая руки к груди, не спуская проникновенного взгляда с распятия, на коленях, молился царь.

— Помяни души усопших раб твоих, имена же их ты, Господи, веси! — бился он об пол лбом. Христанские кончины живота нашего, безболезненна, непостыдна, мирна и доброго ответа на страшном судище Христовом просим! Избави от лютых смертей!… Избави!

Но чем больше молился Алексей, тем тревожнее сжималось сердце его и страх, неясный, непроизвольный, казавшийся поэтому еще более неизбывным, отравлял все существо. Подле государя неотлучно дозорили Ртищев и Милославский. В часы, когда, измученный молитвою и поклонами, Алексей укладывался на жесткую подвижническую постель, искренно опечаленный постельничий подползал на брюхе к кровати и с великой тоской заглядывал в желтое царево лицо.

— Не тужи!… Не надрывай сердца моего, холопьего, — всхлипывал он, лобызая ноги царя. — От Бога все… Не нам сетовать на волю его пресвятую.

Его хрупкая, полудетская спина жалко вздрагивала, острые приподнятые плечи почти касались ушей. Он говорил без конца, стараясь подыскать такие слова, которые могли бы утешить безмолвно слушавшего государя. Он готов был на самую тяжелую жертву, только бы вернуть этим покой "благодетеля и владыки". Но нужных слов не было. Растопыренные пальцы гневно скребли половицу, и тщетно напрягался до последних извилинок мозг в отчаянной попытке найти слово, которое принесет спасение Руси и тем развеселит царево сердце…

Когда трехдневный пост окончился, Алексей почувствовал себя бодрее. На него как будто снизошло умиротворение — так бездомный бродяга, случайно забредший на позабытый, заросший бурьяном и крапивой погост, неожиданно умиляется сердцем перед лицом сладко дремлющей вечности.

Устроившись подле окна, царь задумчиво глядел на тихую площадь, на перистые облачка, ласково приникшие к лазури неба, и чувствовал, как душа его преисполняется благодатью. А как хорошо было сознавать, что и это небо, и весь необъятный простор живут в нем, как живет он в них без личных желаний, без жалких и нищих человеческих дум, приковывающих вселенскую душу к земле!

— Верую, Господи, верую в жизнь бесконечную и не ратую на кручины житейские, — шептал он, улыбаясь блаженной улыбкой.

А в соседнем тереме уже дожидались с докладом Милославский, Матвеев и Ордын-Нащокин.

Ртищев за спиной царева кресла робко переминался с ноги на ногу, обдумывая, чем бы привлечь к себе внимание государя.

Тихо, мягким шепотком, беседовали вельможи о делах государственности. С недавних пор они забросили споры о преобразовании Руси. Страх возможного ослабления военной силы заставил их позабыть обо всем, отдать все силы на то, чтобы изыскать средства к содержанию войск и не подать им повода для ропота.

Алексей, убаюканный тишиной, вздремнул. Постельничий, зажав для большей верности пальцами нос и стиснув губы, бочком выбрался в сени.

— Тсс! — погрозил он пальцем, входя к вельможам. — Опочивает.

Милославский недовольно причмокнул.

— Обрел, тоже, время для опочивания.

— Тсс! — присел на корточки и испуганно вобрал голову в плечи Ртищев.

Но советники, не обратив на него внимания и посовещавшись между собою, вошли к государю.

Откинув голову на спинку кресла, государь храпел. Один глаз его был полуоткрыт, на прилипшей к щеке рыбной крошке копошилась стайка трапезующих мух.

— Кш, оголтелые! — нарочито громко крикнул Нащокин и взмахнул рукой перед самым носом царя.

Алексей мотнул головой и очумело уставился на ближних.

— Как почивать изволил, царь? — поклонился в пояс Матвеев.

Алексей облизал губы и расплылся в счастливой улыбке.

— Зрел я, будто в чертогах хрустальных белокрылые херувимы благословляют меня…

Он протянул руку к столу. Вельможи, отталкивая друг друга, бросились за квасом. Ртищев скользнул угрем между ног Милославского и вцепился в ковш.

— Испей, царь-государь.

Напившись, государь довольно крякнул и перевел взгляд на тестя.

— К чему бы во сне херувимов зрети?

— К казне… Не инако, казну обретешь…

Алексей незло погрозился.

— И лукав же ты… Клонишь к тому, зрю уж, чтобы сызнов меня тревожить беседами государственными.

Он помолчал и вдруг с умилением повернулся лицом к окну.

— Ты на небеса воззрись, на землю пречудную, на благодать Божию, что дадена нам и в былинке остатней немощной, и в солнце могутном, и в птице пернатой. В сем едином лишь радости человеческие, а не в суете сует… Да уж быть посему. Не отстанешь, ведь, от тебя. Выкладывай, что ли.

Усевшись на лавку, Илья Данилович без долгих рассуждений прямо объявил:

— А государственной казны нет нисколько, а служилых людей, казаков и стрельцов в городах прибыло, жалованье им дают ежегодно, докуки тебе от служилых людей, дворян и детей боярских большие, а пожаловать нечем.

Вся разнеженная умиротворенность, в которой пребывал с утра государь, мгновенно рассеялась.

— Не можно нам свары заводить со служилыми, — воскликнул он,

вскакивая с кресла. — На них и держава держится наша.

— То-то мы и речем, — подхватили дружно советники, — без служилых ты, государь, что орел без когтей, а либо христианин без креста!

Матвеев торопливо достал из кармана бумагу.

— А и надумали мы хилыми умишками, государь…

Он откашлялся, расправил бумагу и приступил к чтению.

Уткнувшись в бороду кулаком и собрав складками кожу на лбу, царь внимательно слушал.

— Гоже ли? — спросил он робко, ни на кого не глядя, когда Артамон Сергеевич, окончив чтение, положил на стол план нового налога.

— Гоже! — ответили все хором.

Помявшись немного, Алексей неуверенно подписал бумагу.

— Быть посему. А там, как рассудит Господь.

Вскоре по всей Руси на площадях приказные огласили новое царево постановление:

"Пожаловал людишек своих царь-государь налогами: с торговых людей — сбор пятой деньги и рублевый налог со двора; с духовенства и служилых — сбор полтинной и полуполтинной деньги; да с оемесленников, и крестьян двух с половиной деньги".

Сборщики податей тотчас же приступили к обходу дворов. Никакие мольбы не трогали их. Они уносили все, за что только можно было выручить хоть какие-нибудь деньги. Едва государь подписал постановление о налоге, пришла новая беда: из обращения стали исчезать мелкие монеты.

Но Милославский нашелся и здесь. По его совету, царь приказал рубить серебряные ефимки на четыре части и на каждую долю накладывать клеймо: "двадцать пять копеек". Таким образом, стоимость ефимка поднялась в два с лишним раза. Разница в стоимости целиком шла в казну.

Цены на товары, благодаря новым деньгам, росли с необычайной

быстротой. Стоимость же медных денег падала все более и более. Довольные вначале своей затеей, царь и ближние вскоре поняли, что денежные дела безнадежно запутываются. Не унывал один лишь Милославский.

— Была бы монета на рынках, а там все уладится, — уверенно заявил он однажды царю и предложил чеканить на Москве, в Новгороде и Пскове мелкие медные деньги — алтыны, грошевики и копейки по образцу старых серебряных монет.

Большое разнообразие мелких денег, уравненных не с новой порченой серебряной монетой, а и со старыми серебряными копейками, еще более усилило замешательство населения и нисколько не устранило недоверия к медным и легковесным серебряным деньгам.

* * *

Хлебные рынки пустели. Кое-где встречались еще возы с зерном и капустой, но крестьяне, простояв до вечера в тщетном ожидании покупателя, возвращались домой ни с чем.

По рынкам, одичавшие от голода, в отрепьях, толпами бродили работные и ремесленники.

— Христа для, подайте убогому, — клянчили они, жадно впиваясь ввалившимися глазами в возы с недоступным зерном. — Подайте Христа для!

Продавцы с участием глядели на нищих, но ничего не подавали.

— Сами не кушамши… Все на подати собираем.

Неожиданно стаей воронов, почуявших запах падали, нападали на рынок приказные.

Всполошенные мужики падали ниц.

— Помилуйте, не губите!

Но сборщики грозно взмахивали бичами.

— Не смутьяны ль уж вы, что противу податей восстаете?

Приказные оценивали не только хлеб, но и стоимость воза с конем и забирали почти все зерно без остатка.

— А жить-то чем нонеча? — вопили ограбленные. — Жить-то чем, благодетели наши?

Сборщики спокойно делали свое дело и уходили.

Милославский торжествовал. Его казна неукоснительно умножалась. Людишки его шныряли по Москве, проверяли сборщиков и львиную долю податей отбирали для своего господаря.

В день, когда были готовы новые хоромы Ильи Даниловича, построенные по "еуропейскому обычаю", он, полный гордого удовлетворения, с искренним чувством благодарности приложился к царевой руке.

— А и до чего же отменно все в державе твоей богоспасаемой, тесть мой и государь!

Алексей заткнул пальцами уши и затряс головой.

— Будет!… Опостылел ты мне с государственностью своей. Дай хоть малый час душеньке моей отдохнуть от сует земных.

— Отдохни, отдохни, благодетель.

Царь кивнул стоявшему у порога рассказчику.

— Сказывай!

И сетующе поглядел на тестя:

— Ты бы хоть единый раз потешил меня сказом таким, как сей дворянин Лихачев. А то все государственность да государственность… Тьфу!

Милославский добродушно усмехнулся.

— А отставишь меня от денежных дел да отошлешь, как сего Лихачева, во Флоренцию, чать, и я не лыком шит, тож смогу.

— Ну, не перечь государю!

Лихачев, уловив нетерпеливое движение царя, приступил к прерванному рассказу.

— И объявилися палаты… И быв палаты и вниз уйдет, и того было шесть перемен. Да в тех же палатах объявилося море, колеблемо волнами…

Алексей недоверчиво прищурился, переглянулся с тестем.

— Уж не выдумка ль!… Возможно ли быть морю в палатах?

Милославский махнул Лихачева ладонью по лицу.

— Ври, да из меры не проливай!

Обиженный гость перекрестился.

— А что зрел, о том и реку своему государю. А порукой тому сам герцог Тосканский.

Царь нараспев зевнул.

— Дивны дела твои, Господи!

И, томимый любопытством, заторопил Лихачева:

— Сказывай далее.

— А в море рыбы, — таинственно зашептал дворянин, прикладывая палец к рябому носу, — а на рыбах люди ездят, а в верху палаты небо, а на облаках сидят люди. Да спущался с неба на облаке сед человек в карете, да против его в другой карете прекрасная девица, а аргамачки под каретами как есть живые, ногами подрагивают…

Милославский заткнул уши и отошел к двери.

— Дозволь, преславный, уйти. Забрехался до краю дворянин, серед иноземцев пожительствовав!

— Нишкни, — погрозился Алексей.

Илья Данилович шмыгнул за порог.

— Сказывать ли, царь-государь? — поклонился Лихачев.

— Сказывай.

— А в иной перемене объявилося человек с пятьдесят в латах и почали саблями и шпагами рубиться и из пищалей стрелять и человека с три как будто и убили… И многие предивные молодцы и девицы выходят из полога в золоте и пляшут, и многие диковинки делали.

Восхищенный рассказом Лихачева, Алексей в тот же вечер вызвал к себе Матвеева, Ртищева и Нащокина.

— Волю зреть на Москве комедийное действо!

Ближние горячо поддержали царя и тут же принялись обсуждать,

кому поручить написать "действо".

Сидевший молча у окна Милославский, едва беседа окончилась, поклонился в пояс государю.

— Дозволь молвить.

— Реки!

— Сам ты, царь, премудро сказываешь: делу-де время, потехе же час.

— Ну?

Илья Данилович осклабился.

— Ну, выходит, хочу я за дело приняться.

Государь шлепнул тестя по животу и рассмеялся.

— Что ты с ним сотворишь, коли спит он и зрит свою государственность!

— Не о себе помышляю, — преданно заглянул Милославский Алексею в глаза, — о твоем пещусь благоденствии!

И таинственно прищурился:

— Добро бы, государь, всю многоликую монету скупить, а выпустить одноликую, ибо не имут людишки веры в нынешние деньги и на них никаких товаров не отпущают.

Царь сердито топнул ногой.

— Токмо давеча сказывал — отменно-де все в державе моей!

— Не обмыслил давеча хилым умишком своим, государь.

За Илью Даниловича вступился Ордын-Нащокин.

— Дело сказывает Данилович. Великого ума тесть твой, государь.

Алексей раздумчиво потер пальцами лоб.

— Нам-то от того лихва будет какая?

— Верная лихва, царь, — успокоил Милославский, — скупим меди на рубль да шестьдесят копеек, а чеканить из той меди будем сто рублев по мелочи. Я уж доподлинно все прикинул. Не зря же ты меня пожаловал ведать двором денежным!

Царь обнял тестя.

— А и, доподлинно, великого ума тесть наш Илья Данилович.

ГЛАВА XV

Все заботы об увеличении казны царь возложил на Милославского. Чтобы прежде всего улучшить свои собственные дела, Илья Данилович образовал артель для чеканки фальшивой монеты, в которую вошли боярин Морозов, дворянин Толстой, стольник Иван Голенищев, стряпчий Сила Макарьев Бахтеев, муж царевой тетки по матери, думный дворянин Матюшкин и торговый гость Василий Шорин.

По стопам "верных" голов и целовальников пошли и денежные мастера, серебряники, оловянники и иные.

Вскоре в народе пошли подозрительные толки: денежные мастера никогда не слыли богачами, жалованье получали убогое, мшел брать было им не у кого — жили тихо, скромно, перебиваясь с хлеба на квас; и вдруг, словно с неба, клад на них свалился. Кругом беспросветная нищета, моровое поветрие, а мастера каким-то чудом обрядились с семьями по боярскому обычаю, снесли покосившиеся избы свои и поставили каменные дворы, стали закупать в рядах, не торгуясь, дорогие товары, серебряную утварь, и каждодневно устраивать развеселейшие пиры.

— И откель благодать им такая? — зло перешептывались по углам люди.

А медные деньги обесценивались между тем все более и более. По Руси, под стенанья, вопли и скрежет зубов отплясывала свою страшную пляску смерть. Покойников не успевали хоронить и оставляли в замурованных избах. На месте сел, деревень и починков выросли погосты. Избы стали надгробиями. Ночью и днем по смрадным московским улицам бродили бездомные толпы голодных и падали замертво, чтобы больше не встать никогда. На всех перекрестках дозорили усиленные отряды рейтаров. Москва превратилась в стан, а ее обитатели — в полоненных людишек.

Потеряв надежду на лучшее будущее, люди с особенной

жадностью ухватывались за самые различные слухи и принимали их безоговорочно, как истину. Этим пользовались раскольничьи "пророки", громогласно вещавшие, не стесняясь присутствием рейтаров, о скором приходе антихриста и светопреставлении.

Однажды раскольники принесли новую весть. Народ всколыхнулся, повеселел; из уст в уста передавалось о скором приходе на Москву, на выручку голодающим, великой разбойной ватаги с атаманом Корепиным во главе.

Слух прокатился и смолк, и еще грознее насупилась притихшая Москва…

* * *

Доведенный до отчаяния народ решился на последнее средство: идти с челобитной к самому государю. Выборные отправились к Ртищеву.

— Ты, Федор Михалович, един не гнушаешься простолюдинов. Заступи ж и помилуй!

Ртищев разжалобился и на другой же день упросил государя принять челобитчиков.

На Красной площади с утра собралась огромная толпа голодающих. Выборные долго стояли на коленях перед храмом Василия Блаженного и исступленно молились "о смягчении и умилении царева сердца". Наконец их ввели в Кремль.

— Великий наш печальник и государь! — упали послы ниц перед Алексеем. — Дозволь челом бить тебе, помазанник Божий!

Царь вперил в подволоку глаза.

— Печалуйтесь!

Один из выборных подполз к Алексею и припал к его ногам.

— Хлеб учал дорог быть высокою ценою от медных денег, — срывающимся голосом начал он, — потому что вотчинники хлеб, и сено, и дрова продают на медные деньги большой ценой. А на серебряные деньги ржи четверть купят рубли по четыре, а по меди выходит рублев по тридцать по шесть. А и в таком дорогом хлебе

и во всяком харчу скудные людишки погибают и многие чернослободцы торговые люди ожидают себе от медных денег конечные нищеты.

Выборный умолк и стукнулся лбом об пол.

Царь охватил руками голову и тяжело сопел. Его глаза потемнели, налились слезами.

Челобитчики — работные, ремесленники, цирюльники, портные, сапожники, гончары и мелкие торговые люди, увидев государеву скорбь, оживились. "Ужо он все напасти единым глаголом своим с нас поснимает. Нешто допустит он нашей погибели", — думали они, смелея.

— Дозволь еще молвь тебе молвить, государь! — вновь поднял вдруг свой голос выборный.

— Молви!

Работный приподнялся, упершись об пол рукой и, чувствуя, как помимо воли все существо его наливается отчаянной отвагой, мотнул головой в сторону Милославского.

— А учало все дорого быть еще по той пригоде, что тесть твой, царь-государь премилостивый, Илья Данилович Милославский, приказал сробить на свою потребу воровских медных денег на сто на двадесять тысяч.

Кровь отхлынула от лица Милославского.

— Оговор то воровский, государь! То вороги противу меня измышляют!

Раздув широко ноздри, государь впился режущим взглядом в глаза тестю.

— А оговор, найдем мы казнь и на ворога твоего!

Он встал и высоко поднял руку, точно призывая в свидетели небо.

— За глаголы за смелые спаси вас Бог, страждующие холопи мои!… А обыщутся вправду слова, лютою смертию воров изведу!

И незаметно моргнул Ромодановскому, указывая на работного.

— Не инако, вор-то из разбойной ватаги Корепинской, — склонился Милославский к уху царя.

— И самому мне сдается, — ответил чуть слышно Алексей и встал с кресла.

— Изыдите с миром и веруйте, что не дадим мы погибнуть холопям своим.

У Троицких ворот работного остановил думный дьяк.

— Волит государь доподлинно глаголы твои записать, чтобы легче было сыскать воров.

До вечера выборный просидел в каморке, дожидаясь опроса. Наконец за ним пришли стрельцы и, не дав опомниться, накинули на голову мешок. Работный попытался сопротивляться, но его ударили палкой по темени.

Очнулся он в подвале, на дыбе. В углу, у пылающей печи, возился кат.

* * *

Алексей не обратил бы внимания на слова работного, если бы не понимал, что воровские деньги наносят ущерб его казне.

— А родитель-то твой — денежный вор, Марья Ильинична, — вызвав к себе жену, гневно закричал на нее царь. — Сто двадесять тысяч! Разумеешь ли? Сто двадесять тысяч воровских денег!

Он с ненавистью и с каким-то болезненным злорадством потрясал кулаками перед лицом растерявшейся Марьи Ильиничны.

— Тоже, "святая" — раскольников призревает богоборствует, а родитель — вор!

И подскочил к двери.

— Подать Милославского!

Илья Данилович вошел в терем с высоко поднятой головой.

— А ежели ты, всея Руси царь и великий князь, смердам да ворам разбойным внемлешь, верного же холопа и тестя изменником почитаешь, так на же!

Он бросился к стене, схватил охотничий нож и разодрав на себе кафтан, размахнулся с плеча… Царица с пронзительным визгом повисла на руке отца. Алексей попятился к двери.

— Эко, горяч ты, Ильюшка! — жалко выдавил он, задерживаясь на пороге. — Уж государю стало ныне не можно глаголом обмолвиться.

Илья Данилович бессильно выронил нож.

— Каково напраслину мне терпети… Сам я в думке держал, государь, нонеча же поведать тебе про воров денежных, а смерд меня упредил.

Он уселся рядом с зятем и уже без обиды в голосе назвал имена некоторых дненежных мастеров и ни в чем неповинных малых людишек…

В ту же ночь начались аресты и пытки.

Не имевшие средств откупиться подвергались лютой казни: их жгли, вырезывали ремни из кожи на спине, выкалывали глаза и под конец заливали горло расплавленной медью.

Постельничий, присутствовавший как-то при казни, не выдержал ужасного зрелища, — помчался домой и, составив с женою набросок нового закона о наказании денежных воров, поехал в Кремль.

— Послушайся тихого своего сердца, царь, — упал он на колени перед Алексеем, — помилуй воров! Не Божье то дело христианское горло топленой медью потчевать.

Царь по— отечески потрепал Федора по щеке.

— Волос седеет у тебя, а сердце все как у дитяти! Чти уж!

Трижды перекрестившись, Ртищев развернул свернутую трубочкой бумагу:

"А тому, кто робит матошники и с них переводит чеканы — отсечь руки и ноги. А тому, кто робит воровские деньги на чюжих матошниках — отсечь левую руку да левую ногу тож. А кто до чего довелся, после пытки казнить смертию и прибивать у

денежных дворов на стенах, а домы их и животы имать на царя безденежно".

Последние слова особенно понравились государю. Он, не задумываясь, взял бумагу из рук постельничего и передал ее дьяку

— А по-Божьему ежели, по-христианскому, быть посему. А то, где ж сие слыхано, чтобы христианам горло заливать медью топленой!

Отдаленный шум, точно морской прибой, с глухим рокотанием ударился о кремлевские стены.

Государь, затаив дыхание, прокрался к окну

— Никак, гомонят?

— Гомонят, — подтвердил побелевший Ртищев.

В терем, не испросив разрешения, ворвался Голицын.

— Бунт, государь!

У Алексея упали руки. Одутловатое лицо его вытянулось, глаза забегали в страхе.

Топоча не по чину ногами, обгоняя друг друга, к государю спешили Ордын-Нащокин и Ромодановский.

— Мужайся, царь-государь! — крикнули они в один голос, едва переступив порог терема. — На Лубянке поставлен нами полк иноземный. Благослови нас на воеводство.

ГЛАВА XVI

Темна и тревожна московская ночь, окутанная клейким туманом. Осторожно крадется огородами, точно выслеживая добычу, промозглый ветер. Очертания чахлых рябин, прилепившихся к краю дороги, странно колеблясь, то тянутся тонкими щупалами куда-то ввысь, то, жутко похрустывая, припадают к земле, расплываются черным пятном. Зарывшись по уши в навоз, на огородах, под заборами, по обочинам улиц, лежат бездомные люди. Их трясет мелкая дрожь, приступы голода вызывают мутящую тошноту и ноющую, тягучую боль в животе. Непереносимо хочется спать, кажется, стоит лишь закрыть поплотнее глаза, ровней задышать и

тотчас придет благодетельный сон. Но сон ни приходит. В тяжелом полубреду мерещится душистая солома в углу теплой избы, дразнящий запах горячей похлебки и медвяная, пышная, ржаная коврига.

Коврига растет, ее краюшки касаются всех концов стола, а румяная и улыбчатая голова-шапка упирается в самую подволоку… Стол трещит старыми костями своими, не выдерживает тяжести, медленно валится на сторону… Коврига скользит на пол, задерживается на весу и вдруг с грохотом падает.

— Спасите! — кричит в ужасе бездомный. — Спасите!

Он хочет вскочить, но ноги цепко переплелись с ногами соседа, и грудь придавила чья-то чужая тяжелая голова… Снова настороженная тишина, крадущийся огородами ветер и, где-то далеко, позвякивание дождевой капели — словно слюдяными крылышками о траву…

Два человека медленно двигались по черным улицам. Далеко обходя дозорных, они при малейшей тревоге припадали к земле, и ползли на брюхе.

В одном из переулков они остановились.

— Никак песни играют? — спросил один из них.

Второй прислушался.

— А сдается, недалече мы от хором торгового гостя Василия Шорина.

Они свернули в сторону и огородами поползли дальше, в безглазую мглу…

* * *

Шорин собрал у себя в хоромах всю московскую знать, третьи сутки празднуя день ангела сына.

Все, что можно было только закупить на рынках, было приволочено в усадьбу торгового гостя. Неумолчно трубили "игрецы", любезно предоставленные Шорину боярином Матвеевым и жителями Немецкой слободы. Рекой лилось вино, пиво и мед.

Пьяный гул, хохот, песни и музыка оглушили, перевернули вверх дном весь переулок. На просторном дворе разгулявшийся Шорин потчевал просяными лепешками и вином дворовых людишек.

Среди веселья хмельной хозяин вдруг отчаянно хлопал в ладоши и ревел на всю трапезную.

— А есть ли кто могутней да славнее меня?

Он тащил гостей в подвалы. Рой холопей выстраивался по двору. Факелы теребили ночную темь, бросая зловещие отблески на лица господарей. Опираясь на плечо дворецкого, чванно вышагивал впереди всех Шорин.

— Вот она, силушка! — сквозь икоту бахвалился он, раскрывая короба с золотом, драгоценными камнями, серебряной утварью, мехами и богатой одеждой. — Возьми голой рукой Василия Шорина!

И колотил себя в грудь кулаком.

— На! Не жалко!… Все отдам дружбы для!

Он набирал полную пригоршню золота и лез к князю Куракину:

— Бери!… Живота не пожалею для тебя, Феодор Феодорович! Потому, ежели сам государь, отбыв на Коломенское, наказал тебе замест него на Москве быти, должен я тебя превыше всех ублажать… Бери, не жалко!

Но Куракин хорошо знал Василия.

— Златом пожалует, а погодя такое восхощет, и не возрадуешься, — перемигивался он с Милославским, стараясь освободиться из медвежьих объятий хозяина.

Из подвалов с песнями и плясом снова шли в хоромы.

Часть гостей валялась в сенях и трапезной на заплеванном полу, оглашая воздух пьяными стонами, храпом и непрестанной отрыжкой. В одном из теремов дожидались своей участи купленные Шориным у голодающих девушки и молодые женщины.

Милославский, устроившись рядом с Куракиным, усердно ел, много пил, и то и дело язвительно поглядывал на хозяина.

— Аль не признал? — не вытерпел наконец Шорин.

Илья Данилович взял с серебряного блюда стерляжью голову, с наслаждением обсосал ее и бросил под стол.

— Была стерлядка рыбиной знатной! Да то было в воде, а на земли место мясу ее быти в брюхе, голове ж — в сору.

Василий ничего не понял, но на всякий случай решил обидеться.

— Ты куда ж гнешь? Уж не меня ли рыбиной величаешь?

— А хоть и тебя! — подбоченился Милославский. — Восхотела, сказываю я, стерлядь из воды уйти, чтоб и на земли покичиться силой своей, а протухла!… А восхощет торговый гость из рядов отплыть да к природным дворянам пристать — не миновать и ему протухнуть, сермяжному.

Шорин схватил мушерму и, не помня себя от гнева, опрокинул ее на голову царева тестя.

Гости замерли. Резко оборвалась музыка.

— Краснорядская крыса!… Холопий род! — заревел Милославский, стаскивая со стола вместе с посудой полог. — Алтынник медный.

Первым опомнился Ртищев. Он подскочил к хозяину и заткнул ему рукой рот.

— Христа для… Не заводи свары с тестем царевым.

Шорин далеко от себя отшвырнул постельничего.

— Алтынник, да не твой, а царев! — стукнул он по столу кулаком, сразу трезвея. — А ты рубль да воровской!

Трапезная пошла ходуном. На рвущихся в драку противников навалились десятки людей.

— Пустите! — гремел Илья Данилович.

— Пустите! — вырывался из рук Василий.

Милославский бился головой об половицу, царапался, кусался и выл.

— А с коего время могутным он стал, вша краснорядская. Не с того ли дни, как сборщиком по моей милости заделался с пятой да с двух половинной деньги!…

Шорин притих наконец, перестал сопротивляться и обессиленно

сел на лавку.

— Ну вот, так-то сподручней, — облегченно вздохнул постельничий. — Погомонили и будет.

Вдруг Василий прыгнул на стол и ринулся вниз головой на Милославского.

— А, денежный вор, попался!… Накось, держи от стерлядки!

* * *

Дождь прошел, но мгла сгустилась еще больше. Два человека, промокшие до костей, добрались до Сретенки.

— Приехали, Куземка, — добродушно пошутил один из них и вытащил из-за пазухи сверток.

— А приехали, — весело подхватил Куземка, — выходит, время нам, Савинка, и за робь приниматься.

И юркнув к столбу, игриво подбросил круг воска.

— Давай письма-то!

Смазав углы воском, он приклеил бумагу к столбу.

— Гоже ли держится?

— Гоже!

Они торопливо зашагали дальше. Вскоре все столбы на Сретенке и Лубянке были заклеены воровскими письмами.

* * *

В белесом небе, далеко на восходе, спорил с разбухшей мглой рассвет. Забрезжило хилое утро двадцать пятого июля тысяча шестьсот шестьдесят второго года.

В усадьбе Шорина воцарился покой. Под столом, дружно обнявшись с Милославским, храпел хозяин; пальцы его крепко сжимали овкач, из которого он потчевал после примирения гостя. Рядом, широко раскинув ноги, скрежетала зубами и хрипло дышала во сне опоенная девушка. За столом, уткнувшись лицом в миску с квашеной капустой, спал князь Куракин.

В ближайшей церкви заблаговестили к заутрени. Вначале робкий перезвон крепчал, наливался уверенной силой.

Разбуженный перезвоном, Ртищев недоуменно приподнял голову. "Никак благовестят?" — с трудом сложилось в тяжелой его голове. Он потянулся и перекрестился на образ: желтое лицо его полыхнуло кумачовым румянцем: "Боже, что ж я наделал!… Как же я пред очи Марфеньки ныне предстану!" — хрустнул он пальцами и с омерзением отодвинулся от простоволосой женщины, прикорнувшей на самом краю сундука.

Наскоро одевшись, постельничий бочком выбрался в сени.

— Лихо! — встретил его с глубоким поклоном дворецкий, спешивший в трапезную. — Лихо! — повторил он, тряхнув головой. — Демка Филиппов слышал, собирается-де великая сила людишек и чаят от них быть погрому двору боярина Ильи Даниловича Милославского, двору нашего господаря и иных знатных людей за измену в денежном деле.

Ртищев метнулся в трапезную.

— Вставайте! — пронзительно заверещал он и плеснул в лицо мертвецки пьяного Шорина мушермой меда.

* * *

На Сретенке, у воровских писем, уже толпился народ. Нашлись грамотеи, которые громогласно читали написанное:

"Изменник Илья Данилович Милославский, да Федор Михайлович Ртищев, да Иван Михайлович Милославский, да гость Василий Шорин".

— Изменники!… Правильно! — грохотала толпа.

Сретенский сотни сотский Павел Григорьев поскакал в земский приказ с докладом к Куракину.

Князь, не выспавшийся, сердитый, сидел за столом, прислонившись спиною к стене, и маленькими глоточками пил квас.

— Докладай! — буркнул он, тупо уставившись на ковш.

Сотский отвесил земной поклон.

— А собрались на Сретенке мирские люди без ведому моего о пятой деньге порядить. А я с сотней, про сие прослышавши, тотчас

противу тех людей выступил. А не успел я до Сретенки доскакать, как слышу возгласы велегласные: "На Сретенке да Лубянке на столбах письма воровские расклеены!"

Куракин прищурился, плюнул и вдруг ударил Григорьева ковшом по лицу.

— Потчуйся, сукин сын, за то, что попустил беззаконие. И пшел с очей моих вон!

Прогнав сотского, князь снарядил на Лубянку дворянина Семена Ларионова и дьяка Афанасия Башмакова.

Тем временем Василий Иванович Толстой окольными путями поскакал на коне в Коломенское, к царю.

ГЛАВА XVII

Ларионов и Башмаков, уверенные в собственном могуществе, явились на Лубянку одни, без стрельцов.

— Расступись! — властно крикнул Ларионов и врезался в толпу.

Дьяк, воспользовавшись замешательством людей, сорвал со столба письмо.

— Не моги! — крикнул Куземка Нагаев и метнулся к Ларионову. — Изменник!… Бейте изменника!

Страшный удар железной палкой по голове сразил Куземку.

Чувствуя, что надо действовать сейчас же, не теряя ни мгновения, Корепин бросился с дубиной на дворянина.

— Миром постоять на изменников! Выручай, православные!

Расстроенные ряды людишек сомкнулись.

— Выручай!

Ларионова и Башмакова стащили с коней.

Сотский Григорьев, притаившись за изгородью, возбужденно наблюдал за происходившим. Он глубоко верил в победу Ларионова и только выжидал случая, чтобы — когда это не будет опасно для жизни — броситься к нему на помощь. Увидев, что Ларионова подмяли, он поспешил заблаговременно убраться подальше.

Но не сделал сотский двух шагов, как из-за погреба на него прыгнул пес. Григорьев в страхе бросился назад и перескочил через забор.

— Стой! — принял его в свои объятия уже оправившийся Куземка Нагаев. — Далече ли?

Сотский вцепился в руку Куземки.

— Не погуби! Пригожусь!

Куземка, поволокший было его к мятежникам, приостановился.

— Нуте-ко, выкладай.

Захлебываясь от волнения, путаясь и торопливо крестясь, сотский рассказал, что Куракин проведал о корепинской ватаге, укрывшейся в лесу, и приказал иноземным полкам оцепить лес.

Позабыв о сотском, Нагаев побежал с недоброю вестью к Савинке.

Вскоре издалека донеслись глухие пищальные выстрелы: то предупрежденная верными людьми Корепина ватага вступила в бой с полками, чтобы отвлечь их внимание от того, что готовилось в городе.

Расправившись с Ларионовым и Башмаковым, толпа откатились к церкви преподобного Феодосия, что на Лубянке.

— Православные христиане, — обратился к притихшим людям Корепин, — слыхали ли вы, что прописано в письмах?

— Чти!… Сызнов чти.

Обнажив голову, гилевщики еще раз выслушали содержание воровского письма.

Едва Куземка окончил чтение, толпа, точно подхваченная ураганом, с гиком понеслась к усадьбе Шорина. На перекрестке мятежников перехватил сильный отряд рейтаров. Впереди, на белом аргамаке, с обнаженной саблей в застывшей руке, гордо, точно Егорий Храбрый, сидел безусый поручик, князь Кропоткин.

— Стой! — звонко отдал он команду и спрыгнул с коня.

К поручику, не снимая шапок, подошли Савинка и Нагаев.

— Здорово, князь! Аль глад почуял?

Кропоткин пожал плечами.

— Не разумею я глаголов сих.

— А вот, уразумей! — неожиданно вспыхнул Корепин и разорвал на себе ворот рубахи. — Коль по человечине стосковался, на — жри!… Дависъ кровью холопьей!…

Князь с невольным восхищением уставился на Савинку.

— Костляв ты, смерд, не по мысли мне такая дичина. Да и очи у тебя бесноватые.

И запросто, как равного, потрепал Корепина по плечу.

Бунтари и рейтары с нескрываемым удивлением глядели на князя и ничего не понимали: "Уж не хмелен ли поручик, что со смердом, как с господарем, беседу беседует? Аль замыслил недоброе что?"

Кропоткин отступил и уже грозно крикнул:

— А не обскажешь ли, смерд, какая пригода повела вас на смуту да на верную смерть?

Савинка попытался ответить, но, князь остановил его резким взмахом сабли и повернулся к рейтарам.

— Сам сказывать буду.

Лицо его покрылось багряными пятнами, а круглый с ямочкой подбородок запрыгал, как у плачущего ребенка.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! — начал он.

— Шел бы на середу, не слыхать нам! — взволновались задние ряды гилевщиков.

— Братья рейтары! — во всю силу легких крикнул князь и смело пошел в самую гущу толпы. — Гляньте-ко на людишек, коих мы призваны смертью поразить!

Рейтары от неожиданности побросали поводья.

— Хмелен! Ей-право, хмелен! — раздалось уже вслух.

— Хмельного отродясь и не нюхивал я! — возмущенно отозвался поручик. — А ныне, доподлинно, захмелел… Ибо кто не захмелеет, на лики глядучи смутьянов сих? Лики их сини, как у удавленников, и телеса тощи, как у преподобных, приявших подвиг

великопостования.

Его голос сорвался, почерневшее лицо покрылось мелкими каплями пота, глаза закипели слезами. Низко склонив голову, он отвесил безмолствующим рейтарам глубокий поклон, коснувшись рукою земли.

— Не ведаю, как вы, — выдохнул он чуть слышно, — а я не подниму меча противу труждающихся и обремененных.

И с неожиданной силой воткнув саблю в землю, переломил ее надвое.

Толпа ахнула, испуганно отступила, но точас же с ревом бросилась к князю. Высоко, как могучий клич мятежников, взлетел на воздух Кропоткин.

— Слава! До века!…

Когда толпа немного успокоилась и пришла в себя, один из капралов спрыгнул с коня и опустился перед поручиком на колени.

— О многих людишках немочных поминал ты златыми устами своими, а про то упамятовал, что и нам воры денежные медью жалуют жалованье, что и мы, как и иные протчие, убоги ныне и сиры.

— На коней! — властно скомандовал князь. — За мной! — с Ильинки, четко отбивая шаг, двигались стрелецкие роты.

Савинка и Куземка выстроили гилевщиков рядами.

— Не выдавай, православные! — ухарски сдвинул Корепин шапку набекрень и по-разбойничьи свистнул…— А, не выдавай, православные!

Кропоткин натянул поводья и ринулся навстречу наступающим ротам. Немного времени понадобилось ему для того, чтобы привлечь на свою сторону войско. Обозленные недоеданием и неполучением жалованья, стрельцы с первых же слов, не задумываясь, перешли на сторону взбунтовавшегося народа.

Со всех концов Москвы сбегались на площадь несметные толпы.

— К царю!… На Коломенское! — призывал Савинка.

— На Шорина!… На Милославских! — неслось из толпы. Пока мятежники громили усадьбы знатных людей, Корепин с отрядом стрельцов и черных людишек захватил застенки и тюрьмы. Стрелецкие головы и дьяки, узнав о том, что на сторону гилевщиков перешли войска, убежали из Москвы и укрылись в монастырях. Крадучись, на четвереньках, выползали освобожденные узники и только на улице, радостно приветствуемые толпой, вскакивали, как очумелые, и неслись, опьяненные неожиданной свободой по бурлящим улицам.

— Воля!

— На Шорина!

— На Милославского!

— Не выдавай, православные! Бей изменников!

Полный напряжения и тревоги, Савинка обходил подземелья.

Дрожащая рука его подносила факел к перепуганным лицам заключенных, а в сердце все глубже проникали тоска и отчаяние: "Нету, давно уже нету! И косточек не осталось…" Наконец, в одном из подвалов он нашел Таню. Она висела, прикованная железами к стене.

Корепин вгляделся в ее лицо и в ужасе отступил.

— Таня! — взрогнули своды от жуткого крика. — Татьяна!

Восковое лицо женщины болезненно передернулось и в широко открытых стеклянных глазах на мгновение вспыхнул слабый признак сознания. Костлявые пальцы собрались щепоткой, точно для крестного знамения. Но тут же голова бессильно упала на изъязвленное плечо. Слипшиеся космы седых волос перекинулись на глаза, задев щеку Савинки.

Невольная гадливость охватила Корепина от этого прикосновения, точно по телу поползли мокрицы, но он с негодованием стряхнул с себя это чувство и взял женщину за руку.

— То я, Савинка твой… Слышишь, Таня?… Танюша!…

Она как— то странно подергала головой и, захватив серыми

губами клок своих волос, начала жевать их беззубыми деснами.

— Глянь, пчела… Пчелочки!… Динь-динь… звенят!… Глянь, глянь, в лес пчелочка улетела… уле-у-у-у-у…

Она жалко заплакала, вздрагивая всем телом, мотая головой, и вдруг раскатисто захохотала. Смех становился все безудержней, бурней, безумней. Тело прыгало в чудовищной страшной пляске, голова больно билась об острые камни стены; жутко звякали и словно прихихикивали ржавые железа.

Коренин обеими руками ухватился за стрельца, чтобы не упасть.

— Свободи от желез, — попросил он срывающимся голосом и, хватаясь за стены, ушел из подземелья.

Товарищи Корепина освободили женщину от цепей. Свежий воздух и свет подействовали на Таню, как на рыбу, выброшенную из воды. Она смятенно забилась по земле, потом вскочила, бросилась к забору, но тут же рухнула Корепину на руки.

Савинка снес ее в избу и уложил на лавку.

— Пущай пообдышится, — сочувственно вздохнул помогавший ему стрелец и безнадежно поглядел на узницу.

Стеклянные зрачки Таниных глаз потемнели, сузились. По прозрачному лицу медленно скатилась слеза.

— Отошла, — мрачно обронил стрелец и, закрыв покойнице глаза, перекрестился.

Молча сняв шапку, Корепин стал на колени, приложился к холодеющей руке Тани. В это время в избу ворвался Куземка.

— Поспешай, Савинка, ведет нас князь на Коломенское! А ватаги наши перед иноземными полками отступать почали. Как бы не прикинулось лихо.

Савинка жалко поглядел на товарища.

— Некуда нонеча мне поспешать… Подошел я до краю остатнего.

Нагаев придвинулся к лавке, перекрестился и отвесил Корепину земной поклон.

— За дружбу за твою спаси тебя Бог, а дорога моя еще впереди.

Не поминай лихом, прощай.

Он помялся и вздрогнувшим голосом прибавил:

— А живой к живому тянется. Почивший же да отыдет ко Господу.

Корепин с неожиданной силой вскочил с колен.

— На Коломенское!… К царю!

Он схватил со стола секиру и побежал на улицу.

— Эй, люди, за мной!… К царю! На Коломенское!

ГЛАВА XVIII

Застыв перед образом великомученицы Варвары, без слов молился государь. По обе стороны его лежали, распластавшись на каменном полу, Ртищев и Милославский. Изредка взор Алексея крадучись скользил к окну, задерживался ненадолго на пыльной дороге, а чуткое ухо тревожно ловило далекие, заглушенные шумы.

Край дороги заметно темнел, как будто сплющивался. Шумы росли, переходили в отчетливые, возбужденные крики.

— Идут, смутьяны, — шепнул царь.

Действительно, к площади подходила толпа.

В церкви стало тихо, как в пещере отшельника. Старенький поп, приготовившийся к возгласу, замер с полураскрытым ртом. Дьячок, захватив в охапку требники, сунулся, было, в алтарь, но Алексей гневно топнул ногой и велел продолжать службу.

Точно град под могучие раскаты грома, заколотились в стекла и просыпались по церкви озлобленные выкрики мятежников.

Царь опустился на колени и, уткнувшись лбом в пол, чуть слышно приказал ближним:

— Покель не поздно, обряжайтесь в подрясники и сокройтеся у царицы.

Милославский и Ртищев нашли царицу с детьми, забившимися под постели и лавки.

Царевич Федор вцепился в ногу Ртищева.

— Ты все! Из-за тебя, плюгавца, смута содеялась!

Он потянул Федора к себе и отвесил ему звонкую оплеуху.

— А не удумывай медных денег нам на страхи великие!

— Ми-и-ло-слав-ско-о-ого! Из-мен-ни-ка Рти-и-ище-ваааа! — отчетливо доносилось с площади.

Марья Ильинична бросилась на шею отцу.

— Помираю!…

* * *

В церкви, точно ничего не случилось, продолжал молиться царь. Едва держась на ногах от страха и старости, к нему подошел Стрешнев.

— Тебя, государь, смерды требуют!

Алексей надулся.

— А не бывало такого, чтобы мы службу Господню до конца не выстаивали! — громко отчеканил он, чтобы слышно было молящимся, и шёпотом прибавил:— Повели попу не поспешать. Пущай тянет обедню, покель можно тянуть.

Стрешнев, передав священнику приказ царя, вышел на улицу, но тотчас же снова вернулся.

— Пожалуй, государь, выдь к бунтарям… Инако, лиха бы не было, ежели они сами сюда ворвутся. А грозят!… Ей, пра, грозят, окаянные!

Государь, подумав, решительно поплыл на паперть.

— Царь!… Царь жалует! — нервною дрожью перекатилось по толпе и стихло.

Сняв шапки, гилевщики теснее сомкнулись и подвинулись к паперти. Нижегородец Мартын Жердынский взял у Куземки шапку с письмом и подал царю.

— Изволь, великий государь, вычесть письмо перед миром, а изменников привесть пред себя!

На площади и вдоль дороги выстраивались мятежные войска.

Государь сразу повеселел: "Ужо будет потеха вам!" — с

наслаждением подумал он и, погрузив в бороду пятерню, ласково кивнул Кропоткину.

Князь, выставив по-военному грудь, четким шагом подошел к Алексею.

— Государь! — прямо глядя пред собой, крикнул поручик. — Споручило мне московское войско весть возвестить!

Он повернул голову к толпе и торжественно продолжал:

— Покель не изведешь ты изменников и воров денежных, будут рейтары со стрельцами служить не тебе, государь, а народу!

Ошарашенный царь отступил к двери, готовый шмыгнуть в церковь. К нему подошел Толстой, что-то торопливо проговорил и тотчас же, высоко подняв голову, затопал ногами.

— А и пора, государь, повывести изменников денежных. Достаточно людишкам немочным терпеть от ближних воров твоих. Покель не расправишься с денежными ворами и я служу не тебе, а народу!

Гилевщики радостно загудели.

— Истинно!… По-божьему речет.

Сиротливо склонив голову на плечо, царь поднес руки к глазам.

— Тужу и рыдаю, — всхлипнул он и воззрился на небо, — ибо всюду кривды творятся. Ибо рыдает и тужит мой народ, сиротины мои… Помози мне, Господи, извести изменников богомерзких, стол мой окруживых!

Он неожиданно поклонился на все четыре стороны и страстно бросил:

— Спаси вас Бог, что не страшась, всем миром пожаловали челом бить на изменников своему государю!

Народ, тронутый слезами царя, ответил земным поклоном.

— Имамы веру, царь, что сыщешь правду и воров изведешь.

Алексей приложил руку к груди и мягко, по-отечески, улыбнулся.

— Изыдите с миром, сиротины мои, а я в том деле учиню сыск и указ.

Корепин, Нагаев, Жердинский и Кропоткин, пошептавшись между собой, взобрались на паперть.

— А не единожды слыхивали мы посулы твои, государь!

Обмякшая было толпа, снова угрожающе загудела.

— Не единожды!… Слыхивали…

— Чему верить, — тормошил Алексея Кропоткин. — Верить чему, государь?

— Образу святому. Обетованию, — торжественно объявил Алексей. — Мы, государь царь, обетование даем. Не было на Руси, чтобы цари обетование нарушили. Краше смерть!

Жердинский принес из церкви крест и серебряный образ Спаса.

Лицо государя засветилось блаженной улыбкой.

— Да не буду я помазанник Божий, если нарушу обетование! — воскликнул он, и по слогам, воздев к небу руки, произнес клятву.

Нагаев ткнул иконой в губы государя.

— Челомкай Спаса!

Когда обряд обетования окончился, Кропоткин, довольный, ударил с царем по рукам.

— А ныне ты нам сызнов царь-государь. Тотчас отыдем мы по домам!

Полные надежд, гилевщики двинулись с песнями на Москву.

Едва площадь опустела, к церкви на взмыленном аргамаке, с противоположной стороны, прискакал Толстой.

— Все содеяно, государь! — упал он перед царем на колени. — Великую силу собрал я из бояр, дворян, монахов да боярских детей. Всей дружиной перестренут они бунтарей. Уж развеселая будет потеха.

Не успели мятежники скрыться за поворотом дороги, как из лесу на них ринулись дружинники.

— Бей!

Ухнул пищальный залп. Все смешалось в кровавом вихре. Захваченные врасплох, бунтари рассыпались в разные стороны.

Рейтары под командой Кропоткина попытались пробиться вперед, но их встретили ураганным огнем и заставили обратиться в бегство.

Государь, опустившись на колени, приник ухом к земле.

— Гудет!… Господи, заступи и помилуй, порази смердов, восставших против государя и ближних его. Верни крепость и силу смиренному помазаннику твоему!

* * *

Отслужив всенощную, царь прямо из церкви отправился в застенок.

По пути, от Коломенского дворца до московской дороги, на долгой череде столбов, покачивались тела повешенных мятежников. Подле каждого столба Алексей останавливался, крестился и, набожно понурив голову, плелся дальше.

— Схоронить бы, — глубоко вздохнул он.

— Схороним, царь, — ответил Толстой. — А токмо сдается мне, вместно бы до того согнать с округи всех черных людишек, да показать им, при глаголе поущительном, како воздает Господь за смуты против царя.

В каменном подземелье, прикованные друг к другу, дожидались своей участи Корепин, Нагаев и князь Кропоткин. При появлении царя кат ударил узников палкою.

— Ниц!

Куземка мрачно поглядел перед собою и склонил голову.

— Спаси Бог царя за то, что он крест целовал на том…

— Молчи! — заревел Алексей.

Савинка поманил к себе государя.

— Помилуй, царь… Перед кончиною живота хочу я тебе от всея Руси холопьей глагол сказать.

Алексей наклонился к Корепину. Савинка приподнял голову, набрал полный рот слюны и плюнул государю в лицо.

— Вот тебе от всея Руси холопьей!

* * *

Всю ночь издевался царь над узниками. Обессилев, он беспомощно опустился на лавку и поманил к себе ката:

— Распалить железо, дабы поставили мы на том железе "буки", что есть бунтарь. Были бы молодцы до веку признаны.

Наложив собственноручно на щеки узников клеймо, государь склонился над умирающим Кропоткиным.

— А побратался со смердами, жительствуй с ними до конца живота.

И громко крикнул:

— Спосылаю я вас всех на вся времена в студеные земли.

Чванно надувшись, он пошел к порогу. Дьяки наперебой бросились к двери и широко распахнули ее.

В сенях Алексей задержался, положил руку на плечо Толстого.

— А сдается нам, Васька, вместней смутьянов сих в Москва-реке потопить… Не то, неровен час, как бы не сбегли из студеных земель… Да и каков им ныне живот при телесных мучениях? Чать, все нутро у сиротинушек повредили дьяки.

ГЛАВА XIX

Бунт был подавлен, но голод и мор не утихали.

Алексей, скрепя сердце, согласился с советами ближних и пошел на некоторые уступки. Пришлось отменить медные деньги, отнять многие льготы у иноземцев. К казне потянулись легионы людей. Там каждый медный рубль обменивался на две серебряные деньги. На Москве был учрежден новый серебряный монетный двор… Так, понемногу, подчиняясь Матвееву и Ордын-Нащокину, царь уничтожил все затеи прежних лет.

По утрам, после обедни, государь неизменно справлялся у окольничего:

— Тихо ли в нашей державе?

— Тихо, гораздо тихий мой государь, — кланялся в пояс окольничий. — Опричь раскольников, всяк человек велико хвалит

всехвальное имя твое.

Царь недовольно сопел.

— Завелась немалая сила и раскольников тех богомерзких…

"Ревнители старины" не сдавались и продолжали призывать народ к восстанию против "антихриста".

Аввакум пришел из Юрьевца-Польского под Москву. Его сопровождали несметные толпы голодных. В один из праздников протопоп, собрав в поле всех жителей округи, торжественно объявил:

— Братие! Во огне здесь невеликое дело потерпеть — аки оком мигнуть, так душа и выступит прямо в рай.

Он ненадолго примолк, осенил себя двоеперстным крестом и продолжал:

— Внемлите гласу Господню…

Толпа, обнажив головы, с великим трепетом выслушала подтвержденную выкладками и ссылками на апокалипсис весть о скорой кончине мира и грядущем страшном суде.

Легкокрылая весть эта с непостижимой быстротой облетела просторы российские. Крестьяне побросали работы, покинули избы и потянулись в леса.

Не помогали самые лютые казни, которые придумывали помещики и приказные, чтобы остановить бегство людишек. Села и деревни зловеще пустели. В непроходимых лесных берлогах люди строили гробы и укладывались в них, чтобы "запощеваться" — умереть голодной смертью.

Обрекшие себя на смерть разбивались по семьям, так как боялись, что могут на страшном суде потерять друг друга.

По ночам, когда лес засыпал, гробы оживали скулящею однотонною песнею:

Деревян гроб сосновен,
Ради мене строен,

В нем буду лежати,
Трубна гласа ждати.
Ангелы вострубят,
Из гробов возбудят…

Шли месяцы. Давно пробил определенный Аввакумом час скорого пришествия, а небеса не разверзались и не было слышно трубного звука архангелов.

Готовившиеся к "запощеванию" новые толпы людей подозрительно поглядывали на раскольничьих "пророков".

— А чегой-то, молитвенники наши, не зрим мы преставления свету… Уж не ошибка ли тут?

"Пророки" разводили руками.

— День-то доподлинно тот, число звериное, месяца Зодиака, а в годах, доподлинно, ошибка Божьим соизволением вышла.

И устремив преданный взгляд в небеса, с глубокою верой вещали:

— Дал Господь вседержитель новый срок в десять годов для вящей молитвы и покаяния возлюбленным чадам своим, ненавидящим никониан.

* * *

Разгневанный дерзкими проповедями Аввакума царь приказал предать его суду.

На патриаршем дворе собрались Алексей, восточный патриарх, архиепископы, мелкое духовенство и вельможи. Аввакум со своими учениками лежал в углу палаты, на полу, и при появлении судей с презрительной усмешкою отвернулся к стене.

— Восстань, дерзновенный! — схватил Матвеев за ворот протопопа и поставил его перед царем.

Патриарх укоризненно покачал головой.

— А и упрям же ты, протопоп: и Палестина, и сербы, и албанцы, и римляне, и ляхи — все тремя перстами крестятся. Один ты, упрямец, стоишь на своем и крестишься двумя перстами.

Ученики Аввакума испуганно насторожились: "Ишь ты, на весь мир указуют. Како учитель отвечать станет?" Но протопоп, точно угадав их мысли, погрозил им пальцем и вызывающе уставился на патриарха.

— Вселенские учители!… Рим давно пал, и ляхи с ними же погибли, до конца остались врагами христианам. Да и у вас православие пестро… От насилия турского Махмета немощны вы стали и впредь к нам учиться приезжайте — у нас Божьей благодатью самодержавие и до сверженного ныне царем Никона-отступника православие чисто было и непорочно и церковь безмятежна. А и до Алексея-царя…

— Молчи! — воскликнул в исступлении Алексей и вцепился в бороду Аввакуму.

— И то молчу, — спокойно пожал плечами протопоп.

Его ученики восторженно переглянулись и, не выдержав, заржали. Алексей с силой отбросил от себя узника.

— Пшел!…

Протопоп с омерзением вытер рукавом бороду и отошел к своим.

— Вы, князья мира, посидите маненько, а я полежу.

Ордын— Нащокин сердито сплюнул.

— Дурак протопоп, ни царей, ни патриарха не почитает.

Свернувшись клубочком, Аввакум чуть приподнял голову с пола.

— Мы уроды Христа ради. Вы славны, а мы бесчестны… Вы сильны, а мы немощны… Хотя я несмышленый и очень неученый человек, да то знаю, что все святыми отцами Церкви преданное свято и непорочно; до нас положено — лежи оно так во веки веков.

Суд длился недолго: царь пожелал отправить протопопа с его учениками в Пустозерск.

Судьи почтительно склонились перед государем.

— Мудр ты, царь-государь. И мудрость глаголет устами твоими…

ГЛАВА XX

Кой—где еще вспыхивали голодные и раскольничьи бунты, но они уже не пугали царя, как прежде.

— Измаялись, извелись людишки черные в распрях и смутах богопротивных, — говорил Алексей, — не восстать им боле могучей ордой противу Богом данного им государя и великого князя.

Алексей повеселел, еще больше распух и с такой важностью носил свое брюхо, точно в нем хранились вся мудрость, держава и сила его.

Только, когда умерла Марья Ильинична, государь опечалился, забросил потехи, перестал ходить на охоту и около двух лет провел в строгом посте и молитве.

Наконец ему наскучила жизнь отшельника, и он снова зачастил к Матвееву, где, как в былое время, собирался дважды в неделю весь кружок преобразователей.

Матвеевы стали замечать, что государь почти не принимает участия в сидениях кружка, а все больше увивается подле Наташи. Гамильтон не только не ревновала царя, но прилагала все старания к тому, чтобы сблизить его со своей, выросшей в стройную красавицу, пестуньей. Пугливое вначале желание видеть Наташу царицей понемногу переходило в страстное стремление, в цель жизни Матвеевой. Она хмелела от думок и видела себя наяву и во сне хозяйкой Кремля. Она даже стала называть Наташу не иначе, как матушкой-царицей Натальей Кирилловной, повелев и мужу так же величать девушку.

А государь почти и не скрывал своей любви к Нарышкиной, так непохожей по блестящему воспитанию, начитанности и манерам на бессловесных, забитых и тупых сверстниц своих из боярских и дворянских домов.

Наташа, привыкшая с детства к царю, держалась с ним хоть и почтительно, но с подкупающей непосредственностью и простотой. Во время ученых споров, если царь был неправ, она каким-нибудь

одним удачным словом заставляла его сразу сдаться, признать ошибку. При этом так лукаво светились ее глаза, что Алексей преисполнялся чувства какой-то особенной гордости за дочь незнатного стрелецкого головы, ходившей когда-то в лаптях по Смоленску. "И откель сияние такое у отродья дворянишки убогого?" — думал он, пожимая плечами.

То, что девушка происходит не от знатных родителей, не расхолаживало его, а еще больше дразнило, влекло.

* * *

Как— то, во время беседы, Артамон Сергеевич сообщил царю, что в первой московской немецкой школе детей обучают "комедийному действу".

Алексей с удовольствием выслушал боярина и подмигнул Наташе.

— А не учинить ли и нам для потехи твоей то действо? — оживился он, но тотчас же осекся. — Сказывал нам еще Лихачев про палаты дивные, да иные бояре упредили нас — потеха-де та не от Бога, а от лукавого.

Чуть колыхнулся в улыбке золотистый пушок на верхней губе Наташи и заискрившимся в погожее утро на елочке инеем блеснули два ряда мелких зубов.

— Действо то государь, не на соблазны, а на утешение дано господом Богом.

Государь привлек к себе девушку и поцеловал ее в губы.

— Каково же разумна дочка у нас!

Гамильтон наступила на ногу мужу и выразительно поглядела на него. Артамон Сергеевич встал, удивленно развел руками.

— Диву даюсь я. В твои-то годы дщерями девиц нарекать!… Не родитель ты, а всем образом пречудным ангельским своим жених-женихом.

Польщенный царь разгладил бороду и распустил в улыбку жирное, лоснящееся лицо.

— А и то, Артамонушка, сорок годов да два года, что на спине

своей я несу, невесть еще тяжелая ноша какая!

Он взял Наташу за руку.

— Жених я тебе, красавица, аль родитель?

Зардевшаяся Наташа вырвалась от царя и выпорхнула в сени. За ней последовала и Гамильтон.

Царь, пошептавшись с боярином, приказал позвать женщин.

Едва девушка показалась на пороге, Артамон Сергеевич сорвал со стены икону Божьей матери и упал Наташе в ноги.

— Опамятуйся, благодетель! — с нескрываемым ужасом крикнула девушка. — То мне вместно стопы твои за добро твое лобызать.

Матвеев поднялся, торжественно возложил образ на голову пестуньи:

— Молись… Великая бо радость снизошла на тебя: государь-царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великие и Малые и Белые Руси самодержец жалует тебя преславною царицею и своей женой!

* * *

Со всех концов Руси, из богатых хором, убогих изб и монастырей привезли в Кремль самых красивых девушек страны и разместили их в шести теремах.

Поздно ночью, по теремам, от постели к постели, пошел, в сопровождении лекаря, Алексей. Он долго и внимательно ощупывал девушек, притворявшихся спящими, совещался с лекарем, выбирая по древнему обычаю жену, которая "способна дать усладу государю".

Среди других невест — в Кремле была и Наташа.

Поутру царь объявил о своем выборе:

— Избрали мы женою и царицею — Наталью Кирилловну Нарышкину.

* * *

По случаю полного умиротворения Руси царь повелел три дня служить во всех церквах страны молебны.

В Москве неумолчно перекликались ликующие перезвоны. Кремль готовился к пиру. В то же время учитель немецкой школы, пастор Грегори, заканчивал приготовления к "комедийному действу".

В комедийной хоромине неподалеку от Немецкой слободы, в селе Преображенском, дворовые музыканты Матвеева под началом органиста Симона Жутовского и игреца Гасенкруха разучивали в тысячный раз "Торжественную встречу царя".

Алексей сидел, наготове в трапезной и, нежно поглядывая на жену, судачил с ближними о делах.

— Так тихо, сказываешь, на Руси? — спросил он прибывшего на Москву князя Алексея Трубецкого.

— Мудростью твоею повсюду посеян мир, мой государь.

— Добро, — улыбнулся государь и перекрестился. — Пожаловал Господь и с иноземцами миром по рукам ударить, и смуту извести. Добро!

В дверь просунулась голова думного дворянина.

— Челом бьет пастор, государь, не покажешь ли милость да не пожалуешь ли на действо в комедийную хоромину?

Алексей встал.

— Сейчас жалуем на действо.

* * *

Утром, после обедни, царь рассеянно выслушал доклады и объявил ближним:

— А сдается нам, что комедь народу нашему в великую потеху и поущенье будет.

Ртищев вытащил из кармана бумагу, высоко поднял ее над головой.

— Всю-то ноченьку мы с Марфенькой о сем же вели беседу.

— И дорядились до чего?

Федор приложился к руке царя.

— Хилыми умишками своими мыслим мы, что вместно отобрать мещанских и подьяческих мальцов из Новомещанской слободы да

обучить их тому действу.

— Волю! Отобрать! — ударил Алексей в ладоши и любовно поглядел на Федора. — А тебя жалую я боярином. Добро, окольничий мой?

Ртищев упал на колени.

— От окольничества не отрекаюсь, а от боярства — свободи. Ну, кой я боярин? Мне люб боле монастырь.

Царь расхохотался.

— Что с ним сотворишь! Как был тридесять годов назад блаженным, таким и остался… Каково я жительствовать буду, ежели все ближние мои в монастыри уйдут? Ордын-Нащокин — монах, ты — монах…

И встал:

— Ладно, погодя с тобой потолкую. Все?

Матвеев собрал со стола бумаги.

— Все, государь. Дозволь вестникам почать трубить о празднестве великом мира на Руси.

— Поспешай. Да ужо вся надежда на тебя, боярин, пущай ликует вся Москва от мала до велика!… Да игрецов на улицу гони, да скоморохов!… Чтоб памятовали все до гроба, каково радостно нам, гораздо тихому царю, тихое житие в державе нашей

Вдруг из сеней, прерывая слова Алексея, донеслись чьи-то возбужденные голоса.

— Не велено пущать! Аль не слыхивал, что ныне ликование на Москве! — гремел Хованский.

— Пусти! Кое нынче ликование, не до ликованья нам!

Встревоженный государь вышел в сени.

— Что за пригода?

Хованский раздраженно махнул рукой.

— Воевода из Нижнего норовит охально пред очи твои предстать.

Воевода опустился на колени.

— Помилуй, государь! Сызнов лихо… Смутьяны сызнов.

Мертвенная бледность разлилась по лицу царя.

— Смуть-ян-ны?

Прислонившись к стене, он крикнул:

— Отменить потехи!

А воевода заколотился об пол лбом.

— Государь царь! Неисчислимая сила воров разбойных объявилась на Волге. Атаманит же над теми разбойными богопротивный смерд — Разин Стенька, мой государь!